

ГЛЕБ ГОРЫШИН

ГЛЕБ ГОРЫШИН

3  
АПОНЬ







ГЛЕБ ГОРЬШИН

ЗАПОНЬ

ПОВЕСТИ  
РАССКАЗЫ  
ОЧЕРКИ

Лениздат  
1980

**Горышин Г. А.**  
**Г67**      **Запонец. Повести. Рассказы. Очерки. Л., Лени-**  
**издат, 1980. 368 с. с портр.**

В книгу Г. Горышина «Запонец» вошли повести, рассказы и очерки, посвященные лесному краю от берегов Ладоги до берегов Онеги.

Герои ее — лесорубы, сплавщики, рыбаки, охотники. Но, пожалуй, главным героем всей книги стала сама природа. Скупая на улыбку, временами суровая, замкнутая, она щедро платит тем, кто любит и понимает ее.

Г 70302 · 3702020100—252 130—29  
М171(03)—80

© Лениздат, 1980

# ЭТА КНИГА



Я начал писать эту книгу давным-давно...

Однако что значит книга? Почему какое-то количество повестей, рассказов (роман — особое дело) бывает сложено вместе, заключено в обложку, становится книгой?

Писатель пишет себе да пишет — рассказы, повести, что-то еще; одни сочинения он печатает в толстом журнале, другие — в тонком, третьи пока что нигде не берут. Писатель пишет, он занят текущей работой — в этом его призвание, долг и потребность. Его сочинения множатся, пухнут папки и стопки исписанных им листов. Будучи исписаны, листы без пощады измарываются, затем перебеливаются, перепечатываются и снова измарываются. Однако мало-помалу листы становятся чисты, удобочитаемы; в папках и стопках образуется некий порядок, пока что понятный одному их творцу.

Однажды творец принимается тасовать свои папки и стопки, то распускать, то опять собирать воедино, прикидывать, взвешивать. Похоже, что он раскладывает пасьянс...

Это значит, в сознании сочинителя забрезжило предощущение книги. Не только в сознании, но и в мышцах, и в органах чувств. Сочинитель почувствовал меру содеянной им работы. Он работал дни, месяцы, годы, из-под пера его (из-под клавишей пишущей машинки) выходили повести, и рассказы, и путевые заметки, но книги не было, чего-то недоставало — весу, то есть весомости материала, вложенного в стопки и папки.

Материал сочинитель черпал из собственной памяти, сердца, ума...

И вот он отвлекся от крепко державшей его работы, откинулся на спинку стула (кресла) и огляделся. Измерил мысленным взором ступени осиленного труда. Подобно

тому, как строитель, закончивший кладку стены, знает меру ее высоты, вес каждого кирпича, прочность сцепления, гармонию завершенности, так писатель может однажды сказать себе: книга готова.

Иные книги пишутся быстро, иные долго, иные всю жизнь...

Жизнь писателя измеряется его книгами. Отпущенное ему время он делит на книги: «Мне нужно еще написать такую-то книгу, такую и вот такую». Иногда предполагаемые писателем сроки не выполняются, книги остаются недописанными, даже и неначатыми...

Эту книгу я долго писал, лет, может быть, двадцать,— и не думал о ней, поскольку всегда был занят работой над другими, очередными книгами. Эта книга накапливалась и складывалась подспудно, ее отдельные главы — рассказы, повести, путевые заметки — включались в другие книги. Я уходил, уезжал, улетал, уплывал от нее — в иные края, сюжеты, темы, судьбы, географические пояса, душевные и семейные обстоятельства. Но затем возвращался на круги своя. Снова ступал на мною же проторенную стезю, она приводила меня в знакомые, милые сердцу места, к старым моим друзьям, добрым знакомым, а иногда и недругам.

Друзья — и недруги тоже — переменились за время моей отлучки; одних повысили по службе, других понизили, третьи женились, четвертые развелись. Иных и вовсе не стало. Текла вода — даже реки обмелели. На берегах рек выстроились каменные дома, через реки перекинулись мосты. Рыбы, птицы, грибов и ягод стало поменьше, людей побольше. Площадь лесов, болот и кустарников сократилась, зато увеличилась площадь сельхозугодий. Зайцы повывелись в лесах, зато пожаловали откуда-то и расплодились дикие кабаны и свиньи.

Уходя (улетая, уезжая, уплывая), я возвращался к себе на родину. Обретая Родину с большой буквы, я с годами все крепче держался за малую мою родину, дышал ее кислородом, насыщал зрение тихой, скромной краскою ее больших рек и маленьких речек. Однажды начав, продолжал писать эту книгу, держался за нити сюжетов, которые плела и распутывала сама жизнь...

В ту пору, когда я родился, мой отец был директором леспромхоза. Директорской должности он достиг в двадцать два года, а начал свою лесную карьеру семнадцатилетним

помощником лесничего. Мой дед гонял барки, груженные березовым швырком, по Ловати и Поле, по озеру Ильмень, по Волхову — в Питер. Там швырок продавался, барки распиливались и тоже продавались.

Мое детство прошло в лесах. Главные его радости состояли в походах за рыжиками и волнухами, за темноголовыми боровиками и красноголовыми подосиновиками — «красными», в ужение пескарей и уклек на маленькой, если взглянуть на нее нынче, и большой в пору детства, доброй, веселой, зимой и летом готовой к играм речке Оредеже. Радости накатывали волнами: сначала ледоход на Оредеже — можно прокатиться на льдине, да маменька не велит; там, глядишь, паводок — вот бы поплавать на плоту, побурзвиться в воде; там — земляника, черника, морошка, малина, брусника, а там и первый тонкий ледок зазеленеет на реке — подвязывай к валенкам коньки-снегурки, кати; крутые оредежские берега превратятся в снежные горы — пора на лыжи, бултыхайся в пушистых сугробах! Хорошая жизнь!

Дома, когда к отцу приходили друзья по работе, разговаривали о плане, о кубометрах, о пилах и топорах, о коротье, долготье, балансах и пропсах, о деловой древесине и подтоварнике, о делянках, лежневках, трелевке и вывозке. Позже, когда отец стал управляющим лесным трестом (до того он был молодой управляющий, даже трудно сейчас поверить), каждое утро, часов эдак в семь, я просыпался от его зычного голоса. В пору сплава отец напутствовал директоров сплавных контор и начальников рейдов: «Садись на хвост! Если вы мне осушите хвост...»

В детстве я поневоле задумывался об этом хвосте. Хвост должен плавать, он рыбий, покрыт чешуей, и кто-то хочет его осушить. Хвост большой, ворочается на мели, бьет по воде. Нужно садиться на хвост, погонять его, плыть верхом на хвосте. «Садись на хвост!» — этот приказ, призыв, совет, просьба-мольба, заклинание звучит в моей памяти как утренняя побудка. В числе других правил жизни я усвоил также и это: чуть схлынут вешние воды — нужно садиться на хвост!

Когда в лесах, где хозяйствовал трест моего отца (соседские мальчишки величали отца «королем дров»), деревья стали валиться не от лучковой пилы, а от бомб и снарядов, нашу семью вместе с семьями других лесозаготовителей посадили в газогенераторную трехтонку и повезли на восток. Малосильная, неуклюжая, с двумя дымящими закопчен-



ными колонками, наподобие тех, что ставятся в ваннах, груженная вровень с бортами березовой чуркой, а поверх уже мы с нашим скарбом, машина колыхалась по немощной дороге, увязала в очередной луже. Шофер Мишка, длинный, тощий, большеносый, с рыжеватым пухом на подбородке, ни разу еще не брившийся, не взятый покуда в армию по той причине, что родом происходил из немцев Поволжья, совершал отчаянно громкий плевок именно в эту лужу. Затем вырубался березовый или осиновый дрын — вага, конец дрына подсовывали под колесо и всем гамузом, включая старух и малых детей, повисали на ваге, вываживали наш драндулет.

Мы останавливались в каком-нибудь леспромхозовском поселке, принимались жить на этом новом месте, в бараке, но вскоре война опять приближалась, и снова мы залезали в кузов с фанерным фургончиком.

Дороги не было никакой. Мы ехали месяц по вологодским лесным проселкам. Машину ремонтировали в Вологде, в Буе, в Галиче; чурку мы сами пилили, выбирая в лесу сухой. Наилучшая чурка получалась из сельских изгородей — о! на этой чурке машина тянула, как на бензине. Ну, не совсем так, однако тянула. Бог знает по каким законам механики мотор заводился, машина ползла. Мы пересекли Вологодскую область, очутились в Костромской. На станции Мантурово нас застигла глухая зима. Наши силы и продовольствие, а также и терпение водителя тут полностью истощились. Машину сдали — на ходу, вместе с шофером — в трест «Мантуровлес». После, я видел, эта машина возила из лесу хлысты и дрова, за рулем сидел так и не побрившийся шофер Мишка.

Мы поселились в деревне Градулево, на берегу Унжи. Вот тут-то я порыбачил, побегал за грибами, за ягодами. И, помню, влюбился — уже не впервые, но сильно — в одноклассницу (я ходил в четвертый класс), кажется Тоню.

Первое мое путешествие по лесным российским проселкам, с ночевками у костра или в избах у незнакомых, но неизменно добрых, чудно говорящих людей, с первой привычкой к пиле, топору и лопате как предметам первой жизненной необходимости, с новой мерой оценки людей: кто чего стоит перед лицом общей невзгоды, — быть может, тут и была заронена в мою душу искра неутолимой страсти странничества; она впоследствии разгорелась и жжет меня до сих пор.

В сорок третьем году мы вернулись — по железной дороге — в Тихвин, к отцу. Помню: солнечный мартовский день, коробка разбомбленного вокзала, обгоревшие вагоны и цистерны на путях. Я выпрыгнул из потемок теплушки, мгновенно ослеп, ткнулся носом во что-то железное, не сразу понял, что это пряжка ремня, не сразу осознал, что передо мною стоит мой отец: распахнуто его кожаное пальто, ровно настолько, чтобы был виден один-единственный орден на синей гимнастерке — орден Ленина, маленький, сияющий, без ленты орден на необъятной отцовской груди.

В сорок третьем году Тихвин был прифронтовым городом. Всякую ночь на западном краю неба прыгали всполохи огня, кровянело зарево, точился мертвенный, иссиня-зеленоватый, выморочный ракетный свет. Гитлеровцы, с поистине педантической тупостью, в назначенное время бомбили мост через Волхов, плотину Волховстроя, железнодорожный узел. Долетали они и до Тихвина. Жутко, сладостно было глядеть на серебряный самолетик в перекрестье прожекторных лучей и со всех сторон летящие к нему цветные трассы крупнокалиберных пуль. Автоматические зенитные пушки молотили как палкой по крыше. А то, бывало, навстречу омерзительно, с подвывом жужжащему жуку, или, как называли его тогда, «стервятнику», подымалась парочка наших «ястребков». Мы залезали в окоп, вырытый на огороде, с замиранием сердца наблюдали воздушный бой.

Назавтра летчики приходили к нам в гости. Многие из них дружили с отцом — вообще отец носил в своей поместительной груди многое множество всяческих дружб, — пили спирт и рассказывали, как было дело там, в небе: «Я фрицу в хвост захожу, а он...» Частенько «он» вспыхивал, падал, взрывался на собственных бомбах...

Когда мы с ребятами бегали за грибами, то искали не столько грибы, сколько разные штуки и железяки. Один раз мы нашли человеческую руку с часами и компасом на запястье. Мы в те годы, конечно, играли в войну, но игрушки наши могли взорваться, выстрелить, ранить, убить. Что случалось не раз.

В пятом и шестом классе я был жестоко и безответно влюблен в одноклассницу Женю. Тут надо заметить, что эта любовь возгорелась во мне в абсолютно холодном, нетопленном классе тихвинской школы. (Почему не топили школу, об этом бы надо бы спросить у моего папаша — «короля дров».)

Мальчишки сидели в классе в ватниках (ватник в ту пору был не только общеупотребительной одеждой, но и отвечал крику моды), девчонки — в пальтишках с поднятыми воротниками; у кого были шапки с ушами, те опускали уши и завязывали их под подбородком. Понятно, что преподаваемые науки просачивались в наши мозги с пятое на десятое.

Когда в сорок четвертом, после снятия блокады, мы приехали жить в Ленинград, мои знания, особенно по геометрии и алгебре, твердо были оценены в ленинградской школе на единицу, редко на двойку. Довольно долгое время о тройке по этим предметам, да и по другим тоже, я не мог и мечтать.

Иными оказались в Ленинграде и законы мальчишеской жизни по сравнению с теми, которые я усвоил, проживя до тринадцати лет в сельской местности. Ленинградские шестиклассники, пропустившие в блокаду год или два, были старше меня и неизмеримо взрослее. В Тихвине, при недостатке мальчишек, я по привычке, что ли, к первенству; здесь школа была мужская, и, сделав что-то не так, нарушив здешние правила поведения, был в первый же день жестоко бит в уборной. Умылся кровью, дома плакал навзрыд. Меня утешала мама, но я знал, что она мне не может помочь. Мне предстояло еще притереться и дотянуться не только до наук, но и до умения держать себя на уровне особенно обостренного в те годы, воистину питерского достоинства. Пережившие блокаду ленинградские мальчишки рано стали взрослыми, и, честное слово, не так-то легко было заслужить равенство с ними.

Как бы там ни было, если поверить широко известной в среде житейского человекознания формуле — «за битого двух небитых дают», — я могу, положа руку на сердце, похвастаться тем, что был бит, с полной выкладкой...

Однако учеба моя вскоре прервалась неожиданным и трагическим образом. В один из погожих октябрьских вечеров, когда с Карельского перешейка еще доносилась канонада, но в городе уже сняли затемнение, мы прогуливались втроем, с друзьями еще по Тихвину — Костей и Лешкой, по Петроградской стороне. Косте в тот день исполнилось шестнадцать, Лешке было пятнадцать, а мне — увы — еще только тринадцать.

Костя в скором времени собирался идти в моряки. Он приехал в Тихвин в сорок втором году, пережив блокадную зиму в Ленинграде, оклемался и убежал на фронт. Благо

бежать недалеко. Его отыскала мать и вернула домой. Что выделяло Костю в любой среде, так это его бесстрашие, резко выраженная определенность отношения к миру. Быть другом Кости — ого! — это что-нибудь значило.

Я сразу влюбился в Костю, старался ему во всем подражать, он служил мне примером, хотя, конечно, недостижимым.

Когда мы шли по Большому проспекту, на Костю оглядывались не только девочки, но и шпана, водившаяся в ту пору по подворотням, смотрела на него с уважением. Он подметал панель расклиненными матросскими клещами, грудь нарасташку и там полосатый тельник, жесткий смоляной чуб из-под мичманки, сутемень во взгляде. Костя был плечист, коренаст, сутулился, косолапил, как надлежит моряку. Мы с Лешкой тоже старались сутулиться, косолапить.

На остановке у «Промки» мы ждали трамвая: нам с Лешкой ехать домой, а Костя жил рядом, Костя нас провожал. Откуда-то издали по толпе полоснул кинжальный свет фары, мгновенно приблизился. Дальше я уж не помню, что было...

Долгое время спустя очнулся в больнице. Костя погиб. Шофер военного «виллиса», пьяный, быть может, по случаю скорой победы, врезался на предельной скорости в толпу, дожидавшуюся трамвая. Меня покалечило, поломало, у Лешки оторвало полу пальто.

Как это ни прискорбно, в войну хорошие, может быть, даже лучшие люди погибают не только от войны, но и от безответственности других перед жизнью. Так бывает и в мирное время...

Нынче Лешка стал генералом... Костя прожил свои шестнадцать лет, как надлежит жить мужчине, он даже сумел в своем отрочестве побывать на войне. И он был влюблен, еще в Тихвине, в девушку Катю. Когда мы собирались на вечеринку (мы — то есть семиклассники, шестиклассники и девицы из старших классов, — все мальчишки после седьмого уходили в морские, летные, танковые, артиллерийские спецшколы), то играли в вопросы и ответы. Однажды Косте выпал вопрос деликатного свойства: «Кого вы любите?» — «Я люблю Катю». Он говорил только правду. Катя тут же сделала, но он не ей признался в любви, а словно бы сделал заявление, кому-то бросил вызов, кого-то серьезно предупредил: «Я люблю Катю». Мы все почувствовали сугубую важность этого дела: Костя любит Катю.

В пору нашей дружбы Костя был беден, как птица. Он изведаль такую нужду, которая не снилась даже бедным мальчикам из романов Чарльза Диккенса. Отца не было у него, а мать все не могла оправиться после блокады. Помню, ему не поднять было двухпудовую гирию, валявшуюся во дворе нашей школы, одной рукой. И он обхватывал ручку гири пальцами правой, левой фиксировал запястье несущей руки — и подымал гирию над головой, казалось, одним усилием воли...

Самых лучших бог забирает к себе молодыми. Увы, жестокий, бесчеловечный смысл этого библейского постулата оказывался пророческим еще не однажды в моей жизни. Жизнь моя не то чтоб склонилась к закату, но сегодня рядом со мною нет именно тех людей, которые мне служили в разное время примером, нравственной опорой, источником духовной силы, так нужной в иные минуты — для подзарядки. Их нет...

Чуть меньше года я провалялся в больнице с переломами, сотрясениями и ранами, распятый на деревянном щите, с вдетыми в лямки руками и подвешенными к ногам гириями. Встав, оказался изрядно подростшим, настолько изрядно, что избави бог кого-нибудь так подрасти. Больница не только вытянула меня в длину, но и кое-чему научила, то есть поворотила ко мне жизнь той стороной, которую обычно не видят в детстве и отрочестве.

В ленинградской больнице в сорок четвертом году выдавалось на день четыреста граммов хлеба, кусочек постного сахара и половинка пареной репы. К этому добавлялся еще кое-какой жидкий приварок. Стекол в окнах не было, их заменяла фанера. Свет поступал через единственную стеклянную фрамугу. Днем и ночью в палате горела слабая электрическая лампочка. Почти каждую ночь кто-нибудь умирал — на ближайшей к дверям койке. Эта койка предназначалась для безнадежных. Я лежал на ней первое время, а после меня перенесли в глубь палаты...

Когда я пришел год спустя в школу, не в восьмой, как бы мне полагалось, а в седьмой класс, то оказался на голову выше моих одноклассников. Теперь уже никому не приходило в голову меня побить. Признаюсь, и я никого не побил. Ненаказанными остались мои обидчики сорок четвертого года. В душе моей нет обиды на них, наверное, они были правы. Очень нервные и драчливые были ленинградские мальчишки после блокады.

Последующие десять лет я прожил в городе, окончил школу, университет, с огромным облегчением, как в знойный полдень головою в прохладную заводь, попросил направить меня на работу на целину, на Алтай.

Это был мой первый самостоятельный шаг, первый кирпич в собственноручной кладке судьбы-биографии. Слава богу, что я его совершил, первый шаг определил весь дальнейший путь...

Работая на Алтае в газете, я написал свои первые рассказы, напечатал их в «Неве» и «Звезде». Мою первоначальную удачливость, то есть скорое прохождение весьма еще несовершенных, как я теперь понимаю, ранних рассказов, надо в известной степени отнести за счет значимости темы, созвучия найденного мною материала злобе дня. Рассказы были о целине. Их герои занимались именно тем, чем следовало заниматься героям в конце пятидесятых годов: поднимали целину, пахали, сеяли, убирали хлеб и вывозили его из глупинки на элеватор.

Это я говорю для тех, кто впервые вставляет в машинку чистый лист бумаги или берет в руки перо с серьезными намерениями и надеется при этом на удачу. На удачу надеется каждый берущий перо, иначе не стоит и браться. Однако удачу должен ковать себе автор, не полагаясь только на так называемый «дар». Нужно сообразовать найденную тему, жизненный — из личного опыта — материал с общественными ориентирами времени.

Литературный талант может проявить себя, будучи подключенным к животворному человеческому таланту, найденному в жизни. Талант — как закваска; любое дело, будь то космонавтика, воспитание подрастающего поколения или строительство мостов, движут талантливые люди. Талант обыкновенно бывает скромен — не кричит: «Я — талант». Надо вначале его отыскать — в «гуще» жизни, на горячем участке, на переднем крае, где заново сотворяется жизнь, где трудовые процессы, работа требуют от людей не только навыка и физической силы, но еще и присутствия духа, наличия «царя в голове».

В хорошей книге герой непременно отмечен печатью таланта, то есть обаяния неповторимой, не заменяемой в данных обстоятельствах творческой личности. Впрочем, талант — это еще и свойство души, он может себя проявить в сфере чувств...

Удача необходима пишущему человеку, как огню для горения кислород. Степень удачи, конечно, прежде всего зависит от способностей литератора. Но я знал многих способных и даровитых людей, которым не удалось переступить пределы собственного изначального жизненного опыта, подключиться к системам высокого напряжения, к энергии времени. Их не печатали, не принимали. Они обижались, еще более замыкались в себе и сходили с дистанции. Никто из них так и не понял, в чем дело.

Фигура литературного неудачника ни в ком не вызывает сочувствия. Писательство — это профессия, не литкружок, не любительский клуб. Профессии литератора противопоказана самодеятельность. Писатель должен многое знать, в том числе и правила своей профессии.

Писатель пишет не для себя. В каждой книге зафиксирован определенный момент общественного самосознания: так мы живем (или не так, как хотелось бы), так поступаем, мыслим, ликуем, горюем, любим, ненавидим. Первопричина многих литературных неудач — в несовпадении волны вещания — авторского «я» — и волны восприятия — общечеловеческого «мы».

Писатель пишет не для себя...

Хотя и для себя тоже — тут диалектика творчества. Пишет и радуется вместе со своими героями, наслаждается вместе с ними каким-нибудь дивным видом, восходом солнца, пережитым однажды счастливым озарением. Писателю надобно полюбить изображаемый им мир, живущих в нем людей, надо быть сопричастным их жизни и чаяниям настолько, чтобы ощутить их как содержание собственного ума и сердца.

Как бы далеко ты ни уезжал, в какой бы «гуще жизни» ни обретался, надо, чтобы обретаемый заново материал был твоим, и только твоим. Чтобы тебе, как автору, удобно, привычно и равноправно жилось среди твоих героев, в том месте, которое ты избрал местом действия очередного произведения. И чтоб хорошо, интересно, радостно было тебе писать...

Бывает, участие автора словно и незаметно в повествовании, как незаметен труд лесовода, посеявшего лес, когда лес разросся, стал чащей. Бывает, приемы строительства выступают наружу: конструкция, план, технология кладки, подгонка одних частей и деталей к другим. Можно заметить,

когда автор свободно владеет материалом, верен логике жизни, психологии реально бытующих людей и когда он прибегает к волевому усилию, сводит концы с концами, выстраивает лица, события, обстоятельства в придуманные им фигуры, когда приукрашивает естественный ход вещей, а когда обедняет, схематизирует, упрощает всеми нами переживаемую, такую многосложную, многотрудную, многоликую, многоцветную и такую прекрасную жизнь.

О тех произведениях, где личность автора выявляется с наибольшей полнотой, где автор дал волю собственным мыслям и чувству, говорят, что в них сильно лирическое начало или еще: «лирическая струя».

Здесь перекинут мостик из поэзии в прозу. Без поэзии проза сухомытна, как званый ужин без вина...

Поэзия ближе к природе, или, лучше сказать, натуре, нежели проза со свойственной ей «железной примесью» рассудочности. Многие прозаики начинали свой путь со стихов или же с легкой, подвижной, непосредственной, наиболее натуральной для выражения юного, чувственного восприятия мира лирической прозы.

Сам я начал писать задолго до того, как попал в Сибирь, оказался в центре общесоюзных движений, строительства и освоений. Однажды, в бытность мою студентом, я приобрел ружье — курковую тулку, сел в поезд, идущий в северном направлении, и чем дальше уезжал от города, тем лучше мне становилось: промелькивали за окном такие милые сердцу березки, сосенки, избы деревень со стелющимся над трубами дымом, вешние воды, алеющие на заре, лилово-синяя гряда дальнего леса, потоки расплавленного низкого солнца в оконном стекле — все находило отклик во мне. Душа обретала покой, слиянность с природой и в то же время делалась зрячей, чуткой, особо отзывчивой на попутные впечатления. Душа (да простится мне это старинное, так и не объясненное до сих пор наукой словечко) преисполнялась сознанием наступающего блаженства. Я ехал именно в то место, возвращался — после долгой отлучки — в тот мир, откуда я родом, и волновался, предчувствуя встречу с ним. Эта лирическая взволнованность, рождение чувств и предчувствий, рой необыденных мыслей, как говорится, теснили грудь. Нужно было их облечь в столь же необыденные, красивые слова...

Это состояние известно каждому грамотному человеку, его запечатлел — в одиннадцатой строфе стихотворения «Осень» — Александр Сергеевич Пушкин:



И мысли в голове волнуются в отваге,  
И рифмы легкие навстречу им бегут,  
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге...

Пальцы просятся к перу почти у каждого смертного хотя бы раз в жизни (легкие рифмы могут навстречу и не бежать); стоит ему куда-нибудь уехать, из города в деревню или из деревни в город, — надо поделиться новыми впечатлениями.

Новизна впечатлений способствует обновлению мыслей и чувств, подвигает на творчество, хотя бы в эпистолярном жанре.

Циркулирующие внутри данного города или района письма едва ли содержат в себе пейзажные зарисовки, взволнованные описания домов, лестниц, дворов, поездок на городском транспорте. Иное дело письма издалека, по крайней мере километров за сто от адресата, — в них бывают не только семейные просьбы и пожелания, но и картины. Почти в каждом смертном дремлет художник...

Художественная проза многим обязана эпистолярному жанру, доступному всем.

В пору моей юности деревня очень сильно еще отличалась от города, жила в избах, строенных дедами, сохраняла бабушкины иконы по углам, не глядела телевизора, не тархтела мотоциклами, знала цену ухвату и чугуну.

Никому не приходило в голову воспевать какие-то особые, только деревне присущие ценности, будь то резные наличники, иконы старого письма, вековечные лавки и столешницы, туеса и лапти или же добродетели нравственного порядка: исконное чадолюбие и трудолюбие селянина, близость к земле, пантеистическое отношение к природе и пр. И тем более никто не оплакивал утрату сельских, дедушкиных и бабушкиных привычек, навыков, ремесел. Утрату и не замечали перед лицом неоценимых материальных, социальных, культурных благ, которые давал колхозной деревне социалистический промышленный город. В процессе стирания граней между городом и деревней городу отдавалась всецелая гегемония.

Так оно было и есть на самом деле, соответствует объективной реальности развития нашего общества, основанного на союзе рабочего класса с колхозным крестьянством. Но постепенность стирания граней во второй половине шестидесятых годов и особенно в семидесятые годы, в пору науч-

но-технической революции, уступило место решительной ломке устоев сельского жизнеустройства, сложившегося в веках, переводу трудовых процессов и самого быта деревни на новые, индустриальные рельсы, с узкой колеи на широкую, на ту самую, по которой все шибче катится вперед поезд нашей современности.

Вот здесь-то, на стыке двух исторических эпох, в самом эпицентре слома и созидания, приобретений и утрат, одновременно с кульминацией развития возникла так называемая «деревенская проза» — литературное и общественное явление, по созвездию талантов, по нравственной высоте идеала, по философской глубине постижения действительности, по гуманизму и верности правде жизни соизмеримое с образцами русской классической литературы этого ряда.

Разумеется, такое сопоставление условно. Речь идет о лучших, широко известных произведениях последнего десятилетия, знаменовавших собою не только новый шаг в восхождении советской литературы к художественным высотам, но также и новую степень демократизма; творческие индивидуальности, художественное кредо авторов, как бы ни были они ярки, не кричат о себе, вроде отступили на задний план, дав место самовыявлению народной души, ума, таланта. На авансцену выступила целая череда героев без каких бы то ни было обязательных прежде атрибутов и знаков отличия. Самих авторов и не видно в этой череде, они (авторы) скромны. Я помню, сам слышал, один из них так однажды сказал: «Мой литературный талант, если он есть, сам по себе ничего не значит; в России, даже в моей деревне, есть люди талантливее меня — я должен помочь им высказаться».

Я понимаю условность, может быть, даже некоторую намеренную придуманность наименования «деревенская». Сами писатели, прозванные «деревенщиками», отрицают эту рубрику. Но даже и отрицание — дружное, в духе единомышления — свидетельствует о самоценности литературного явления, разумеется сопряженного с общим процессом. Явление всеми замечено и окрещено: «деревенская проза». Надо думать, под этой рубрикой оно и войдет в историю нашей литературы. А несогласие авторов верстаться под общую рубрику останется в личных архивах каждого из них.

Как бы там ни было, «деревенщики» наши — сами выходцы из деревни, крестьянские сыновья; каждый из них написал о своей деревне — будь то большое село или же деревенька — из опыта собственного детства, отрочества, юно-

сти, со слов своих матерей: отцов у большинства из них унесла война. Их деревенский опыт — непосредственный житейский, социальный и трудовой, мускульный; именно такой опыт Лев Толстой считал необходимым и предварительным условием художественного творчества.

Разумеется, писатели-«деревенщики», равно как и «горожане», живут купно в больших городах, представляют собою творческую интеллигенцию. Деревенские, то есть вернее будет сказать, национальные, народные, обретенные в веках ценности они сознательно толкуют, даже и воспевают в своем творчестве в их абсолютном значении, вылуценном изпод житейских слоев. Это не сельское бытописание — Литература.

Можно предположить, что если бы некий писатель имярек или даже целая группа писателей жили оседло в деревне, перемежали бы хлебопашество и другие сельские радости-тяготы с густописанием деревенской прозы, и если бы сама деревня или, скажем шире, провинция отличалась от города малоподвижностью и духовной рутиной, как это было в начале века, то, надо думать, в творчестве «деревенщиков» прозвучало бы нечто подобное чеховскому: «В Москву! В Москву!»

Но все это было уже и, по счастью, минуло. Речь идет не о противостоянии деревни городу, «деревенской» литературы «городской». Лучшие наши писатели, обращаясь мысленным взором к селу, то есть к историческому пути своей родины, далеки от каких бы то ни было антиурбанистических концепций. Деревенская проза одушевлена не идеей ценностного предпочтения, а, наоборот, идеей взаимодействия, синтеза, гармонии всего лучшего, жизнеустойчивого, прогрессивного, гуманного, то есть подлинно коммунистического.

Кажется, это понятно и самоочевидно, когда читаешь лучшие произведения деревенской, впрочем и городской тоже, прозы, написанной по-живому, с непосредственным, кровным авторским сопереживанием всему происходящему в романе, повести или рассказе. Понятно также и то, что «воспевание» не обходится без «оплакивания», если речь идет о ломке вековых устоев, даже и во имя созидания: ломка не обходится без утрат. И сами слезы, если душа готова откликнуться на утрату, прочищает наши глаза.

Понятно, да не всем. «Деревенская» проза, появившись на свет, утвердив себя как литературное и общественное явление, вызвала на свою голову не только венец похвал,

но и поток критических отповедей как по части художественной формы, языка, так и по части идейного содержания, его соответствия генеральной линии современности. Зачастую критика этого рода переступала границы разбираемых сочинений и обращалась на личности их авторов, поскольку сами эти личности оказались, в житейском смысле, общедоступными, не защищенными от молвы, любопытства, всякого рода приятельства, лжеприятельства и т. п. Однажды я слышал, как уважаемый критик делился с аудиторией, охваченной интересом к литературе (градус этого интереса в наше время весьма высок) результатом одного своего социологического эксперимента, направленного на развенчивание «деревенской» прозы: «Я говорю ему: «Вася (или же Витя, Женя, Валя, Федя — все равно; наши критики разговаривают с «деревенщиками» на «ты»), вот ты печешься о мужике, соболезуешь его горестям, а сам живешь в городе, в трех-, четырех-, пятикомнатной квартире. У тебя есть автомобиль, холодильник, телевизор...» И он не нашелся, что мне ответить на это».

Как видим, критика наша не чурается архисовременных методов социологических опросов.

Деревня, город — ипостаси единого бытия. Но пока существует между ними разность потенциалов, пока перед окончившими сельскую школу парнем или девушкой встает вопрос остаться или уехать — не житейский, бытийный вопрос, — не может быть безучастным к нему и творческое сознание писателя-гражданина. И живая природа, как бы мы ни отчуждались от нее в городах, питает наши легкие кислородом, плоть белками и витаминами, а душу — поэтическими образами. Без поэзии нет и прозы. И так далее...

Тот случай, когда не могут договориться друг с дружкой «деревенщик» и «горожанин», живущие в одном доме, на разных этажах, пользующиеся одним лифтом, одной и той же булочной, надо счесть аномальным случаем. Что-то тут не так, кто-то из этих двоих, может статься, переучился...

В предисловии к этой книге я хочу обозначить три наиглавнейших фактора, определившие ее суть: личное биографическое — генетическое начало (мы не Ивановы, не помнящие родства), наиболее значительные (во всяком случае, для меня) явления современного литературного процесса, направленность первых моих исканий.

..Итак, мне двадцать два года. Более половины этого срока я прожил в сельской местности. Город при первой встрече крепко врезал мне по зубам. Я живу в городе, но не знаю его, не смешался с толпой, не научился городской бойкой речи, завидую горожанам, все мечтаю куда-то уехать, томлюсь неискоренимым своим провинциализмом.

И вот уезжаю. В сельскую местность. К отцу. Мой отец, совершив восхождение по служебной лестнице, от дровосека до «короля дров», не удержался на верхней ступеньке. Чего-то ему не хватило — образования или каких-нибудь стáтей. Тогда я не мог разобраться в моем отце. Отец вернулся на круги своя, в дровосеки. Он работал теперь в леспромхозе, в Лодейном Поле. (Впоследствии совершил еще одно восхождение.)

Насколько я помню, отец мой на всех ступеньках своей — с подъемами и спусками — карьеры грешил безудержностью натуры и еще поистине беспредельной простотой. Он предавался радостям дружества сверх всякой меры: с лесорубами, сплавщиками, заготовителями, снабженцами, рыбаками, охотниками, фанерщиками, пивоварами, закройщиками, плотниками — бог знает с кем только он не дружил, не пирувал.

Это свойство характера, такую вот простоту, я унаследовал от отца. Отцу она, может быть, помешала продвинуться выше по лестнице, зато мне помогла. У Омара Хайяма есть строчка-завет: «Дорожи своими друзьями, но пуще дорожи друзьями отца». Именно отцовы друзья, рыбаки-лесники-сплавщики, и ввели меня, повзрослевшего, кое-что уже написавшего и жадно ищущего предмета для новых писаний, в свой мир рыбачества, лесорубства, лесосплава и лесоводства. Лесной, речной, озерный, болотный, деревянный, избяной мир стал миром этой книги, а лесники-рыбаки-сплавщики — ее героями...

Но это будет потом.

Пока что я еду в Лодейное Поле, с ружьем и двадцатью четырьмя зарядами в патронташе. Я еду на охоту и надеюсь что-то такое добыть, какую-нибудь дичину. В наше время в желании убийства живого, летающего, плавающего, радующегося жизни грех сознаваться. В пору моей юности ушлые лодейнопольские мужички добывали за весну на токах столько глухарей, что солили их в бочках. В Карелии колхозники сдавали глухарей в счет мясопоставки — килограмм глухарятины за два говядины...

Мне тоже хочется привезти какую-то дичь — утвердиться в охотничьем деле. В каком-нибудь деле, пока что охотничьем. Главное дело, то, чему я решусь, готов решиться отдать мою жизнь, пока что еще не ясно, но я уже знаю: оно ждет меня. Чтобы взяться за дело, нужно сначала уехать, а после идти по лесной дороге, идти до тех пор, пока хватит силы в ногах. Вот тогда и начнется дело...

Уезжая из города, юным, в весенний вечер, я переживал примерно те самые чувства, какие описаны Львом Толстым в «Казаках». Помните, что чувствовал, думал юный Оленин, уезжая в ночь из Москвы?.. «Он раздумывал над тем, куда положить всю силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке... не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет и как ему кажется, и из всего мира все, что ему хочется... Он любил до сих пор только себя одного и не мог не любить, потому что ждал от себя одного хорошего и не успел еще разочароваться в себе самом».

Разочарование тоже будет потом.

Тогда я ехал с одним счастливым и неотвязным призывом к себе самому: «Пора, пора приниматься за дело». Дело мое состояло в том, чтоб писать. Я был студентом отделения журналистики. Писание представлялось мне счастьем. Писать без счастья в душе я тогда не хотел. Я не мог отделить еще дела от счастья, а счастье мое пребывало в лесу...

Передо мною тетрадка с измятыми краями, в линиях обложке. Она исписана зелеными чернилами, чернила малость расплылись. Почерк вострее и четче, чем мой теперешний почерк. Тетрадка лежала в столе тридцать лет. В ней сделана опись одной из моих поездок из города на охоту, в Лодейное Поле, за Свирь. Дневниковая запись — или все-таки лучше назвать ее «описью» — представляет собою пролог к этой книге. Тут можно найти и первые признаки жанра (впоследствии его назовут «лирической прозой»), и манеру письма, и пейзаж, и наброски героев...

«Въехал из Ленинграда душным и сизым (критика однажды упрекнет меня за это сдвоенное прилагательное, я малость злоупотреблю приемом сдвоения) апрельским вечером, когда город насыщен лязгом, нестерпимым, оглушаю-

щим; воздух напитан пылью и последними лучами первого жаркого дня. Только небо по-весеннему прохладное, чистое и недосыгаемо далекое.

В такие вечера мне хочется уйти от этой суматохи, духоты и скрежета, хочется ступать по мягкой влажной земле, прислушиваться к тишине и дышать, дышать жадно, глотать аромат застывших сосен, освещенных красными лучами заката, пить самый чудесный настой поднимающегося от земли легкого тумана, настой прошлогодних трав, прели — весны...»

Ух какой длинный период, впору откинуться на спинку кресла, перекурить. Но ведь писал-то я это не сидючи в кресле, а на валежине, на замшелом камне, согнувшись в три погибели... И был я в юности некурящий — вот молодец!

«Укладываю в мешок последний предмет моего обширного охотничьего обихода — «Ивана Ивановича» (такая книга была в те годы; о чем она, я не помню и автора позабыл). На мне резиновые сапоги с голенищами-раструбами, куцый ватник, за плечами объемистый рюкзак, ружье. Теперь я отрешился от всего, чем жил до сих пор, все это кажется мне мизерным». (Как рано я догадался: чтобы приняться, вначале надо отрешиться.)

«Поезд трогается, и чувство отрешенности, свободы растет, обостряется, наполняет огромной радостью. За окном мелькают серые, мокрые ленинградские предместья с покосившимися крестами кладбищ и бесконечными болотами. Но это уже земля, настоящая, без асфальтового панциря; я чувствую ее дыхание, оно распирает мне грудь, в голове бродят какие-то неясные поэтические образы; я весь в их власти, а стекла в окнах домов пылают багровым жарким пламенем; солнце, уже невидимое, плавит их.

Темнеет, в окно вагона врываются первые капли дождя. Они бьют в лицо, холодные и жесткие, вместе с ледяющим ветром; на остановках оказывается, что дождь совсем теплый и мягкий и вечер майский, ласковый.

Приехал в Лодейное на рассвете, в лиловых сумерках побрел по густой пыли, стянутой сверху тонкой пленкой влаги.

Большая деревня спит крепким сном, ее домишки, кубические, одинаковые, притихшие, кажутся мне симпатичными в этот тихий час.

Папаша, разбуженный стуком в окно, не сразу соображает, в чем дело, а сообразив, начинает хлопотать, охать, делать всяческие предположения насчет моего устройства и

блага. Мне не терпится попасть в лес, он же тут рядом, залег за Свирью, большой, щедрый, весенний.

Я торопливо освобождаюсь от чехлов, закруток, яств — всего лишнего, оставляю себе ружье, патронташ. В карман кладу финку, за пояс втыкаю топор и иду, не чуя под собою ног, не замечая того, что я за ночь не сомкнул глаз; лес тянет меня непреодолимой силой, я шагаю навстречу ему, как на свидание с самой любимой девушкой.

Кстати, я все время немножко думаю о Верочке (в более ранних и более поздних моих «записках охотника» девичьи имена другие, но суть любовного чувства все та же; впоследствии критики заметят и эту мою забывчивость на имена), она как-то необъяснимо присутствует во всех ощущениях этого весеннего утра, я взял ее с собой и таскал все эти четыре дня по лесным дорогам. Я думал, что это выдумали поэты, а теперь поверил, что можно брать свою любимую всюду, и с ней интереснее жить, только не ту, чьи глаза — загадка, чьи поцелуи отравлены сомнениями, а ту, что встретила меня такой нежностью невинных глаз, которая растопила, пусть на минуту, все мелочные преграды, воздвигнутые подозрительным умом, которая сделала ее, пусть на мгновение, совсем моей, понятной и близкой до конца...»

Я привожу целиком этот монолог влюбленной души в том виде, как он записан — зелеными чернилами, — должно быть, непонятный до конца и самому написавшему, невразумительный, косноязычный, — чтобы дать читателю почувствовать, насколько труднее писать о любви, — читатель прежде всего любви-то и ищет в раскрытой им книге, — чем, скажем, о странствиях, о лесных похождениях и прочем тому подобном.

«...Четыре часа утра. На паром въехал первый грузовик. Свирь большая, черная. К парому прицепился крохотный паровичок и легко-легко потащил его дебелое, вздутое тело наперерез быстрой, недовольно ворчащей воде.

Шофер вылез из кабины, зарядил ружье. Это еще больше подогрело мой охотничий азарт. «В Олонец надо ехать, — первым заговорил со мною шофер, — там гусей много. Теперь, правда, меньше стало». Я готов ехать в Олонец, куда угодно, меня обуревают жадность, я хочу и гусей, и глухарей, и уток, и даже в глубине души лелею надежду встретиться с медведем. Только беспокоит мысль, как доставить его тушу домой...

И вот я в лесу. Этот лес я избродил сумрачными февральскими деньками, исчертил своими лыжами его девст-



венную снежную целину. Тогда он был пушистый, безмолвный и белый; сейчас он лиловый, пока его не позолотило солнце; он живет, дышит, наполнен тысячами голосов: текут ручьи, что-то бормоча невнятно, просыпается разноголосый птичий мир, пробует инструменты, как оркестр перед концертом; лягушки выпускают хриплые трели, как будто заводят старый ржавый будильник, — это последние отголоски всенного лягушачьего шабаша, в середине апреля всюду, где есть вода, слышен их свадебный истошный клекот...

Вдруг я остановился, привлеченный знакомым, волнующим звуком: забормотал косач, забулькал страстно, исступленно. Я улыбнулся: «Так, порядочек».

Речушка, скорее, ручей с весьма громким названием Темза. (Еще есть там речка по имени Генуя.) Перехожу сей мост Ватерлоо и сворачиваю на знакомую кондушскую дорогу. Я собираюсь достичь поляны, на которой, помню, зимой стоял с горящими щеками, с непослушными от волнения пальцами, судорожно вытаскивал патрон за патроном, стрелял по непрерывно вырывавшимся из-под рыхлого, только что выпавшего снега тетеревам. Солнце вдруг прорвалось сквозь небесную вату, бросило из голубого окна красноватые лучи, сделало медными сосны — мир сразу окрасился в три цвета: белый, розовый, голубой. У меня навсегда запечатлелась эта картина: ослепительно белая огромная поляна, со всех сторон окруженная позолоченным лесом, свежий лосиный след по опушке, голубое небо, всполохи снежной пыли от взлетающих птиц — и радуга в снежных фонтанах...»

Прочел и остановился: право, какой же я был молодец — увидел то, что не видят другие. Я даже не помню, чтоб где-нибудь встретился в книгах с такой картиной: взлетают с лунок в зимний солнечный день тетерева, и в каждом фонтанчике снега вспыхивает радуга — кто видел радугу зимой?

«Зимой дорога была одна, и мне казалось, что найти полянку нетрудно, однако единственная зимняя дорога теперь затерялась среди десятков одинаковых дорог и дорожек, таившихся тогда под снегом. Я свернул на одну из них, идущую в нужном направлении, уверенный, что она приведет меня к цели. С дороги меня то и дело совлекают кудахтанье тетерок или хриплые клики насмерть бьющихся из-за них тетеревов, или клюква на болоте, или свист рябчика, или глухариный помет под сосной.

Вдруг на тропинку прямо передо мной выскочил заяц. На фоне зеленого мха и желтой хвои белое пятно выделя-

ется неожиданно резко. Заяц скачет как будто не торопясь, без признаков страха. Я ясно вижу его, длинноногого, тощего. Пускаюсь за ним вдогонку, да где, не догнать...

Скоро тетеревиные трели заводят меня в дремучее болото; чавкаю по нему, еле вытаскиваю вязнущие ноги. Косачи, увлеченные битвой, подпускают настолько, что я вижу их, свирепо орущих, исполняющих свой любовный и воинственный танец. Вспугнутые, они садятся на ближайшие малорослые сосенки, продолжают залиристо булькать. Хочу выбраться на сухое место, но меня окружило болото.

Единственная отрада — клюква: крупная, вкусная, она обсыпала кочки, притягивает к себе, и никак не оторваться от нее, подслащенной морозами.

Едва выбрался на твердую почву, сразу же сел, разулся, прилег и заснул. Разбудили меня холод и накрапывающий дождь. Быстро ободрал упавшую березу, зажег костер. Проглотил безо всякого аппетита кусок хлеба. Встал, отправился в путь.

Направление потерял, кружа по болоту. Уперся в линию проволочных ограждений, пошел вдоль нее и забрался в трясины. Что делать? Идти к чернеющему вдалеке лесу? Нет, повернул обратно, вдоль проволоки. На этот раз она выводит меня на дорогу с автомобильной колеей. Посвистывая, пускаюсь в путь. Идти мне весело, после болота песчаная боровая дорога — рай. И солнце все-таки победило на небе, ласкает меня, пригревает.

Долго ли, коротко ли иду сквозными борами, вдруг выхожу на откос — внизу как будто река. Потом оказалось, что это озеро. Вдали золотится большой монастырский купол, справа деревня, должно быть Кондуши.

Спрашиваю у первого встречного:

— Что это за деревня?

— Старая Слобода.

— А сколько до Лодейного?

— Восемнадцать километров.

— А где Кондуши?

— Там... — Малый неопределенно махнул рукой.

Машин нет, дорога тиха, пустынна. Чуть отойдя за деревню, разуваюсь, связываю сапоги портянкой, вешаю их на плечо, ступаю непривычными стопами на колючую студеную щебенку. Заставляю себя поднимать и переставлять ноги, все душевные силы сосредоточиваю только на этом. Решаю идти по пять километров без остановок. Один столб, другой, пятый... Падаю наземь, как куль... Будит меня еле

уловимое, как комариный писк, зуденье приближающейся машины. Выползаю на дорогу босой и радостный. (Опять-таки сдвоенное определение!)

На пароме много людей и солнца. Баба в больших сапогах, ватнике, платке, с полинялыми голубыми глазами, в глубине которых что-то такое играет, дразнит, манит. Она отталкивает бревно, преграждающее въезд на паром. Мужики гуртятся вокруг паромщицы, зубоскалят. Баба отмахивается от них лениво, привычно. Свирь, как всегда, безучастно обтекает громоздкое тело ковчега, не пускает его в глубь своих темных вод...»

Иногда я приплывал в этот край на пароходе, с музыкой. Высаживался в Свирице, и запах дерева, воды и травы обещал мне близкое счастье.

Счастье мое начиналось сразу же за последней избой Свирицы — на высоком берегу Ладожского канала, в солнечном мареве, пронизанном цвирканьем ласточек и стрижей, свистом стрижиных крыльев и теньканьем камышовок. Идучи над каналом, можно было полакомиться земляничной, улыбнуться волочащей свой хвост-правильно — от воды до воды — ондатре, налюбоваться чайчьим летом. А главное — ощутить себя в мире отдельно от всех... Нет, упаси меня бог, я не стремился к отшельничеству или изгойству, никакой «руссоизм» (за «Исповедь» Руссо я хотя и брался, но одолеть ее так и не смог) не втемяшился мне в башку. И счастье мое состояло не только в понятном каждому смертному потреблении благ природы, но еще и в предчувствии творчества, в предощущении Слова, которому я научился служить.

Я выхаживал, выработывал, вынашивал в себе эту книгу — и писал ее, заново переживая над листом бумаги — памятью, сердцем — каналы, речные плесы, восходы, закаты, костры в ночных лесах, человеческие лица, судьбы, речи, произнесенные с простотою душевной. О! Это великое благо — душевная простота. Надо долго, оседло жить в лесной, со снежными зимами, долгожданными ледоходами местности, плавать на лодке, проваливаться в болото, провожать глазами невесомых в лазоревом небе бело-розовых лебедей, зарабатывать хлеб свой насущный тяжким трудом, чтоб обрести в себе эту способность раскрыть пусть даже и незнакомому человеку душу — до донышка, как раскрывает себя незамутненная лесная река.

Определялись границы, координаты книги: берег Ладogi, Свирь от устья и до истока и там — Онего, иная держава, туда я не очень-то заплывал, мне хватало и свирских притоков — Паши да Ояти, их меньших сестер — Капши, Кондеги, Сязьниги, Вонги, Рыбежки, Шоткусы. Я переименовывал имена этих рек в моей книге, чтоб сохранить за собою право на домысел. Сознаюсь, я не очень использовал это право...

Придумывал имена для героев, но герои всегда узнавали себя и не обижались на сочинителя за вольное обращение с материалом их жизни — в силу душевной своей простоты.

Из каждой поездки, похода, плавания я привозил сюжет для рассказа; сюжет начинался со встречи, и нужно было всего-то, чтоб мне понравился встреченный человек. Тут мне помогло, быть может, унаследованное от родителя свойство характера — быстро сходиться с людьми: лесниками-сплавщиками-рыбаками. И еще: не жалеть ног. Бывало, утром, чуть заря, выйдешь из Лодейного Поля, вечернюю зорю встретишь над Оятью, в поленовских местах, в деревне Имоченицы. Столько всего увидишь за долгий майский день, столько перечувствуешь, передумаешь, со встречными властью наговоришься. И еще: завязавшиеся в этих походах знакомства не развязывались с годами, сюжеты обретали глубину времени, то есть жизнь тянула, раскручивала сюжеты человеческих судеб, я держался за ниточку — и писал эту книгу.

В сорок первом году, в декабре, директором Пашской сплавной конторы назначили Павла Нечсанова, до той поры крановщика на рейде, — мой отец подписал приказ о назначении. С фронта в Пашу долетали не только самолеты, но и снаряды, рабочего ни одного, рейд с кранами брошен, и запонь вмерзла в лед вместе с приплавленным лесом — триста тысяч кубов... Нужно было этот лес удержать по весне, в ледоход, погрузить в баржи и отправить по Ладогe в Ленинград, так же остро нуждавшийся в топливе, как и в хлебе.

Под начало к молодому тогда директору сплавной конторы привезли из Ленинграда несколько сотен изможденных блокадным голодом девушек. Нужно было сначала их накормить, отогреть и тогда уже приспособить к тяжелому мужскому труду. Удержать лес вместе с запонью, не дать ему уплыть в Ладогу, кажется, непосильное дело даже для мужиков... Удержали. Отправили лес в Ленинград. Это малень-

кое — в масштабе всенародного подвига — сражение, выигранное на трудовом фронте, осталось незамеченным, как сотни других примеров мужества, самоотвержения, организаторского таланта советских людей на долгом пути к Победе.

Мне рассказал о нем сам Павел Александрович Нечесанов. После войны он еще тридцать лет директорствовал на Паше; каждая дорога, каждый новый дом, каждый электрический столб, каждая человеческая судьба в округе причастны личности и трудам этого незаурядного, талантливого человека без образования, в юности бурлачившего на Мариинской системе, в высшей степени наделенного даром организатора, хозяина жизни, ясным государственным умом и теплом человечности. Бывало, как весна — я еду на Пашу к Нечесанову. Энергия, исходившая от этого человека, помогла мне написать наиболее дорогую мне вещь — повесть «Запонец».

Я начал писать ее давным-давно. В книге поставлена точка. Но, ставя точку, я знаю: однажды сяду на ладожский пароход, в лодку, ступлю на лесную тропу, встречу знакомого человека, и что-то проснется во мне — чувство сыновнего долга перед этим краем. Отсюда я родом, здесь родилась эта книга. И будет длиться она, покуда видят глаза, носят ноги, работает память, не затворилась душа.

# ЗАПОНЬ



## Глава первая

### 1

На исходе шестого десятка, в близком к пенсии возрасте, у Степана Гавриловича Даргиничева появился интерес к некрологам. Он вчитывался в строчки: «На пятьдесят шестом году жизни...», «На пятьдесят восьмом году жизни...». «И я вот тоже однажды сунусь мордой в землю, — думал Даргиничев, — и к богу в рай. Не умеют у нас дорожить человеком. Человек работает, как волк... А другой, бездельник, до ста лет проживет: сначала он в институте, потом инженерешком поболтается где-нибудь в конторе, глядишь — в начальники вышел. Чего же ему не жить? Это нам времени не хватило институты закончить. Это мы всю жизнь работали, как волки...»

Степан Гаврилович равнял себя к этим крупным умершим людям. Пусть они поднялись высоко в государстве, это были такие люди, как он, та же кость. Сердце болело у него, как у всех его одногодков. Он думал, что город обязан теперь чуть-чуть потеснить расплодившихся в нем бездельников и предоставить место ему, лесному волку, труженику. «И хозяйка моя пуццай отдохнет...»

Без малого тридцать лет отрубил Даргиничев директором сплавной конторы и обижался на начальника комбината и на заместителя начальника по сплаву: «Могли бы назначить — до пенсии — хотя директором лесобиржи... Квартиру дать в городе, чтобы не мерзнуть в сортире на старости лет, не мокнуть в болоте...»

Но тут-то и вышел указ о высшей награде Степану Даргиничеву. Дали ему Героя Труда. Других героев не

было по району. Все поздравляли его, телеграммы носили домой и в контору, при встрече всякий издали улыбался: «Поздравляю, Степан Гаврилович! С Героем вас социалистического труда!»

Даргиничев глядел в глаза поздравителю прямым, немигающим, голубоватым, как бы из горней выси, и в то же время приветливым взглядом, говорил: «Спасибо». Уйдя с лица, улыбка вскоре опять возвращалась. Он думал: «Уважили, не забыли. В городе век просидишь, как воробей в стае, никто тебя не заметит, а тут — на виду». Старость вдруг отодвинулась далеко. Даргиничев говорил теперь о своей старости с улыбкой: «На пенсию выйду — буду сад-огород разводить, в земле ковыряться. Да с корреспондентами по району ездить, рассказывать им, что, как и где, чтобы не врал...»

Газету Даргиничев уважал. И книгу он уважал, но для многого чтения времени не сыскалось. Только три книги запомнились ему: «Кутузов», «Разин Степан» и «Петр Первый». Особенно по душе пришелся ему Алексашка Меншиков, крестьянский сын: «От же, ей-богу, ходовой мужик, голова, царя вокруг пальца обвел, всей Россией заправлял. Не в образовании дело, в другом...»

## 2

Когда напечатали указ о наградах, Даргиничеву позвонил из города Иван Николаевич Астахов, пенсионер.

— Здорово, Степа, — сказал Астахов. Медленный, растянутый в каждом звуке, но не поколебленный километрами телефонной проволоки голос вдруг охватил Даргиничева и словно приподнял его — такая была в нем сила. Никто бы ее не расслышал в хриповатом голосе старика. Но Даргиничев вспомнил астаховский голос, каким он был в прежние годы.

Управляющий трестом Астахов звонил в разное время суток, гудел, как лесопильный завод, понукая к работе: «Ты это мне брось, понимаете, Степа! Садись на хвост! На шондижский хвост, говорю, садись! Если вы мне осушите хвост, я вас в бараний рог всех согну, понимаете! Садись на хвост!» — грохотал Астахов.

Состарившийся Астахов, пенсионер, сказал Даргиничеву:

— Здорово, Степа. Поздравляю тебя от души.

Герой Труда Даргиничев взял трубку двумя руками, боясь, что голос расколется вдруг, пропадет. Он наклонил к трубке большую сивую голову, даже коснулся мембраны губами и громко сказал:

— Спасибо, Иван Николаевич!

Он услышал, как дышит там, за триста километров от него, в своей квартире Астахов, который последние годы ему не звонил, который уже удалился от сплава, от запоней и хвостов. Теперь другие люди учили его по телефону, что нужно делать, хотя он знал и без них.

— Желаю тебе здоровья, успехов в работе,— медленно говорил Астахов. И Даргиничев вдруг почувствовал слезы — от счастья своей заслуги и от жалости к Ивану Астахову, так ему вдруг захотелось сесть с ним за стол, как прежде бывало.

— Спасибо, Иван Николаевич! И вам того же желаю.— Даргиничев не сказал «того», а «того», как пишут в газетах и книгах.

Астахов подышал в свою трубку. Даргиничев подождал, не снимая с лица улыбку. Их поздравительный разговор, расхожие фразы, незначащие слова — вся эта условная форма человеческой доброты друг к другу — исчерпались, и они не знали, с чего начинать другой, их собственный разговор. И надо ли начинать его.

— Ну... как... ты там, Степа?..— сказал Астахов.

Нечто детское, обиженное послышалось в астаховском голосе. Иван Астахов, большой человек, владыка лесов и речек, пожаловался издали на свою болезную старость и словно попросил подмоги, словно Степан и был тот профессор, который скажет ему, как сладить с инфарктом, склерозом, со смертью.

— Со здоровьем неважно, Иван Николаевич,— сказал Даргиничев.— Сердце совсем никуда. Даже выпить нельзя по случаю награды. Просто беда.— Он сказал так, чтобы немножко сравнять свое торжество с астаховской горестью.

— Ну, это ты брось,— сказал Астахов.— Теперь ты еще лет восемь сможешь работать конь конем. Я от души тебя поздравляю и обнимаю тебя. Тебе за дело дали Героя. За наше с тобой дело. Поклон твоей семье.— Астахов повесил трубку.



Как всегда, снарядившись с утра ехать в лес, Даргиничев заглянул в контору. Он прочел телеграммы, лежавшие на столе. Поздравляли его незнакомые люди, издалека. Из Тернея, Приморского края, пришла телеграмма. «Живешь и не знаешь, что такое место есть на земле», — подумал Даргиничев. Одну телеграмму он долго читал. В ней было написано: «Глубокоуважаемый Степан Гаврилович, мы с дочкой сердечно поздравляем вас высокой заслуженной наградой. Будьте счастливы, здоровы. Нина Нечаева».

Даргиничев убрал телеграммы в стол, а эту спрятал в бумажник. Головой покачал, улыбнулся: «Нина Нечаева...» Сел в машину, поехал песчаной дорогой по берегу Вяльниги. Миновал разросшийся поселок Сигожно, лесопильный завод; нужно было заехать туда, там ждали... Главный механик — Даргиничев видел — уже встречал у ворот, и рабочие сидели на лавочке под пожарным ведром и багром. Но Даргиничев не свернул и не сбавил газа. Поехал один, хотя шофер его тоже сидел под ведром.

Шофер был сигоженский житель, приходил по утрам на завод, дожидался директора — ехать с ним на лесные деляны. На обратной дороге шофер вылезал у калитки своей усадьбы, директор пересаживался к рулю.

...Он поехал вдоль лесосклада; штабеля бревен закрыли Вяльнигу, только торчали застылые краны, как сосны-семенники. Дыбились ржавые груды перебродивших опилок. Бабы выстругивали на козлах серпами-скребцами еловые чурки на экспорт. Англичане не брали елку в коре — только белую косточку. Они варили из вяльнижской ели целлюлозу и делали бумагу высших кондиций, глянцевой белизны.

Даргиничев краем глаза глянул на это свсе хозяйство и отвернулся. Подумал: «Какое-то упрощение. Когда наконец на себя-то научимся мы работать как следует? На экспорт елки оскабливаем, а сами хряпаем что попало. Поглядели бы англичане эту нашу механизацию, как бабы серпами елку скубают... Неужто нельзя ошкурочную машину сделать? Сидят там в проектных институтах стрекулисты. Им бы дать в руки скребок...»

Директор любил механизмы, машинное производство, размах и порядок. Досадно было ему видеть женщин в ватных бушлатах, строгающих елку. «...Упрощение, — подумал директор. — Упрощение!»

На лесоскладе ему кто-то махнул рукой, кто-то бежал наперехват. Директор был нужен. «Все станет тут без меня», — подумал Даргиничев, посигналил, прибавил газу, перемахнул мосток через Сяргу. Машину занесло на песках, он воткнул демультипликатор, вынул на поросший можжевельником высокий берег Вяльниги.

Опавшая, тусклая река медленно набегала внизу под ним. Стояла на юру дощатая будка на тракторных саях, с выбитым окошком. Повсюду клубились шматки заржавелых тросов... Пустынность, запах сырой древесины и можжевельниковой хвои, низкие, с набухшей до черноты нависью-бахромой облака. Вымытая дождями крупнозернистая, зольная супесь. Предзимье. Октябрь.

Даргиничев шатнул рукой будку, но не взглянул на нее, вышел к откосу. Пустынный мусорный берег, чуть заметно скользящая низкая вода, истертые тросом бревна, чурки и щепки — все показалось бы мертвым стороннему оку. Но Даргиничев видел берег и реку в натуре, в движении, в силе. Он видел огрузшую запонь на Вяльниге; скрипели тросы, громоздился шондижский, сяргинский, кыжинский, нергинский лес, стонали бревна-мертвяки в траншеях. Грузенная древесиной, как баржа, река давила на запонь, ревела. Так бывало из года в год по веснам — всю Степину жизнь. Верещали телефоны в сплавной конторе, но комнаты пустовали, конторский люд подсоблял своей запони. Работали тросы, буксиры, лебедки. Но также работали директорские нервы, мускулы, сердце...

Он достал из кармана бумажник, вынул листок телеграммы и опять прочитал: «Глубокоуважаемый Степан Гаврилович, мы с дочкой сердечно поздравляем вас высокой заслуженной наградой. Будьте счастливы, здоровы. Нина Нечаева».

Даргиничев покачал головой, усмехнулся: «Вот ведь, о себе напомнила... И дочка есть». Он прошелся по берегу. Ему хотелось побыть одному на этом носке над Вяльнигой, где он понервничал, и наорался, и наработался. Прежде с ним не случалось такого, он не

нуждался в тихих прогулках на берегу, не имел свободных минут и вальяжных привычек. Не хаживал в лес на охоту, не стал рыбаком. Даргиничев был уверен, что рыбы становится меньше не от работы людей на реках, не от сплава, не от постройки плотин, а от безделья и запустения. Он говорил приезжим корреспондентам: «Это все ерунда, что пишут: человек губит рыбу. Обживать надо реки — и рыба будет. На Кондожке было рыбы полно, пока мы по ней лес гнали. А перестали работать — рыба пропала. И не будет. Где работа, там пища для рыбы, там жизнь. Полно было рыбы, пока работали на реке. Сплавные реки мы чистим, обихаживаем. На запонях рабочие кушают, пищу кидают в воду. Рыба гибнет в бросовых реках. Сплав рыбе только на пользу...»

Даргиничев еще постоял над Вяльничским рейдом в пустынной хмурости осеннего дня и шагнул уже было к машине, но увидел старуху; она поспешала к нему через дорогу, от серых домов поселка, в жакете черного плюша, в суровом сером платке, в сапогах, и кланялась издали, причитала:

— А я в контору наладивши дак... К вам, Степан Гаврилович. Больше не знаю, к кому идтить, у кого защиты искать... Совсем не стало мне жизни от невестки моей, от Нюрки... Такая враг, такая враг, и Ленька, мой сын-те родной, под ее дудку ходит... Гуляевы мы. Ленька-те сплавщиком у тебя в конторе. Совсем сживают со свету. Не кормят старуху, да еще попрекают куском... Озверевши сей год. Вчера на меня кочергой замахнувши Нюрка-те, такая враг... Я из дому ушоццы, у чужих людей ночь ночевала, у Дуси Мачигиной, за механиком она... Я им говорю, управа на вас найдется, к Степану Гавриловичу обращуся...— Старуха заплакала.— Одиныхонька вот и осталась на старости лет. Не где голову приклонить.

— Как звать-то тебя? — спросил Даргиничев.

— Анастасией... Бабка Настя я...

— Ты вот что, бабка Настя,— автобус пойдет, поезжай в контору, к Шаронову, моему заместителю, обратись. Пущай он тебя сведет в общежитие, там комната есть пустая. Живи покамест. Я Гуляева вызову, переговорю с ним... Переговорю... Комендантом в общежитии такая, как ты, пожилая женщина. Чайку попье-

те. В обиду тебя не дадим, бабка Настя. Шаронову скажешь, пусть сведет, я распорядился...

Даргиничев возвышался над бабкой, каблуки его болотных, в дегте, сапог вдавились в процеженную дождями супесь.

— Ступай,— сказал Даргиничев.— Шаронов тебя сведет.

Бабка глядела на директора потерянно, со слезою, с испугом в глазу.

— Я не собравши дак... Вещи-те у меня на квартире оставлены.— Даргиничев больше не слушал ее. Он повернулся к прибывшей на берег женщине, тоже в черном жакете и сапогах, тоже в сером суровом платке, с выражением просительного несчастья в глазах.

— В контору я к вам собралась, Степан Гаврилович,— сказала женщина,— да вот, вижу, вы здесь... По личному вопросу...

— А в конторе меня искать бесполезно,— сказал Даргиничев, налегая на «о», морща лицо в улыбке. И повторил: — Искать меня бесполезно в конторе... Волка ноги кормят. Мы как волки работаем. Затемно встанешь — гимн играют по радио. Вечером возвращаешься домой, сядешь к столу покушать — опять слышишь гимн. Только один гимн слушать и есть время. Всегда одна музыка. Ну что ты будешь делать? Беда! — Даргиничев засмеялся. Большеносое, лобастое, с грубо тесанным подбородком, с бледными, слегка вывороченными губами, с высокими залысинами, лицо его засветилось простодушной веселостью.

Женщина слабо, натужливо улыбнулась:

— Да, конечно, столько на вас ответственности... Я к вам хотела насчет Аркадия, сына... Совсем отбился от рук.

— Аркадий старший у вас? Высокий такой парнишка... Помню, помню.— Даргиничев улыбался.— В самодеятельности он участвовал в школе. На такой штуковине играл, будто гвозди молотком заколачивал... Я у них был приглашенный на вечер... Как же, помню.

— На ксилофоне он увлекался,— сказала женщина.— Забросил теперь. Десять классов закончил, подавал в индустриальный техникум документы, по конкурсу не прошел... Дак ведь как было пройти, если на уме одна гулянка. Пьяным домой приходит. В клубе в

драке участвовал. Не он, правда, дрался, но тоже забрали его в милицию, ночь продержали. Муж говорит, пушай ему там ума дадут, а я сама не своя... Штукатуром устроился на стройучасток, месяц отходил и бросил. «На какие ж ты деньги пьешь-то, бессовестный?» — я его спрашиваю. А он только смеется, совсем обнахалился, словно как и не наше дитя...

— Вы его пошлите ко мне, Вера Михайловна, — сказал Даргиничев. — Я с ихним братом умею договориться. Они меня будут слушать. Я с ним переговорю. Курсы кранистов у нас на фабрике с первого ноября начинают работать. Направлю его туда. В жизни пригодится. Народ на фабрике хороший. Трудолюбивый народ. Пригодится в жизни... Можно бы в лес, но там бесконтрольности больше. На фабрике спаянный коллектив.

— Когда ему к вам прийти-то, Степан Гаврилович?

— А чем скорее, тем лучше. Найти меня трудно бывает. Пушай поищет. Если надо, найдет. Найдет, если надо.

— Спасибо, Степан Гаврилович. — Женщина поклонилась Даргиничеву.

— Придумаем что-нибудь, — сказал он. — Не позволим парню свихнуться. Пушай заходит ко мне. — Сел в машину и укатил.

#### 4

Дорога шла чистым бором. Ее ровняли грейдером, но лесовозы опять пробили глубокие колеи, гравий шуршал по днищу машины. Дорога была пуста, проселок. Дорога была мягка, по веснам ее развозило, дорога текла, исчезала в ручьях. В апреле на ней урчали трелевочные трактора — Даргиничев посылал их с лесоучастков на Вяльнигу, Къжню, Шондигу, Сяргу — на срывку леса. Трактористы в дороге съезжались к скамейкам-курилкам, сносили в общую кучу хлеб, сало, консервы. Они глушили моторы и слышали шуршание льда на реке, разноголосицу живо бегущих ручьев. В свежезеленом лесу пытали свои голоса дрозды и кукушки. Потом трактористы рушили силой машин высокие кладки леса. Лес падал со стоном в воду и плыл вперемежку со льдом, с отраженными облаками. На

излучинах лес погоняли баграми рабочие Вяльничской сплаваконторы. Ребятишки и жены рабочих таскали — по чурке — дрова из штабелей, кидали их в реку. Крутились на берегу собаки, лопотали младенцы, летели брызги. Лица у всех становились смуглы от пекущего солнца.

Приплывал водометный катер, все знали, что это прибыл директор или директорский сын Георгий, наследник, начальник производственного отдела, настырный парень, поменьше ростом, чем батька, пониже, непылющий, в кожаных сапогах и черной кепке с большим козырьком.

Когда спадала вода, Даргиничев посылал на размытую, выбеленную дорогу самосвалы с гравием. Ворчал про себя: «Упрощение... Технику гробим, а на асфальте сэкономить хотим».

Он ехал по магистральной лесной дороге поздней, измученной дождями осенью, но дорога держала, впечаталась в меренные пески, утвердилась. Вдоль дороги стояли столбы с многорядными проводами, и Даргиничев думал, что все это он, председатель межколхозного совета по электрификации, все он, все идет от него. «Сколько наработали — ужас», — думал Степан Гаврилович.

Машина забуксовала немного в размешанных колесах на подъеме, но вылезла, побежала деревней. Отдельно от деревенского порядка белел новый сруб, подведенный под стропила... «Ишь ты, лесничий спроворил себе хоромы, — подумал Даргиничев. — Так бы в лесу работал, как у себя на усадьбе... Недодумано что-то с этим лесным хозяйством...»

Лесничих Даргиничев не любил. Он говорил с трибуны, и просто так, приходилось к слову, что зря отделили лесхоз от сплавной конторы, что у лесхоза ни техники, ни людей. «Лесничий на мотоцикле в лес укатит, поллитру разопьет на лужайке, вот и вся у него забота. Отдачи от них никакой. Только палки вставляют в колеса. Волынят с отводом лесосек. За техникой все равно ко мне же бегут. Без техники не подступишься к лесу и лесопосадок не произведешь... Одно упрощение получается. Я бы лесничества все разогнал, лесничих передал в штаты лесозаготовительных предприятий. Пушай бы узнали, как план в лесу выполняют. Порастряслись бы немножко...»

Деревня была хороша. Не поселок-временка на лесуучастке — деревня, старое село Островенское. Избы обшиты вагонкой, все повернулось лицом к реке. Высоко на фасадах — по пять окошек. В палисадниках рябина, сирень, смородина. На шестах повешены мережки. Источенная дождеми до седины часовня со шпилем. Полыхающие охрой кладки ольховых дров. Собаки выкатывались из-под изб, совались под самое колесо, голосили и, справив долг, отставали.

Даргиничев повернул в проулок за скотным двором: унавоженной, растоптанной копытами грязью просхал на береговую дернину, остановился против высокой, как вся деревня, грудастой избы под железом, отворил калитку, громыхнул сапогами по крашеной лестнице, чуть пригнулся в дверях.

— Добраго здоровья, Макар Тимофеевич!

— Здравствуйте, Степан Гаврилович, я гляжу, никак ваша машина, да Георгий Степанович говорил, вы в Афонину Гору собирались... Сейчас самовар поставлю, с дорожки чайку... Волгло сей год, на зиму все не поворачивает...— Сивый дед поднялся из-за стола — газету читал, — вздел очки на лоб.

Даргиничев скинул ватник и кепку, прошел мимо русской печки за переборку. С кровати ему навстречу встал парень, сунул ногу в валяный опорок. Другая его нога была замотана чем-то, на культю надет шерстяной чулок. Он попытался шагнуть, но присел, покривился от боли.

— Серьезное что-нибудь? Перелом? — спросил у парня Степан Гаврилович.

— Да не-ет, ничево-о, потяну-ул, связка порвалась, — скучным, заунывным голосом ответил парень.

— Врачу показывал?

— Да не-ет. Заче-ем? Ерунда-а.

Даргиничев покачал головой. Гнев накалил ему шею. Губы брезгливо развалились.

— Кому это надо? Кто распорядился, чтобы ехать тебе? А если бы шею сломал? Начальник участка пуцай бы мне подал заявку, я диски к пилам ему бы отправил. Утром машина в Верхнюю Сяргу пошла. А ты ночью на мотоцикле погнался. Черт те что... Герой нашелся. Почему у меня не спросил? Самовольничать вздумал. Так не пойдет, Георгий. Так не пойдет. Упрощение какое-то. — Даргиничев возвышался над парнем,

давил на него своим голосом, гневом. Парнишка был молод, но лицо у него мужичье, шершавое, как доска, две складки прорезались на щеках. Жилистый, тощий, белесые волосенки сваялись. Глаз он не поднимал, стоял с поджатой больной ногой, без движения, без жизни в лице, в старой, серой от пота рубаше.

— Пока машина пришла бы,— сказал Георгий,— три «дружбы» простаивали бы, и трактору нечего делать. Полдня бы было потеряно.— Он тоже окал, как старший Даргиничев. Но мало, мало ему досталось от батьки — ни росту, ни стати, ни этой открытости взгляда и разговора. Весь парень был словно запруженный, присмиренный... Только упрямство сквозило в его запавших щеках, в синюшных губах и подрубленном подбородке.

— Жизни не знаешь, кидаешься, как щенок,— сказал Даргиничев.— Мать ночь не спала, и я на телефоне просидел. И тебе в постели теперь валяться. Спросить было надо, а так не пойдет, Георгий. Так не пойдет. Сапоги-то натянешь? А то снесем тебя с Макаром Тимофеевичем в машину.

— Я не поеду,— сказал Георгий. Он поднял глаза. Глядели они будто из глубины, из подвальных потемок, хотя были светлы, голубы.

Даргиничев сел на кровать, расставив кряжи коленок.

— Ты будешь делать, как я говорю,— сказал он сыну.— Пока что я распоряжаюсь. На предприятии и в семье. А ты гляди да учись. Учись, пока есть у кого. Собирайся, домой поедешь. Снимок сделать еще надо. Может, кость повредил. Мальчишество все.

— Без меня пилы опять заперют,— уныло сказал Георгий, громко втянул ноздрей воздух.— На третьем участке у них только один опытный вальщик, а так все халтурщики. И шофер у них, Коля Савельев, людей он возит, с язвой желудка свалился. Подменить его кому. Пешие на делянку они не пойдут. Еще те артисты...

— Много берешь на себя,— сказал Даргиничев.— Лишку берешь. Пуп надорвешь, кому это надо? С людьми надо учиться работать, людьми руководить, а не тыкаться носом в каждую дырку. Всех дырок не заткнешь. Начальник лесоучастка пушай беспокоится о доставке людей на делянки. А не доставит — мы спросим с него. Если надо, голову снимем...



— Начальник ладно если на верхнем складе управится погрузку организовать. Там у них кран вчера день стоял. Завтра график может сорваться. Никак мне нельзя уезжать.

— Не первый кран запортачили за двадцать-то пять лет. Не первого шофера хворобахватила. Существует порядок, организованность нужна. Когда начальник производственного отдела ночью скачет на мотоцикле в Верхнюю Сяргу — это уже дезорганизованность. Упрощение. Так не пойдет. Собирайся, Георгий. Жена там с ног сбилась, искавши...

— Да пусть он у нас, — явился хозяин дома. — Компрессом ногу прогреем ему, может, и лучше будет. Сейчас в машине-то растрясет, дорогу разбили.

Даргиничев вышел на кухонную половину. На парня не поглядел. Он сел к самовару, и снова доснилось в улыбке его лицо. Макар Тимофеевич, крепкий, опрятный, седой, наливал ему чай, подвинул крынку цельного молока. Даргиничев спрашивал о хозяйке. Макар Тимофеевич говорил, что хозяйка уехала в город. Камни в печени у нее. По врачам походить. Избу без призора не бросишь. Вот остался домовничать бо-былем.

— Стареем мы с тобой, Макар, — сказал Даргиничев. — И здоровьишко никуда. Сердце как схватит, так, кажется, лбом бы оземь трахнулся, искры из глаз.

— Инфаркт недолго схватить по нынешней жизни, — говорил Макар Тимофеевич. — Вон послушаешь, что Америка во Вьетнаме вытворяет... У нас-то тут, правда, тихо, покой...

— Да, с ума посходили, черт те что, — говорил Даргиничев. — И китайцы тоже... Вроде свои были в доску... В райкоме я был на пленуме, слушал доклад — просто ужас...

— Волка сколько ни корми, он все в лес глядит, — говорил Макар Тимофеевич.

— Беда-а, — улыбался Даргиничев, дул на чай. — Я ехал сегодня, вспомнил, сколько мы повозили песочка на эту дорогу, сколько щебенки... Бывало, в октябре до Афониной Горы ни на тракторе не проедешь, ни на танке. Разве что на амфибии. В войну я на Сером только и ездил верхом, вброд ездил. Бывало, выедешь до рассвета, до Кондозера в сумерках доберешься, зуб на зуб не попадает. Весь мокрый. Заглянешь в бараки.

Там ленинградские девушки жили у меня... Боже мой, боже мой... Которые тебя кроют на чем свет стоит, которые не одеты совсем, которые плачут, которые веселы — боже мой...

— Помню, Степан Гаврилович, как не помнить. Конину для них добывали, на спирт выменивали в воинских частях выбракованных лошадей.

— Я и Серого тоже на спирт выменял, в артиллерийском полку,— сказал Даргиничев.— Хром он был на переднюю левую ногу. Потом выходился, как собака за мною бегал. Как собака. Да... Сравнишь, что теперь им работать приходится, молодым, и что мы ломили — две разные эпохи. Две разные эпохи.

— И у них свои трудности есть,— сказал Макар Тимофеевич.— Хозяйство большое. Хвост вытянешь — нос увязишь. И народ ноне разбаловался.

— А воли много даем,— сказал Даргиничев.— Воли много даем, вот и набаловались.— Он поднялся уходить, приобнял хозяина. О сыне больше не вспоминал.

Макар Тимофеевич вышел за гостем во двор. Стенело. Даргиничев сел в машину, пустил мотор.

— Ладно, Макар, пуцай у тебя Гоша будет, раз приспичило ему. Знаю, что он у тебя, и ладно. Хоть мать с женой успокою, а то жужжат, спасу нет...

— Дак все он хочет, как лучше, Георгий-то Степанович. Вертится волчком. Тощей... Я ему молоко подливаю, ты, говорю, пей, пей, а он папиросу за папиросой...— Макар Тимофеевич говорил покладистым, мягким, добрым голосом.

Даргиничев не спешил уезжать, не захлопывал дверцу, словно что-то хотелось ему сказать дружку, деревенскому деду.

— От Нины Нечаевой я получил телеграмму. Помнишь, в сорок первом году, в декабре, их доставили к нам из Ленинграда, шестьсот душ?

— Помню, Степан Гаврилович, как не помнить. Хороша была девушка. Они ведь все, почитай, у меня перебивали: председатель райисполкома я был, Советская власть...

— Ни разу о себе не напомнила, двадцать пять лет с гаком... Сейчас ей под пятьдесят... Не забыла.

— Ну как такое забудешь,— сказал Макар Тимофеевич.— Ведь это смолоду жизнь обольщает — кажется, лучшее все впереди. А на старости лет как нач-

нешь итожить: хорошего-то негусто выдалось. Кот заплакал. Хорошее не забудется, нет...

— Иди, зазябнешь, без хозяйки-то кто согреет?

— Счастливо доехать, Степан Гаврилович.

## Глаза старая

### 1

Гошка приехал на Вяльнигу пятилетком, мальчонком. Отец его привез на газогенераторной полуторке. Отец сидел за рулем, и еще в кабине сидел управляющий трестом Астахов. Гошка и помещался между коленями у Астахова. Он запомнил эту дорогу из Кундоксы на Вяльнигу, не всю дорогу, только длинную, длинную гору. Дядьки в шинелях и полушубках требовали чего-то от отца. Отцу надо было ехать на гору, но дядьки не пускали его. Из темноты возникали сердитые лица, искривленные рты. Всю гору заполнили люди, машины, лошади, пушки. Отец нажимал на гудок, но дороги ему не давали. Отец был в романовском полушубке, а дядя Ваня Астахов в пальто с меховым воротником и в пыжиковой шапке. Гошка слышал, люди в шинелях кричали отцу с дядей Ваней:

— Куда вас несет...

Дорога эта вела в Кобону, а затем через озеро — в Ленинград. Одна дорога была в Ленинград, они ехали этой дорогой. Тесно было на ней в сорок первом году, в декабре. Дядя Ваня Астахов вылез из кабины, и Гошка вылез, отец его высадил. Гошка замерз, жался к колонке, в которой горела чурка. Колонка была как печка.

— Пробочка еще та, — сказал Гошкин отец. И повторил: — Еще та пробочка. Пятиться надо да ночевать, — сказал он Астахову. — На Нергинском шлюзе тут изобка есть. Пятиться надо. Не пробьешься вперед.

Кто-то двигался сверху, краем дороги, в белом полушубке. Гошка понял, что это идет командир. С ним вместе шли люди и говорили что-то ему, но слышалась только его, командирская речь.

— А этот самовар еще откуда? — гремел командир. — Убрать! Очистить дорогу!

Гошка прижался к горячей колонке отцовской полуторки. Полуторка была для него как дом. Гошка бо-

ялся белого полушубка. Он прикажет своим военным, они поднимут полуторку и скинут ее с дороги.

Полушубок был близко совсем, Гошка видел большой револьвер у него на боку. Дядя Ваня Астахов шагнул к полушубку и взял его за ремень. Он притянул к себе командира дороги и обнял его. И командир тоже обнял Астахова.

— Сашка! — сказал дядя Ваня. — Я слышу, вроде голос знакомый, да больно ты страшно рыпишь.

— Ах ты малютка, — сказал командир, — ну как там у вас, на верхних-то этажах, морозно чи нет? Гляжу, малютка стоит, верста коломенская, дорогу нам перекрыл. Ну, думаю, сейчас я из него шпал понаделаю — дорогу гатить. А это Ваня Астахов, молодой управляющий...

Они поговорили еще и поехали. Полушубок прокладывал им дорогу на гору. Медленно раздвигалась толпа. Надрывался мотор... В какой-то избушке, где было много замотанных тряпками женщин в островерхих ватных капорах-шлемах, отец, дядя Ваня и командир в полушубке стучали кружкою в кружку.

— За встречу! — говорил дядя Ваня. — Не встретить мы тебя — совсем бы пропали...

Командир говорил:

— И я не внакладе. Хоть горло прополоснул, а то пересохло. У нас тут горлом приходится брать.

Женщина в ватнике, толстая, серая, как копна, вдруг закричала:

— У, толстомордые! Мы там с голоду подышаем, а они тут водку жрут, брюхо отращивают... Наши дети там гибнут... — Женщина повалилась на пол и залилась. Гошкин отец принес из машины что было: четыре буханки хлеба, окорок, сахар, пшено — и отдал. Дядя Ваня сказал, что поедем, пора. Гошка больше не помнил, что было, уснул. Он проснулся в натопленной комнате, дядя Ваня с отцом пили чай.

— Ну что, зимогор-путешественник, — сказал дядя Ваня, — натерпелся за ночь страху, а? Признавайся.

— Да не-е-е, — сказал Гошка. Он вспомнил, как дядя Ваня обнял того командира на страшной ночной дороге. Наверное, все командиры друзья дяде Ване. И Гошка подумал тогда, что дядя Ваня все может, что он самый главный над всеми. Отец тоже главный, но дядя Ваня главней.

Почему нет мамы, Гошка не спрашивал у отца. Ему сказали, что мама уехала к бабушке. Почему отец с дядей Ваней не подождали маму, а сели на полупорку и поехали куда-то? Почему долго-долго гудели в Кундоксе паровозы и что-то бухало, и подпрыгивал дом, и отец посадил Гошку в картофельный погреб, закутал его одеялом? Почему все люди, которых видел Гошка в дороге, были серого цвета, в шинелях, только папа и дядя Ваня и Вася-шофер черные? Шинели больше нравились Гошке. Люди в шинелях еще имели винтовки за спиной. А в мешках, наверно, гранаты и бомбы.

Все стало другое в мире, и Гошка не спрашивал — почему. Ему пошел пятый год, он принимал мир как безусловную данность. Что такое война? Почему? Гошка не задавался этим вопросом. Он изучал изменившийся мир, приравливался к нему. Он знал, что одна колонка в полупорке горячая, а другая холодная, что отверстие внизу горячей колонки называется футорка, и в этой футорке виден огонь, что полупорку нужно топить сухой чуркой, тогда полупорка едет, а если ее не топить, то ехать нельзя.

— Иди погуляй, — сказал отец Гошке, — вон с дядей Васей, а ты, Василий, пригляди, где на изгородах жерди сухие, разрежем да поколем на чурки. Из изгороди хорошее для газогенератора топливо получается. Калорийное топливо.

Гошка, шмыгая носом, храня на лице серьезность, стал натягивать на себя пальтишко. Надел полушубок Василий, шофер Даргиничева, — он тоже приехал на полупорку, в фанерном фургоне, битком набитом в Кундоксе чуркой и опорожненным за дорогу.

— Может, какой домишко заодно разрежем на топливо? — сказал Василий и подмигнул. — Мужики все здоровые.

— Валай, — сказал Даргиничев, — действуй. Щеки Гошке не застудите.

В дверь толкнулся морозный пар. Даргиничев налил в стаканы спирту и выпил до дна. Астахов глотнул, покряхтел, страдая, и снова глотнул.

— ...Ты вот что, Степан,— сказал Астахов,— ты мне это брось, понимаешь, раскисать.— Разговор этот начат был раньше когда-то у них.— Воевать нам с тобой в лесу придется, факт. Без нашего лесу город погибнет. Я в сентябре в ополчение ушел, ключ от кабинета оставил табельщице. Военному делу нас обучали в казарме. На Обводном казарма была. Кино трое суток показывали: «Чапаев», «Мы из Кронштадта». Время ты знаешь какое было. По три винтовки нам дали на отделение — и выходи строиться. Перед самой отправкой на фронт я попросился у нашего взводного, ты знаешь его, Костя Чубаров, тоже лесник, разреши, говорю, в обком позвонить. И на Коноплева сразу попал. Так и так, говорю, Виктор Александрович, уйду на фронт. «Да ты что,— Коноплев мне кричит,— с ума сошел, тоже вояка. Мы ищем тебя, с ног сбились. Немедленно приезжай». Я говорю, что не могу, я рядовым числился, воинского звания у меня никакого. «А ну,— говорит,— позови мне вашего комполка». Да... Пришел я в обком. Коноплев меня принял. «Собирайся,— говорит,— товарищ Астахов, у нас уже решение бюро есть, поедешь на Вальнигу, в Кундоксу, лес в запонях остался, надо его спасать. Донбасс отрезан. Угля нет. Нефти нет. Без топлива город не может». Без наших дров, Степа, не спечь и ста двадцати пяти грамм хлеба... Да... Переплыл я озеро на буксире. Ты знаешь, какие были дела. Карголье сдали... Тяжело было, неясное, смутное время. Теперь положение стабилизировалось. Надо работать, Степан. Если мы лес погубим в вальнижской запони, как людям в глаза смотреть будем? Когда я в Смольном был у Кузнецова, Алексей Александрович вот так меня пальцем взял за ремень, притянул к себе. Желваки у него играют на скулах. Ты должен его еще помнить по Боровичам, когда он там секретарем райкома комсомола был...

— Как же,— сказал Даргиничев,— помню прекрасно.

— Да. «Помни,— говорит,— Астахов, приговоры трибунала утверждаю я. Не выполнишь доверенного тебе дела — я тебе буду судьей». Потеплел, улыбнулся. «Желаю успеха», — говорит.

— Он такой,— сказал Даргиничев.— Требовательный человек. Требовательный человек... Я думаю, Иван Николаевич, работать-то с кем в лесу? С вами на

пару?.. Да вон еще Гошку — сучки обрубать. Хорошая бригада будет. Здоровые мужики. Василия на трелевку поставим. На себя дров наработаем — избу стопить и в баньке помыться дров хватит. Здоровые мужики. На город ведь дров не наберешься, Иван Николаевич. И выйдем, аники-воины, зря топоры иступим. А люди воюют... В одиночку в лес соваться — людей насмешить. Без техники в лесу нечего делать. Лес тебя обломает, голыми руками лес не возьмешь. Отпустите меня на фронт, Иван Николаевич, я пользу кое-какую могу принести. И так, в рукопашном бою, и в тракторах разбираюсь, и в автомашинах. Пользу могу принести. А тут меня каждый солдатик шпыняет, каждая баба меня попрекает моим штатским пальто, морду, говорят, наел на наших харчах, за спиной у нас, говорят, отсиживаешься, толстое рыло. Не могу я этого терпеть, — сказал Даргиничев. — Не могу терпеть. Обидно мне, Иван Николаевич. — Он стукнул себя кулаком в грудь — звук вышел, как колуном по чурке. Светлые, синие его глаза озерного северного жителя задернуло влагой. — Я этого не могу — как заяц, в лесу находиться. Работать — значит работать вместе с народом.

— Тебе что в военкомате-то сказали, в Кундоксе? — спросил Астахов.

— А то сказали, что я пришел домой да пушку на стол положил. стакан спирту выпил, думаю — амба. Раз мне не верят, что я на фронте жизнь хочу положить за народ, значит, секим башка. Поставил на боевой взвод, к виску пушку прислонил, дай еще, думаю, выпью перед смертью. Больше уж не придется... А сколько у нас попито, Иван Николаевич...

— Да уж, было дело...

— Страху не было у меня перед смертью. Чего ж бояться-то ее? Бояться ее нечего, раз так вышло. Но обидно мне стало, Иван Николаевич. За что, думаю, Гошке-то быть сиротой? Какая вина моя перед народом? Задумался так, сижу, пушку от виска не отымаю. Тут Гошка в избу вбегает. «Папа, — кричит, — там дядя Ваня приехал, к нам идет...»

— Дурак ты, Степа, — сказал Астахов. — Дурья башка. Дров наломал, а от ответственности решил уклониться. Как гусарик проигравшийся. Так не пойдет...

— Я с ними, — сказал Даргиничев, — с такими, как Гунин, всегда был строгий. Они для меня не люди, а

парякты. Я строгий с ними. Такой у меня характер. Я их вот так вот беру, по-русски.— Даргиничев сжал свои большие, с квадратными ногтями пальцы в кулак, из рукава выпросталось здоровое запястье.— Я Гунину говорил: гляди, парень, я строгий бываю, когда меня доведут. Ты, говорю, хоть уполномоченный, для меня все одно что шишка на ровном месте. Ты, говорю, свои полномочия не превышай, меня на мой участок поставили управляющий трестом Иван Николаевич Астахов, секретарь обкома Виктор Александрович Коноплев. Я им подотчетный, говорю, народу подотчетный, а ты, говорю, тут болтаешься под ногами, как дерьмо в проруби... С Клавкой он путался, медсестра она, вместе с Алькой моей они в больнице работали. Как кошка с собакой жили. У той язык помелом, да и моя за словом в карман не лазила. Бабы. Поцапаются они, Клавка-то все ему и доложит. А он потом мне амбицию высказывает. Да все мне звание свое тычет, выставляет себя как бы главнокомандующим. Я в ихние бабьи склоки не лез. Залезешь, так и увязнешь по уши. А Гунин жужжал у меня под носом. Приходилось рукой от него отмахиваться. Мешало это в работе. Еще ладно, я человек спокойный. Характер у меня уравновешенный. Но лучше меня не дразнить. Жужжать жужжи, но близко меня не касайся. Этого я не терплю.

— Как получилось-то у вас? Подрались, что ли? — спросил Астахов.

— Просто получилось,— сказал Даргиничев.— Получилось просто, Иван Николаевич. Меня ответственным назначили по светомаскировке в Кундоксе. Все взяты на фронт. Нас и осталось ответственных работников-то: Прокофий Панфилович, председатель поссовета, Григорий Алексеевич, начальник станции, Гунин да я. Вот я иду часов уже в десять, пошел проверить, как окна завешены. Таких случаев не было, чтобы кто нарушал. Народ у нас добросовестный, с нашим народом работать легко... Иду, гляжу, в больнице окошко не занавешено. Белая шторка задернута, и лампа горит. Флюминация, да и только. Я в окошко-то сунулся, вижу — Гунин с Клавкой. Я в раму кулаком, как следует бить, постучал, он в форточку выставил рожу. «Это кто еще тут нашелся?» — спрашивает. Я говорю: «Уполномоченный по светомаскировке Даргиничев. Немедленно, говорю, зашторьте окно, не то, говорю,



будете отвечать по законам военного времени». А он на меня матюком. Ах ты, думаю, так, паразит... Тут уж я потерял над собой управление. Если б меня одного касалось, а тут ведь вражеский акт. Фашистам, говорю, сволочь, послужить хочешь... Вбежал на крыльцо в больницу-то, дверь у них на крючке. Я дернул, крючок-то с мясом... Окно я распахнул — не замазано еще было — да лампу нижнюю фукнул в окошко. Гунин ко мне подскочил, не видит, темно, наганом меня в пузо тычет. Я наган у него отобрал, в карман себе сунул. Придешь, говорю, на квартиру ко мне, получишь. Сперва, говорю, научись оружием пользоваться, тогда применяй.

Даргиничев вдруг засмеялся, затряс большой головой. И все на лице его было большое: лоб, губы, нос. И рот был велик, и богат был зубами Степа Даргиничев. Смелся он до слезы, утерся.

— От же, ей-богу, и смех и грех. В третьем часу ночи Гунин за мной пришел. С ним трое солдат с винтовками — из охранной роты. Нефтебазу они охраняли у нас. Забрали меня как абрека. Как абрека забрали. В кутузку заперли. Я по дороге у одного солдата винтовку из рук вынул... Сильно они кричать начали, затворами щелкать. Я отдал. Держи, говорю, не бойся, служивый... Алевтина Петровна следом за нами к Прокофий Панфиловичу на квартиру. Разбудила его. Он туда, сюда. Ничего не мог сделать: Гунин тут, на отшибе, кое-какую властичку себе присвоил — уполномоченный. В Карголье Прокофий Панфилович звонил в райком — связи нету. Мы не знали, что немцы под Карголье вошли. Так до утра я сидел за решеткой. А утром без меня жизнь в Кундоксе не начнется. Не для чего и с кровати вставать. Движок не работает, электрик в армию взятый. От автобазы ключи у меня, главный механик мой тоже на фронт взятый, и конюх взятый, и лошадей без меня никто не может запрячь, на станции паровозы надо дровами заправить. Весь транспорт у меня, все топливо, вся энергия, все производство. А я в кутузке сижу, как абрек. Алевтина Петровна моя под окошком стоит вся в слезах. Я уж думал прут выломать в окошке, да постыл к утру, зуб на зуб не попадает. Я ей говорю: «Беги к Григорию Алексеевичу, начальнику станции, он тебя в какую ни на есть теплушку посадит, до Карголья добирайся, Ивана Ни-

колаевича в известность поставить надо, что я в кутузке сижу».

Сам своими руками отправил я Алевтину Петровну в тартарары... Григорий Алексеевич в последний состав ее посадил. Больше поезда не ходили. Назавтра узнали мы, что в Карголье немцы...

Выпустили меня, конечно. Гуний замок отпирал... Поглядел так: «Я тебе, говорит, еще это припомню. Не на того попал». А я ему говорю: «Не время, говорю, личными счетами заниматься. Война, говорю, и надо все силы отдавать на борьбу с Гитлером. Надо, говорю, наши личные самолюбия спрятать поглубже в карман. Дело, говорю, у нас с тобой общее, а если погорячился, то тоже, говорю, для дела. Извини, если что». Из каталажки я прямо пошел, не завтракавши, в контору. На столе телефонограмма ваша лежит, готовить мехлесопункт к эвакуации. Работал три дня как волк. Как волк работал. Не спал, не ел, дома не был. На четвертый день Галина прибегает ко мне, из больницы сестра: «Больная наша, говорит, одна с Алевтиной вместе в вагоне ехала. Под Думовом их состав разбомбили. Которые пешие дальше пошли по путям, до Карголья там двадцать верст оставалось. И Алевтина пошла. Стреляли там, говорят, сильно».

Неделю я бился, искал концы. Как в воду... Из Карголья немцев вышибли — я туда. Людей там ни души. Два раза фронт проходил — всех подмело. Как ветра в поле искать...

— Да-а-а, тяжелое дело, — сказал Астахов.

— Ну, каково было мне, Иван Николаевич, судите сами, вдвоем остался я с сынишкой малым. И выхода нет никакого. Нет выхода, кроме как фронт. Договорился я с заведующей детского дома, — эвакуировались они, — чтобы Гошку взяли с собой. С Каргольем связь восстановилась, до военкома я дозвонился, говорю ему: «Так и так, или берите меня добровольцем на фронт, или я за себя не ручаюсь». Он мне говорит: «Не можем, Степан Гаврилович, не подлежишь мобилизации». Вот поверите, Иван Николаевич, иду я по улице, ноги не держат, и в глазах темно. Степанида Тарасовна, бухгалтер мой, попала навстречу, после она мне рассказывала: «Лица, говорит, на вас не было, Степан Гаврилович». А я ее даже не слышал, не видел. Белого свету я невзвидел, Иван Николаевич. Как жить мне

было — не знал. Апатия во мне появилась к жизни. Как обухом по голове оглоушили. Домой притащился, бутылку на стол, на боевой взвод пушку поставил...

— Ну, хватит, Степа,— сказал Астахов.— Давай за Алевтину Петровну. Поехали. Найдется еще, бог даст... Давай. Нам нельзя раскисать. Нам столько с тобой предстоит, что черт его знает. Кроме нас некому. Лес мы с тобой вроде умеем рубить...

— Умеем-то умеем,— сказал Даргиничев.— Так ведь не топоры. Люди живые...

#### 4

Астахову было в ту зиму тридцать четыре года, Даргиничеву — тридцать два. Астахов родился в большом селе Велгощи на реке Стреже, возле озера Ильмень. Батька его был сплавщик, гонял по Стрежу барки ильменских купцов. Зимой астаховский батька рубил в купеческих рощах березу, сушил ее на швырок. Купцы торговали дровами в городе. Швырок там шел нарасхват. Продавали его вместе с барками, барки тоже распиливали на дрова.

В семье у Астаховых было семеро мальцев и дочка. Изба их в пять окон стояла на Стреж фасадом. Старшие нянчили младших, возили их на тележках с сосновыми кругляшами вместо колес. Если младшие сильно ревели, не унимались, то их прокатывали на рысяк по булыжному тракту. Тележка тогда грохотала, и младшие только икали от страха и тряски, а плакать уже не могли.

У Степы Даргиничева батька погиб на германской войне. Деревня, где Степа родился и малость подрос, называлась Юрзовка. Она отстояла от Велгощ на двести верст к северу. Весна приходила в Юрзовку неделей позже, чем в Велгощи, и липа там не росла, а ольха да осина. Детство похожее было у Степы и у Ивашки Астахова. Штанов им не выдавали, только ситцевые рубахи по колено. Ловили они пескарей да раков. И сами, как раки, как пескари, не вылезали из речек, пока грело солнце. Головы их становились такого цвета, как летний песок на речных косах.

Но жизни сложились разны у Ивана Астахова и Степы Даргиничева. Степа закончил свою науку во втором классе церковноприходского училища. Нужда

увела его из деревни тринадцати лет. В ту пору барки и лодки ходили по Мариинской системе на конной тяге. Степа стал коногоном — артельным мужиком. Ребра широко расперли его грудную клетку, как еловый шпангоут — днище лодки-соминки.

Иван Астахов закончил семь классов и поступил в лесной техникум. Под воскресенье он бегал к себе в деревню — сорок семь верст по столбам — и запасался хлебом на всю неделю. Семнадцати лет он вышел из техникума с дипломом помощника лесничего. Звание это ставилось высоко с незапамятных пор. Был лесничий хозяином леса; хозяин, как водится, барин. Помощник его — барчук.

Шли двадцатые годы — время освоения бывших помещичьих, купеческих рощ и угодий. Деревня отряхивала с крыш замшелую дрань и солому, повсюду зашоркали зубья продольных пил, забелели в порядках венцы новых изб. С утра собирались к лесничеству со всей волости ходоки и просители. Лесничий гонял по проселкам на паре раскормленных жеребцов. Помощник лесничего ездил верхом или в бричке. Повсюду им был уготован почет, самогон, соленые рыжики со сметаной, ночлег на перинах. Не раз порывались Ивана Астахова поженить на румяных селянских невестах, но быстрые ноги да конь уносили Ивана.

От батьки он унаследовал дух артельности, компанейства, эту легкость сближения с людьми и азарт гостеванья. О нем говорили по селам: «Он парень простой». Иван стал начальством в неполные восемнадцать. Народная власть подняла, посадила его в седло. Был юный помощник лесничего предан властям, безотказен и расторопен в работе.

Когда к Ивану прибыл в лесничество на каурой кобылке старший Астахов — за лесом, — он отвел ему гриву спелой сосны. Вскоре на берегу Стрежа рядом со старой астаховской избой срубили новый дом, покрыли янтарным сосновым тесом. Семья была велика у Астахова, хотя старшие рано повыводили в люди.

Иван женился двадцати одного году на учительке, свозил ее на смотрины в Велгощи. Батьке не понравилась учителька, была она тощевата, курила папиросы, и не хватало ей простоты. Но — вольному воля. Иван уже стал к той поре лесничим, крупной в округе величиной. Учителька его, отучительствовав в деревне два года,

уехала в город поступать в институт. Уехал с нею Иван. В лесном тресте ему дали должность директора леспромхоза, которого еще не было пока: надлежало его создать в нерубленных спелых лесах.

По-разному воздвигали свои карьеры Иван Астахов и Степа Даргиничев. Степа командовал лошадьми, орудовал рычагами первой в лесу машины, он накручивал гайки, наваривал втулки, постигал геометрию пилорам и физику четырехтактного двигателя. Иван же Астахов наращивал голос, кричал в телефонную трубку, грозил, поощрял, наставлял. Он работал с людьми, возвышаясь немного над ними. Работа не набивала ему на ладони мозолей. Но и не давала эта работа досуга; даже в ночное время звонил телефон. Суждено было Астахову стать капитаном на деревянном, сосновом, еловом, березовом корабле.

Леспромхоз Ивана Астахова вырос, лесу хватало тогда. Год за годом Астахову доставалось знамя ЦК союза и наркомата, Ивана хвалили, награждали его значками, путевками в Ялту, в Алушту. В те годы писали в газетах: «Кадры решают все».

Съездить в свою деревню Велгощи недосуг было директору леспромхоза, да и не тянуло его туда. Лет десять не был Иван в родительском доме, корил себя за это, морщился: «Вот же, ей-богу, закрутишься тут — и батьку родного забудешь...» Наконец собрался, поехал.

Обошел отцову усадьбу. Заглянул в нечищенный хлев, но за вилы не взялся. Крыша сквезила в хлеву. Почесал ботинком бок чумазому поросенку. Принес двадцатка ведер, полил огород. Земля, навоз и скотина — эти запахи, эта работа — были знакомы Ивану. Он бегал с ведрами к огороду в семь лет и в пятнадцать... И все казалось ему теперь ненужным, чужим. Он отсюда ушел, оторвался. «Серость, — думал Иван, — бескультурие, деревня-матушка. Сколько надо ей еще, чтобы сдвинуть с места...»

## Глава третья

### 1

В декабре сорок первого года великим морозом сковало землю и реки. Снег не ложился, медлил, лед зеленел, трескался. Звук получался сухой, пистолетный.

Где-то лопались мины, таякала автоматическая зенитка, напряженная от стужи земля доносила дрожь канонады. И опять тишина воцарялась над плоским, вымерзшим, обесцвеченным северным краем.

Зимнее, без лучей, солнце висело над крышами Вяльниги. Заборы сломали все на растопку, дома обособились, будто не стало улиц, будто стога перепрелой соломы нахлобучились в бросовом поле. Рдели окна от солнца, словно стога запалили и с первым ветром взвывается пожар.

Польхали Гошкины щеки. Он крикнул:

— Папка, мы с дядей Васей видали там аэросани. Как все равно самолеты. С пропеллерами, а крыльев нету. И колес у них нету. А как же они поедут на лыжах без снегу?

— Снег будет еще. Хватит снегу. Беды с ним не оберешься, — сказал Даргиничев. — Давай-ка на квартиру, там вам покушать оставлено, нагулялись.

— Войска тут нагнали — у-у-у! — сказал Василий, шофер. — Так-то пройтись — вроде и нет ни души. По дворам замаскировавши. А главная сила у них вся в лесу...

Солдатик в серой шапке с завязанными ушами, раскосый и круглолицый, в ботинках с обмотками, в шинелке с чужого плеча, вывернулся из проулка, прыгнул через канаву, дико взглянул на штатских мужчин и мальчонку, вдруг побежал, и путался в полах шинели, и озирался, спешил.

Даргиничев и Астахов спустились к реке, и тут на припаромке морская пехота спросила у них документы. Старший патруля был в полушубке, опоясанном флотским ремнем, с ним два матроса в черных шинелях. Ресницы и брови патрульных заиндевели, но ворота распахнуты были у них, чтобы виднелись тельняшки. Морская пехота скалила зубы, приплясывала, говорила, что там, за рекою, на пяточке было им дюже гарно, там дали они гансу прикурить. И рыбки хватало.

— Как шарнешь толу грамм восемьсот — хоть три судачка оглушишь, а то и пяток. Лещей, язей этих разных мы и за рыбу там не считали.

— Вот погодите, — сказал Астахов, — скоро девушек ленинградских сюда привезут. Берите шефство. Мы возражать не будем. Только чтобы работать могли в лесу...

Патрульные с интересом спросили, когда привезут, и сколько, и где будут жить эти девушки...

— Найдём местечко, — сказал Астахов. — Подселим поближе к морскому флоту.

На середине Вяльниги, на склизком зеленом пузыристом льду, лесное начальство встречал председатель райисполкома Макар Тимофеевич Гатов, в романовском полушубке и в португее.

— А я уж за вами собрался, — говорил он, тряся руки Астахову и Даргиничеву. — Коноплев вызывает по ВЧ: «Где Астахов?» А мы знать ничего не знаем. На Афониной Горе пробка, войсками забито, в ночь навряд ли проехать смогли бы из Кундоксы. А и проехали, дак... где ночевой стали? В Сигожно, может, там сторож на рейде живет... Не знаем, что и ответить Виктору Александрычу Коноплеву. Он требует с нас, а мы сидим, как Робинзоны Крузо на острове. В кабинете Семена Аркадьича Журавлева, первого нашего секретаря, все и ночуем.

## 2

В райкоме звонил аппарат ВЧ. Астахов схватился за трубку:

— Только прибыли, Виксандрыч... так точно... будет сделано... сегодня же начинаем... гражданского населения нет... два конюха и сторож — старики... будет сделано, Виксандрыч. Желаю всего наилучшего!

Астахов снял шапку, расстегнулся, достал папиросы. Все потянулись к его «Казбеку». Всех было, кроме Астахова, трое в кабинете: первый секретарь Журавлев, предрика Гатов и Даргиничев.

— Шестьсот девушек отправлено к нам из Ленинграда, — сказал Астахов. — Машинами через озеро и на Войбокало... Там погрузят в теплушки. Первая партия, если не разбомбили, уже должна быть в Кубокел. Суток через трое надо встречать. Там половина у них на ногах не стоит. Дистрофия... Это вот я вам привез командира бабьего батальона. Директор Вяльнижской сплавной конторы Степан Гаврилович Даргиничев. Прошу любить и жаловать.

— Как-нибудь знаем мы Степу маленько, — сказал Журавлев.

— Уж кого-кого, его-то знаем, — улыбался Гатов. —

А с девок-то с этих, какая ж работа-то с них, Иван Николаевич? Их же надо ложить в лазарет, да кормить, да обихаживать. Им же приварок нужен, а мы и сами тут всухомятку живем. Хватишь когда кусок по-волчьи, ляскнешь зубами, и ладно. Прифронтовая полоса.

— Вода хоть близко, — сказал Даргиничев. — Нащепал вон лучины, самовар задул, хлебай чай до седьмого пота. Как казахи говорят: чаю не пьешь — сила нет.

— Это всенепременно, — сказал предрика. — Самовар нам как мать родная...

Все поглядели на меднобокий, с прозеленью, ведерный самовар, стоявший в красном углу. Он вдруг издал скулящий тоненький звук, будто сладко зевнула собака.

— Живой, — обрадовался Гатов, — когда разогревали его, а все голос подает...

— Разместить где — найдется, — сказал секретарь райкома. — С жильем более-менее мы выкрутимся, а вот питание — это уж вы позаботьтесь, Иван Николаевич. У нас фондов нет. Да и заниматься некому: вот Макар Тимофеевич и я — мы на казарменном, не отлучаемся из райкома.

— Разве на вояк понадеяться... — сказал Макар Тимофеевич. — Вон аэросанный батальон стоит, у них харч особенный. Их для рейда готовят через озеро. У них там каждый третий — инженер, а два остальные — техники. Пушай разбирают невест, хоть поштучно, хоть скопом.

— В общем, дела такие, — сказал Астахов, хмурия лоб, — хлеба им дадим по шестьсот грамм — есть такая договоренность. И водки по двести грамм в день. Это тоже решенное дело. Из Устюжны будем водку возить. Дрянная водка, но, говорят, содержит в себе калории.

— Ну, развеселая жизнь начнется, — причмокнул Гатов.

— Другого пока что у нас ничего в леспродторге нет, — сказал Астахов. — Шаром покати. Вот Степан Гаврилович знает. Придется как-то выкручиваться, изыскивать местные ресурсы.

— Мы с Иваном Николаевичем ехали из Кундокусы, — сказал Даргиничев, — в аккурат под Каргольем самые бои, дали там немцу по первое число. По самой линии фронта мы газовали. С пулеметов по нас луп-



цуют почем зря. В одном месте там лошадей, я заметил, у дороги валялось набито. Должно быть, накрыли обоз. Которые живы еще, встать пытались, а которые закоченели совсем. Сытые лошади, справные, овсом, видать, их кормили. На таком морозе они пролежат, хоть бы что, до весны. В сохранности мясо будет, и воронам не расклевать. Снежком укроет — и амба. Я место приметил, от Борков на восьмом километре. Народу там нет ни души, фронт на запад переместился... Обустроимся немножко, организуем туда экспедицию. Конины там тонна с гаком наберется. Тонна с гаком... Пригодится в хозяйстве...

— Машина есть у вас, вам, конечно, проще... — начал предрика с жалостной нотой в голосе.

— Подыщем пару машин, — сказал Астахов.

### 3

Солнце так и не поднялось. Разъяснившийся с утра край неба скоро стал остывать, погасать. День наполнен был сумраком, сизым туманом... Такие дни за Полярным кругом считаются ночью. Тянуло ветром. Невидимый в воздухе снег струился, тек, завихрялся на гулком зеленом льду Вяльниги.

— Надо сегодня мне выбирать, — сказал Астахов, — а то навалит снегу, застряну здесь у тебя. Пять лесспромхозов еще и две сплавные конторы на мне. Все стало, все заморожено, снегом засыплет — и концов не найдешь.

Они поднимались берегом к вершине яра. Даргиничев шел впереди, за ним Астахов, местные власти. По дороге пристроился к ним капитан, командир батальона.

Вяльнига открывалась вниз. Ее схватило, сковало морозом в разгар работы. Лес нахлынул на запонь, нажал и замерз. Запечатленное во льду, виднелось суставчатое, связанное из плотов тело запони. Стояли с опущенными головами краны на рейде. Снег прибывал и забеливал реку, ровнял. Исчезали следы движения, жизни, трудов. Жизнь стала, оцепенела земля и вода. Солнце коснулось леса, разгорелось багровым заревом...

— Вот это сила! — сказал капитан, облегчив себе душу незначашей, но исполненной воодушевления фра-

вой.— Весной даст ума. Не удержишь. Что ты? Такая машина как поперет...

— И нам секим башка будет,— сказал Даргиничев.— Упустим в озеро — будет секим башка.

— Кровь с носу, а надо держать,— сказал Астахов.

Но как удержишь без мужиков, без тросов, без катеров? Как удержишь ее, эту запонь, если снежной будет зима, если в мирные годы в высокую воду едва удерживали? Что со льдом-то поделать? Весь вальнижский лед будет тут...

— Триста тысяч кубов заморожено,— сказал Астахов.— И мы отвечаем за них головой. Другого лесу нет у нас. И срубить до весны едва ли мы что успеем. Топливо в Ленинграде сейчас ценится наравне с хлебом. Обком и Военный совет поставили нам задачу спасти этот лес и организовать его отправку через озеро. Других реальных возможностей как-то решить вопрос с топливом нет. Нам обещают помочь, но особенно рассчитывать на помощников не приходится. Обстановка крайне тяжелая. Самим надо выкручиваться... Да... Всего остается: январь, февраль, март, апрель...— Астахов загнул четыре пальца в кулак, остался оттопыренным только мизинец.— В мае наш лес должен быть в Ленинграде... Последний лихтер отсюда отправили в августе. Флот на озере весь разбит. Запонь удержим — сразу же встанет вопрос о транспортировке. Заново строить придется суда...

— Троса нужны,— сказал Даргиничев.— Без тросов это гиблое дело. Лежни сопреют за зиму, сотрутся, будет труха. Труха будет.

— Тут нервы нужны ой-ой-ой, потолще тросов,— сказал командир батальона.

— Троса будут дело решать,— сказал Даргиничев.— Не будет тросов — значит, нужно повесить дощечку на нашу лавочку: «Все ушли на фронт». Как в гражданскую войну. Хоть какой толк да будет. А без тросов тут и подступаться нечего.

— Ты, понимаете, брось эти штучки — на фронт,— рассердился Астахов.— Вот здесь нам фронт доверен — и будем держать. Будем тросы искать, доставать...— Астахов смягчился. Гнев его поднялся мгновенно, сломал ему брови и тотчас опал.

Спустились к запони, щупали тросы, лазили по заламам. Остановились на рейде возле печально поник-

шего крана «норд-вест». Что-то скрипело под ветром в его организме, покряхтывали сочленения железных суставов.

— Вот на нем я начинал работать кранистом,— сказал Даргиничев,— в тридцать пятом году. Двигатель на нем тогда был — «висконсин». Хороший кран. Послушный в управлении. Смотря как им управлять, конечно... Ушли, бросили, даже грейфер не закрепили — от же народ...

— Не до того было,— сказал Журавлев.— Немцы вон перли.

— Все уже было у нас подготовлено переходить на партизанское положение,— сказал Макар Тимофеевич.

Метель крутила вьюю.

— Ну ладно,— сказал Астахов,— надо мне выбираться, пока не поздно. Будем подыскивать тебе, Степа, заместителя и снабженца. Больше броней пока что нам не дадут.

## Глава четвертая

### 1

Поселился Даргиничев в Сигожно в конторе сплавного участка на втором этаже. Контора была обитаема, не настыла. Жил в ней оставленный тут бессменный дежурный, мужик небольшенький, не взятый в армию по давнишней болезни. Работал он прежде не то завскладом, не то кладовщиком. Семью отправил вместе с другими, когда надвинулся фронт. Сам остался, раз был назначен дежурить. С дежурства он отлучался редко — уходил на Бяльнигу в магазин отоварить карточку. Иногда в конторе звонил телефон, дежурный брал трубку. Это его проверял секретарь райкома или председатель райисполкома. Дежурного звали Петр Иванович.

— ...Ну что ж, Петр Иванович,— сказал дежурному Даргиничев,— будем с тобой работать. На мне руководство, на тебе производственный отдел. И снабжение. Василий, шофер, управляющего в Карголье повез, вернется — его поставим главным механиком. Штат нашей сплавной конторы, выходит, укомплектован. Укомплектован штат. Гошка галок будет считать...

Гошка, серьезно слушавший разговор, громко втянул ноздрей воздух.

— По совместительству, может, когда придется тебе и приглядеть за парнем. Чаем его попоить. Такие у нас дела, Петр Иванович. Три мужика — вся наша семья. Без женского персоналу остались. Мама наша гораздалеко.

— Само собой, Степан Гаврилович, — сказал Петр Иванович, — мальчонка с соображением. Не маленький уж. Что надо, все будет сделано... Какой разговор.

— Некогда разговаривать нам с тобой, — сказал Даргиничев. — Через трое суток сюда придут блокадницы. Девушки ленинградские. Наголодались, на ногах не стоят. Будем с ними запонь держать.

— Ай-я-яй, — покачал головой Петр Иванович. — Ну, дела-а...

— Хозяйство я у тебя принимать по акту не буду, — сказал Даргиничев. — Так, на слово поверю. Кони есть у тебя, хоть одна заваливающая лошаденка?

— Одна, Степан Гаврилович, некована стоит, ноги сбивши. Овсом прикармливаю ее, два мешка, что списанный был, мышами весь трачен. На живодерню ей и дорога. Кожа да кости.

— Пошли-ка взглянем на твоего рысака, — сказал Даргиничев. — Под седло не сгодится, значит, пустим на суп. Супу нам много потребуется, Иванович, барышень наших кормить. Накормим — будут работать. А не накормим — грош нам с тобой цена. Грош цена.

— Какой с его суп, — сказал Петр Иванович. — Только разве на мыло...

По цельному снегу они протоптали след до конюшни. Дверь в ней была подперта колом. Когда отворили ее, на свет поднялась лошадиная голова; шевельнулись ноздри, нижняя губа отпадала, выставлялись желтые зубы. Лошадь прыдала ушами, как бы приветствуя и жалуясь, о чем-то прося. Она лежала на боку. Заржала, будто закашляла. Уронила голову. Подтянула ноги, хотела подняться, но не могла. Пегая ее шкура была в инае, поги все в язвах, в парше.

Даргиничев достал из кобуры наган. Лошадь косила на человека выпуклым влажным дымчатым глазом. Даргиничев приставил наган к ее уху и выстрелил.

Вышли на снег. Петр Иванович подпер дверь конюшни колом.

— На первый случай будет обед,— сказал Даргиничев.

— Какой уж обед. Собаки и те погрéбают...— пробормотал Петр Иванович.

— Ты вот что...— Даргиничев вдруг задохнулся, губы стали синюшными.— Ты мне это брось.— В голосе его зазвучала гневливая астаховская нота.— Нам еще, может, похуже, чем собакам, придется тут лиха хватить. Ты если брезговать будешь собачьим кормом, я тебя выкину отседа, как труп. Как труп, выкину. Сами мы живы будем или помрем — это дело четвертое. Четвертое наше дело с тобой. Мне, может, пулю в себя пустить проще, чем в эту животину. Дело нехитрое. А вот шестьсот человек накормить, которые не евши, может, три месяца... Чтобы была животина ободрана и разделана к вечеру. И чтобы я от тебя не слышал больше этого паникерства, Петр Иванович...

— Будет сделано, Степан Гаврилович. Я тут один сижу дак... Ум за разом заходит...

— И еще ты вот что... Ты из каких сам-то мест?

— Здешний я, кыженский родом... Из Кыжни.

— Ты, Петр Иванович, прикинь-ка в уме, кто где остался из стариков, по деревням и на лесоучастках. Я их всех знал, да оторвался последнее время. На Сярге должны быть деды и на Шондиге кадровые лесовики. Без них нам кто будет пилы-то править да топоры точить? Пилить девка научится, а вот развести пилу — уж ау, ни одной не дано. Деды нужны нам, пущай пилы правят. Рыбка есть в Вьяльниге. Девоч пущай учат уму, а рыбку ловить мы их настропалим. Без стариков нам ее не достать оттуда. Мережу не всякий поставит. А деды могут. И место знают.

— Да как не знать, Степан Гаврилович... Была бы сетка, а рыбка никуда не девши, вся тут по ямам стоит...

## 2

Позвонил Астахов, спросил, как дела.

— Мясозаготовкой занимаемся,— сказал Даргиничев.— Какаая ни есть животина осталась — секим башка ей делаем. Но только что без хлеба не выживем, хлеба не подвезут — считай, что вторая блокада. Без

хлеба работы с людей не спросишь. Не подымеешь людей.

— Ты, Степа, вот что,— сказал Астахов.— Ты будь готов к тому, что хлеб тебе зерном отгружать будем. Сегодня в ночь отгрузим вагон. Муки ни мешка нет на складе. Вологодскую рожь нам дают. Немолотую. Придется тебе самому помол организовать. В колхозах зондируй почву, может, где мельничка сохранилась...

— Навряд ли,— сказал Даргиничев.

— Ну, в общем, так... Гляди сам. Считай, что еще повезло нам с зерном. Зерна много, хватит на первое время. Потом всеотрегулируется, войдет в норму. Мельничать и пекарить тебе пока что самому придется. Ты будь готов к этому.

— Понятно, Иван Николаич,— сказал Даргиничев.— Снежку нам подвалит — беда... Из снега хлеба не спечь. Будет зерно — это уже полдела. Уже полдела...

— На мельников нам приказано переквалифицироваться,— сказал Даргиничев Петру Иванычу.— Рожь вологодскую будем молотить. Мельницы не нашлось в Вологде. А нам хоть в ступе толочь... От мудрецы, ей-богу...

— Водяные-то мельницы порушены все,— сказал Петр Иваныч.— Паровая была во «Второй пятилетке», дак тоже из строя вышоццы. Раскулачена вся подчистую.

— Под Афониной Горой, в Шондорицах, мы ехали, у меня на механизмы наметанный глаз, там вроде локомотив из снега торчал, у скотного двора в аккурат...

— Да так там у них, в Шондорицах, оказия такая была — жмыхи мельчили для скота. Два жернова там и привод к локомотиву. Прошлый год у них она пущена была, тарактелка. Не знаю, цела ли, нет сей год...

— Сколько тут до Шондориц?

— Двадцать семь будет по дороге, а если через Кондозеро, лесом, то меньше. Не знаю, хожено нонче или нет.

— Не хожено, дак я первый буду,— сказал Даргиничев.— Надо у них насчет локомотива разноухать. Нам бы он очень сгодился на первый случай. Председатель-то в Шондорицах не Андрей ли Иваныч, хромой?

— Он. Один и оставши в Шондорицах над бабами

командир. Вековечный председатель. Хороший мужик, работающий. Теперь его дело тараканье, на печке усами шевелить. Батальон у них размещенный в Шондорицах или дивизион, уж не знаю. От командира части все и зависит, без его разрешения ни в лес за дровами, ни куда.

— Поглядим, что он за гусь, этот командир,— сказал Даргиничев.— Вызывать меня будет Астахов или из Вяльниги кто, скажешь, пошел по колхозам выяснять наличие местных ресурсов.

### 3

Морозный, сыпучий снег раздавался под ногой, идти было легко. Следом за валенками тянулись две борозды, в отвалах борозд искрились снежинки. Лес обрядился в изморозь. Протаяло небо, повсюду легли подвижные, легкие синие тени. Ночью зайцы натоптали тропы. Через дорогу прыгала белка. Прометала ровную стезжку лиса. Синица пикала на березе. Прянули из-под снега тетерева, оставили по себе радужный сполох снежной пыли.

Даргиничев радовался ясному дню в лесу. Радовалось его тело: ноги, грудь, горло. Смоляной студеной воздух вливался в него, свежели сердце и голова. Он шел все скорее. Сияло над лесом солнце. Лес справлял свой престольный праздник. Обида, смута, потемки последних дней растворялись в морозной ясности. Вчера еще жизнь казалась Даргиничеву рухнувшим домом. Хотелось рвануться из-под обломков, уйти, оскалить по-волчьи зубы и драться. Вчера он не думал о завтрашней жизни. Все клином сошлось...

Директор сплавной конторы шел зимним лесом, лес был вверен ему. Лесная тишь означала простой, непорядок. Он прикидывал, как тут разбить делянку, сколько будет кубов, сколько потребуется лошадей на трелевку. «Ладно, будем здесь воевать,— говорил себе Степа.— Второй фронт откроем. Откроем второй фронт. Если о жизни думать, без лесу не обойдешься. На кресты тонкомеру нарубить — нехитрое дело. Если в лес направляют людей — значит, думают жить. Значит, думают жить...»

Даргиничев думал об Алевтине, жене, и опять выходило, что только работа давала надежду. Только ра-

бота. «Нуль без палочки я сейчас,— думал Степа Даргиничев.— Директор без коллектива, без производства, без техники. Бреду по лесу, как дезертир. Только обреза не хватает».

Он улыбнулся: «Раз нужен лес, то без Степы не обойдутся. Не обойдутся без Степы. А там поглядим».

4

В Шондорицах топились печи, пахло березовым дымом, снег иссечен машинными, тракторными колеями, слышался звук моторов, по улице двигались люди. Все эти знаки артельной, деятельной жизни обрадовали Даргиничева. У околицы его остановил часовой. Степа спросил, как найти командира части. Командир оказался навеселе, и что-то сразу не понравилось Даргиничеву в этом капитане, в отекшем, несколько обветренном, мятом его лице. Капитан хмурил взгляд, глаза его, навывкате, с кровяными прожилками, мутнели, он засовывал пальцы под широкий ремень, сгонял к спине складочки гимнастерки. Живот был у капитана не то чтобы велик, но был! «Не гораз ты лиху хватил на войне,— подумал про капитана Даргиничев.— Гарнизонный пьянчуга».

— Ты кто таков? — спросил капитан.

Даргиничев был моложе этого капитана. Свежий он был, загоревший на зимнем солнце. Глядел открыто, светло, с почтительным добродушием.

— Директором я назначен сплавной конторы в Вяльнигу, товарищ капитан. Вот мои документы.

— Ты кто таков? — сказал капитан.— Видали, ребята, директора? — обратился он к сидевшим с ним за столом лейтенанту и старшему лейтенанту.— Вот он, вот, живой директор. Мы тут воюем, а он директор. Над кем ты директор-то, а?

— Да я и сам не знаю, ребята,— сказал Даргиничев, весело глядя в глаза капитану.— Решением обкома и Военного совета меня сюда направили. Одна кобыла мне тут оставлена была в подчинение, и той пришлось секим башка делать. На суп пустить.

— По твоей роже не видно, чтобы ты сильно недоедал,— сказал капитан.

— Нам грех в лесу жить да зубами ляскать. Мы как бобры: дерево спилим, тем и сыты бываем. Как



бобры... Если надо, и спиртику нацедим. Нашего, лесорубского сучка.

— Еще тот бобер, — сказал капитан. — Мы сейчас с него шкуру сыем... — Он хрипло засмеялся, оборвал смех кашлем.

Даргиничев, улыбаясь, достал из висевшей у него на боку сумки черную бутылку, заткнутую шматком газеты, выставил ее на командирский стол. Он сказал, что вскорости принимает себе в подчинение шестьсот ленинградских девушек. Тут поблизости их расселит. Лейтенанты оживились.

— Ты, директор, мастак заливать, — сказал капитан. — Жаль, тебя с нами не было, когда нас десантом выбрасывали на остров Лункулансаари. Скучно нам там было. Может, повеселил бы... — Капитан оглаживал под ремнем гимнастерку, как-то вскидывался, озирался, гневно сунул брови. Спирт не веселил капитана.

Когда Даргиничев заговорил о жмыходробильной машине, капитан, не дослушав, сказал:

— Не дам. Пригодится в хозяйстве.

Даргиничев глядел на капитана по-прежнему весело, добродушно. «Кли так стукнуло его на острове Лункулансаари, может, до сих пор не очухался... Контуженный, видно...»

— Придется обращаться к вашему начальству, вплоть до командующего армией, — сказал Даргиничев. — Нам такие права даны решением Военного совета...

— Иди ты, директор... — сказал капитан.

С тем и ушел Даргиничев из командирской избы.

## 5

Стемнело уже, но в деревне слышался скрип шагов по умятому снегу. Кто-то кашлял, кто-то смеялся, где-то рдела сигарка, мяукала гармошка. Сквозь щели закутанных окон цедился свет. Даргиничев помнил, как рано засыпала эта деревня в мирное время, только брехали собаки. «Собак-то извели, что ли, — подумал он, — или командир ихний распорядился... Дундук гарнизонный. Ну ладно».

Он отыскал председателю избу, в ней не было света. Председатель вышел на стук — в опорках, в кальсонах, сухонький, колченогий, Андрей Иваныч...

— Даргиничев я, Степа, помнишь, лодку-то первый раз на Кондозере пускали с мотором, я ее привезил... — Даргиничев говорил веселым, громким голосом.

Председатель зажег лучину. Голубенькие старые его глаза слезились.

— Да ты военный теперь или как? — выпрашивал он Даргиничева.

— Не, мы к лесу с тобой приставлены, Андрей Иванович. Директор я Вяльнижской сплавной конторы. Без лесу много не навоеешь. И блиндажа не построишь. Лес нам поручено партией и правительством заготовлять. Ленинград поддерживать лесом. Там уж они все дома деревянные сожгли подчистую, хлеб спечь у них дровишек не хватает. На нас с тобой у них надежда, больше не на кого. Мне полномочия даны — мобилизовать все внутренние резервы. Вот ты и есть для меня внутренний резерв. Без твоей подмоги я нуль без палочки. Лесная промышленность без колхозника — все равно что армия без пехоты.

— Дак ведь какая помощь, — сказал Андрей Иванович, кряхтя, дымя сигаркой, — людей-то в колхозе всего ничего, себе-то за дровами съездить в лес — целая история. С хлебом плохо. Хлеб весь съели подчистую.

— Хлеб есть у меня, режь вологодская, немолотая. Не знаем вот, как на муку ее переделать. И водка устюжнинская есть. Поможешь мне дело поставить в лесу, будешь со мной работать рука об руку — внакладе не останешься. Мы люди с тобой свои. Простые люди. Договоримся. Это вон капитан у вас с гонором. Ну ничего, надо будет — подправим ему мозги. Армия пусть воюет, Андрей Иванович. А нам с тобой хозяйство вести. Хозяйство в стране нарушится — значит, пиши пропало.

— Дак а ржи-то много ли у тебя? — интересовался председатель.

— Хватит! — заверял Даргиничев. — Смолоть ее надо, Андрей Иванович, жмыходробилка у тебя, я видел, брошенная валяется. Тебе она ни к чему, а нам бы сгодилась на первый случай. И локомотив под открытым небом ржавеет. У нас есть в Вяльниге локомотив, да золотник у него сработался... Золотник — это сердце локомотива.

— Дак это конечно, — соглашался председатель.

Так они разговаривали, трещала сосновая лучина, роняла в деревянную бадью летучие перышки.

Потом они вышли на волю. Деревня затихла совсем. В намерзлом заиндевавшем небе ежились звезды. Председатель стучался в окошки, в одно, другое. Его пускали в избы. Вместе с ним выходили на улицу женщины в кацавейках. Андрей Иванович привел под уздцы запряженного в дровни мерина. Артелью раскачали завязшую в снегу жмыхдробилку. Но не хватило артели силенок поднять жернова на дровни. Андрей Иванович снова стучался в глухие окна. Не скоро, не вдруг выходили на председателей зов шондорицкие бабы. Но выходили.

Жернова уложили в сани. Председатель почмокал, подергал всажжи: «Н-но, пошел». Мерин дернул, мотнулся вправо, влево, полосья жестко заскрипели, как по песку.

— Спасибо, бабоньки! — громким шепотом сказал Даргиничев. — Вот уже муки намелем на этой вашей оказии, блинов напечем. Масленицу справим.

Бабы глядели на него в сомнениях, как бы в полусне, еще не поняв, для чего и откуда взялось, верить этому мужику в романовской шубе или не к добру его появление в ночи.

Так и остались они. Председатель Андрей Иванович вывел воз на зады деревни. Дорога значилась на снегу, бежала к близкому лесу.

— Тут за дровами у нас езжено, — сказал председатель. — Делянка ваша оставлена с лета. С той стороны к ней кыженские ездят. В аккурат на большак и выберешься. Все патрули минуешь.

— Спасибо, Андрей Иванович, — сказал Даргиничев. Он долго держал в своей большой пясти председателю руку, крепко ее сжимал. — За нами не пропадет.

Он взял всажжи, почмокал мерину, мерин пошел и скоро стал белый, заиндевел.

...Через день Даргиничев приехал в Шондорицы на тракторе «сталинец», укрытом — для маскировки — сосновыми ветками, с приказом из штаба дивизии — выдать локомобиль. Капитан выделил в помощь команду — размонтировали локомобиль, погрузили в сани.

— А ты, директор, настырный парень, — сказал капитан. — Такие мне нравятся.

Ленинградских девушек везли через озеро на машинах. Дорога от Осиновца до Кобоны была не то что длинна, но долга, изрыта, искрошена бомбами. Машины ползли от полыньи к полынье, от бомбежки до бомбежки. Морозная метель залетала в фанерные кузова-фургоны, кто ехал живым на Большую землю, кто помер, — не разобрать. Мертвые тесно сидели в ряду с живыми, упасть им некуда было. В Кобоне их отнесли в сторонку, сложили в маленький штабель. Живых накормили горячим супом с мясом, с картошкой. Довезли до железной дороги, погрузили в теплушки.

На станции Вяльнига девушек встречали солдаты, подхватывали, опускали на землю, передавали с рук на руки, подымали в кузова подъезжающих военных машин. Лица девушек чуть виднелись под ватными шлемами-колпаками, ноги не помещались в голенища валенок и сапог. Голенища разрезаны были. Состарились девушки за три блокадных месяца. Многих мучил понос. Справляли они свою нужду тут же вблизи вагонов. Глаза у всех обратились вовнутрь, застеклели, задержались сизым декабрьским ледком.

Солдаты заглядывали в лица девушкам, говорили что-то, даже пытались шутить, но девушки не улыбались. Оттаять они не успели еще, хотя в теплушках топилась железные печки.

Высадкой и отправкой руководил Даргиничев. Помогали ему Петр Иванович, заместитель, шофер Василий и председатель райисполкома Гатов. Тут же были военные власти. Вместе с солдатами подхватывали они девушек под руки — несли. Самых слабых Даргиничев отправлял в свою полуторку, там настелили сено. Одна была в рыжей собачьей шубейке, в фетровых ботах и байковых лыжных штанах. Ноги ее не опухли, не вздулись, как у других, но идти она не могла. Даргиничев поднял девушку в рыжей шубейке, взял на руки. Гатов хотел подсобить.

— Не надо, — сказал Даргиничев. — Унесу. В ней весу, как в Гошке моем.

Только глаза, нос и губы девушки виднелись из-под оренбургского платка, пропущенного под мышку, увязанного за спиной. Глаза глядели темным-темно —

один сплошной зрачок, обведенный светло-желтеньким ореолом. Ноги девушки истончились на нет. Даргиничев чувствовал у себя в руках косточки, прутья. Он заглянул сверху ей в лицо, сказал:

— Курносая. Счастливая будешь. Курносим везет.

— Как вам не стыдно,— сказала девушка,— такому здоровому, толстому, быть здесь, когда в Ленинграде умирают каждый день от голода тысячи. Как вы можете? — В голосе девушки не было раздражения, гнева. Она будто разговаривала с собой, размышляла. — Неужели вам не совестно каждый день досыта наедаться и ничем не рисковать, когда кругом гибнут тысячи лучших людей? Я бы таких, как вы, судила в трибунале,— сказала девушка,— и расстреливала, чтобы вы даром не ели хлеб тех, кто отдает свою жизнь.

Руки Даргиничева прямые сделались, жесткие.

— Бодливой козе бог рог не дал,— сказал он.— Расстреливать просто, девушка... Из живого человека покойника сделать — ни ума не надо, ни силы. А вот из могилы человека вытянуть — тут силенка нужна, тут не справишься не поевши. Вот тебя я из могилы тяну, еще не знаю, вытяну ли, и еще шестьсот таких, как ты, тянуть надо. Да лесу нарубить, чтобы тем, которые в Ленинграде остались, совсем не заоченеть... Лес рубить — нужен крепкий загрибок. — Даргиничев нес девушку на вытянутых, прямых руках, разговаривал с ней. — Это не то что приговора подписывать да в расход пускать. А мы лесорубы. Вот так-то, курносая. Родились на свет мы, чтобы жить. На самих на себя нам негоже крест ставить. Надо будет кому — значит, спишут в расход. Нехитрое дело. А нам с тобой, курносая, выжить приказано, мы с тобой еще можем пригодиться на трудовом фронте. На трудовом фронте нам с тобой велено воевать. На меня побольше ответственности возложено, на тебя — поменьше... Тебя как зовут-то?

— Нина Игнатьевна,— сказала девушка и улыбнулась чему-то. — Нечаева. Мой дальний предок по материнской линии был декабрист...

— Ну вот, станешь на ноги, Нина Игнатьевна, поткормишься, мясом обрастешь — и продолжай свою линию на здоровье. Ребята вон в аэросанном батальоне — дай божье, ниже лейтенанта у них никого нету.

— Инженер-капитаны в основном да инженер-майоры,— сказал Макар Тимофеевич Гатов. Предрика не отставал от Даргиничева, в одиночку было ему не по себе среди этих по-каторжному состарившихся девушек. Чувство вины возникало в нем, огорчало. Горько, жалостливо опускались углы его губ, он качал головой: — Ай-я-яй, до чего же их довели. Они еще молодые, а пожилым-то там каково?

Даргиничев устроил Нину Игнатьевну в кузове своей полуторки, сам сел к рулю. Наказал Петру Ивановичу с Гатовым:

— Сотню еще в Сигожно направляйте, остальных в Кыжню и Шондигу. Я поеду пригляжу, как они там размещаются.

— Журавлев утром звонил из Шондиги,— сказал Гатов.— Матрацев у них там только двадцать две штуки...

— Вспалку первую ночь переспят. Не в санаторий приехали, обойдутся. Потом надо будет санцом разжиться у шондигских бабок. Пуццай потрясут свои сеновалы.

— Наверяд ли кто даст,— сказал Петр Иванович.— Зимы-то много еще. Деревня сей год коровами только и кормится. Корове нечего есть — тогда и зубы на полку.

— Ничего,— сказал Даргиничев,— мы им дровишек подкинем, погреем бабок, они сговорчивее станут. А нет, дак вон у нас в тупике вагон устюженской водки стоит. Договоримся.

— Бабы-те скорее сами себе дровишек напилят в лесу, чем наших работничков ждавши,— сказал Гатов и горестно покачал головой.— Гляжу я на них, Степан Гаврилович, когда еще толку с них ждать. Еще кодить-то им нужно учиться. Как зимние мухи. Не знаю. В глубокий бы их тыл, в Ташкент куда-нибудь, а не в наши леса...

— Оклечетают,— сказал Даргиничев.— Живучий народец. Питерский. Поехали, Вася.

Василий достал заводную ручку, минут десять лязгал, пока подал голос мотор. Паршивенький был этот газогенераторный мотор, самовар, не машина.

Ехал Даргиничев тихо, шупко, на первой скорости. Дорогу вчера прошли бревенчатым угольником, раздвинули снег. Слышно было, как он скрипит под коле-

сами. Перелетали дорогу тетерева, рассаживались в вершинах осин.

— Вон оно, мясо-то, — улыбался Василий. Но Даргиничев не отрывал глаз от неприкатанной рыхлой дороги. У околицы в Сигожно навстречу машине выбежал Гошка. Но отец не взглянул на него. Гошка поспевал за машиной. Серьезно, хмуро глядел, как отец с Василием снимают с кузова неуклюжих, закутанных, молчаливых теток, уводят, уносят их в дом.

Поздно совсем, за полночь, в потемках, Даргиничев wszел в этот дом, нащупал фонариком рыжую шубейку среди серых одеял и ватников, приблизился к ней. Два темных глаза влажно блестели в луче. Даргиничев погасил фонарик.

— Спи, спи, Нина Игнатьевна, — сказал шепотом. — У нас не бомбят пока что. Спокойно. Спи. — Он достал из кармана банку консервов, покослдовал над ней. Поставил на пол у изголовья. — Покушай. Веселее будет. У нас питание — не проблема. Большая земля.

Даргиничев очень старался не нашуметь, но половицы екнули под грузом его большого, тугого тела, под заскорузлыми на морозе валенками.

Кто-то сказал ему вслед:

— Во боров. Как земля-то их носит, таких?

## 2

Мороз в ту зиму был вражий, служил делу смерти, дожжимал, добирал последки живого, стращал одиночными выстрелами по ночам. Он глухо зашторил окошки в бараках, где ленинградские девушки, лежа в постелях, жевали сырой, непропекшийся хлеб, разжевывали каждое зернышко, дожидались, когда превратится хлеб в силу, когда согреется кровь.

Давали им рабочую пайку — шестьсот граммов и еще обещали триста — за перекрытие нормы. Только когда ее перекроешь, и какова она, лесорубская норма?

Мороз залетал в растворенные двери и шарил, кого бы кусить, но в стуже был еще запах соснового леса, хвои. Так пахло детство, давно, до войны. И в черных бутылках устюженской витаминной водки плавали хвойные иголки. И в солнце, хотя оно не могло растопить мохнатую изморозь на окнах, тоже был витамин.

Приходил в бараки Даргиничев, весь свежий, румяный, от него тоже пахло сосной; завернутые втрое голенища валенок обхватывали круглые икры, полушубок перепоясан, на ремне кобура, рот полон ровных белых зубов. Хорош был директор, мороз шел на пользу ему, от него пахло жизнью, хотелось потрогать его — откуда он взялся. Как будто с другой планеты, где знать не знали войны и блокады.

— Ну что, девчата,— сочным, громким, здоровым голосом говорил директор,— может, танцы устроим? Патефон у меня найдется... Найдется патефон...

Тонкий, надтреснутый, будто заржавленный голос вдруг доносился откуда-то из угла:

— Тьва-а-арищ дире-ектор, погрел бы... Во-он у тебя под шу-убой сколько тепла-а... Что тебе, жа-алко? Погре-ей, мы вста-анем.

— Не хватит на всех,— говорил Даргиничев.— Еще вашего брата двести пятьдесят душ прибыло. Помещения не хватает размещать. В избах на полу спят вповалку. Просто беда. По району гоняюсь, где на коне, а больше пехом. Дровами нужно всех обеспечить, питанием. А кадров у меня всего четыре деда с бородами. Четыре деда всего. Управляющий трестом Астахов нажимает, обком беспокоится и Военный совет. Хлеба прибавили норму в Ленинграде, двести грамм дали, рабочим триста пятьдесят. Дорогу наладили через озеро, муку подвозят. А с топливом худо. Без топлива хлебушка не спечешь. Мука — полдела еще. Полдела. Дровишки нужны. С нас спросят. От нас идет топливо в город Ленина. Не выполним — значит, хлеба не будет. И мне тогда — по шапке. И вам будет стыдно в глаза посмотреть своим близким, которые там, в Ленинграде, не сдаются врагу... — Лицо директора становилось другим, когда он говорил свою речь. Румянец с него сошел, губы выпячивались, глаза стекленели, проступали желваки на щеках.

— ...Триста тысяч кубов леса на Вяльниге в запони заморожено,— говорил Даргиничев.— Готовый лес, ни пилить его, ни подвозить, ни в воду срывать не надо. Грузи на баржи да отправляй через озеро. Нам задача поставлена удержать этот лес в запони на период ледохода. А он весь вмерзши во льду. Ледоход будет сильный сей год. Лед толстый, монолитный. Как будем держать — не знаю. На вас надежда, девчата. Упустим



лес — позору не оберешься. Нельзя упускать. До последнего будем держаться. Как на фронте, на передовой. Упустим — значит, считай, что на нашем участке фронта фашисты прорвались, значит, мы пропустили врага...

Удержим лес в запони, — говорил директор, — банкет закатим на всю округу. В аккурат к Первому мая подгадаем. Дня прибавится — иллюминации не надо. Дедам накажем красной рыбки поймать, лососки. В гарнизоне какой ни на есть оркестришко найдется. За водочкой нам к куму бегать не надо, этого добра хватит... За вами дело, курносые. Вон в Шондорицах у меня из бабок старых бригада сколочена, дровишки заготавливают. И ничего...

Девушки слушали директора, глядели, тянулись к нему, улыбались. От него исходила воля, хотелось подняться и делать, как он прикажет. Хотелось глядеть на него. Пусть он говорит, не уходит.

## Глава шестая

### 1

Многое успевал Даргиничев, но не хватало суток ему: мельницей занимался, пекарней, гонялся по сплаваучасткам, разыскивал тросы в снегу. Транспорта не хватало директору, дров не хватало, времени, голосу, силы в руках. Руки его не доходили до главного дела — до техники. Технику бросили летом сорок первого года. Мужчины ушли на войну. Остались на женщинах малые ребяташки. Технике женщины не хозяйки. Как работали два крана «норд-вест» на плашкоутах, так и вмерзли в лед. И катера вмерзли, лебедки, сплотовная машина, сортировочная сетка, восемнадцатисильный движок засыпало снегом.

Сердце обливалось кровью у Даргиничева, когда он приходил на Вяльнижский рейд и видел умершие краны. «Сколько ни бейся, как ни старайся лес удержать, если весной не заработают краны — все пойдет прахом. Все прахом пойдет. Голыми руками лес не возьмешь из воды». Даргиничев забирался в будку крана, садился к рычагам — пять рычагов, две педали. Ветрено было там, скрежетало железо. «От же, ей-богу, мать честная, ну что ты будешь делать?..»

Лучшие его молодые годы прошли на этом кране «норд-вест». Лихо работал Степа. По два кубометра коротья зачерпывал грейфером из «дворика», плавно и точно клал их на днище баржи. Кран хороший, поворот у него триста шестьдесят градусов, крутись сколько хочешь вокруг собственной оси.

Десять «норд-вестов» купили в тридцатые годы в Америке, два доставили водным путем на Вяльнигу. Двигатели у кранов бензиновые были, марки «висконсин». Перед войной решили их перевести на газогенераторную тягу. Поставили шестидесятисильные тракторные моторы ЧТЗ. Напилили, засушили березовой чурки. Задымили котлы-самовары. Американская техника — ничего, поддалась этой реконструкции. Только вскоре полетели передаточные шестерни. Американская шестерня съела нашу отечественную. Пока исследовали химический состав металла в американской шестерне, началась война.

Сколько ни рылся Даргиничев на складе Вяльнижской сплавной конторы, запасных шестерен там не было. Треклятые эти шестерни отравляли Даргиничеву жизнь. «Все прахом пойдет, все прахом, если не пустим краны весной...»

## 2

Тут-то и приехала Серафима Максимовна Лунина. На военной машине приехала, моряки ее подбросили, из бригады морской пехоты. Лет ей было за пятьдесят, невеликого роста, в кости широкая, в полушубке и валенках с галошами, в шапке-ушанке. Сошла бы Серафима Максимовна и за мужика, только глаза ее в глубоких глазницах теплились, излучали тепло. Лицо было зимнее у Серафимы Максимовны, изморозью затянутое, та же печать лежала на нем, что у блокадных девчат. Кости проступали в лице, мужские, крупные кости; широкие скулы; но глаза выражали сосредоточенную, серьезную, бабью доброту, доверчивость. Что-то округлое, домашнее, крепкое было в этой женщине. По-утиному, вразвалочку, не глядя по сторонам, как по давно знакомой улице, Серафима Максимовна прошла в контору. Руку ей оттягивал чемодан. В дверях столкнулась с Даргиничевым.

— Здравствуй, Степан Гаврилович.

— Да никак это Серафима Максимовна! Здравствуйте! Какими судьбами?

— Иван Николаевич направил. «Хватит,— говорит,— без тебя есть кому в конторе бумаги писать. Езжай-ка, Серафима Максимовна». Круглым путем добиралась, через Кубону. Да немцы как раз нападение устроили. Ну, моряки, молодцы, отбили. Крепко держат. Вот на-ка, возьми чемодан, гостинцев я тебе привезла.

Даргиничев взял чемодан, удивился:

— Ого, с полпуда будет...

Они поднялись в кабинет к Даргиничеву, Серафима Максимовна раскрыла свой чемодан. Одни железки в нем были, больше ничего.

— Компенсационную коробку к крану «норд-вест» я тебе привезла, Степан Гаврилович, да еще вот пару запасных шестерен, на тридцать зубов и на двадцать два. В августе в Гумборице около крана бомба упала. Коробка, к счастью, цела оказалась. Я ее прихватила с собой в Ленинград. Думаю, пригодится. В январе Иван Николаевич дал нам команду переезжать в Карголье, стала собирать вещи первой необходимости, да вот только эти детали и взяла. Сестра меня провожала, помогла чемодан в машину погрузить, одной бы мне не под силу. Да и у нее-то тоже силенок совсем не осталось. В общем, кое-как дотащила...

Даргиничев держал в руках шестерню на двадцать два зуба, глядел на Серафиму Максимовну, рот его несколько растворился, и как будто слезой ему застлало глаза.

— Спасибо, Серафима Максимовна. Выручили вы нас, просто вынули из пегли... От же, ей-богу, всем жертвуют люди для общего дела. Ни с чем не считаются. Нет цены нашим людям, нет цены... Пойдемте, Серафима Максимовна, в столовую, накормим вас нашим сплавным обедом. Не бог весть что, но накормим досыта. И талона с вас не возьмем.

— Ну вот и ладно,— сказала Серафима Максимовна.— Я хоть сухарей насушу, сестру надо поддержать в Ленинграде, а то совсем она сгинет, бедняга.

— Об этом не беспокойтесь, Серафима Максимовна. Поселим вас у Ефросиньи Михайловны, заведующей пекарней. Она одна, изба у нее большая. Хлебушка у нас в обрез, сами рожь мелем, сами печем, овсеца до-

бавляем, из конского пайка. Но кое-какой припек получаем. Бывает припек, не без того. И о конях заботиться надо, но если у нас не найдется, чем человека подержать, который жертвует собой для общего дела, то грош нам цена. То, значит, никудышные мы хозяева.

### 3

Серафима Максимовна Лунина происходила родом из череповецких корабельных мастеров. Отец ее строил барки для Мариинской системы, и все дядья работали на верфи, и братья пошли по отцовской линии, и сестры научились держать в руках фуганок, топор и гаечный ключ.

Лунины строили барки, учили детей своему деревянному ремеслу. Флот был деревянный на Мариинской системе. Но Серафима заглядывалась на плывущие мимо железные пароходы и уплыла однажды из своего затона. Ей был сладок запах мазута и внятен голос машин.

Она избрала себе мужскую судьбу. Талантом механика одарила ее природа. Чертежи и схемы она читала с той легкостью, с какой прочитывают книгомери страницы своих любимых авторов. Законы взаимодействия железа, огня, электричества, пара, бензина оказались просты для нее, как просты законы плиты и духовки для домовитой хозяйки.

Коротко стриженная, с папиросой в зубах, в мужской кацавейке, осуществляла Серафима Максимовна механизацию сплавных работ на северных реках — устанавливала сплотовые машины, пускала движки, монтировала краны. Где что не ладилось или случалась авария, звали Серафиму Максимовну. Талант выделял ее из толпы сплавщиков, подымал.

К сорока годам Серафима Максимовна стала инженером-механиком лесного треста по сплаву. Хотя не училась она в институте и даже в техникуме не бывала — самоучкой дошла.

Вся жизнь ее проходила в разъездах, в командировках. Домом она не обзавелась: так, кое-какая жилплощадь имелась в городе — для ночлега. Война застала Серафиму Максимовну на сплавном рейде в Гумборице. Такой же рейд, как на Вяльнице, полтора-два тысяч кубометров приплавленного в запонь леса, два крана

«норд-вест». На второй день войны из мужчин остался в Гумборице только директор сплавной конторы.

На кране он не умел работать, а суда приходили, как всегда, по графику, становились под погрузку. Директор хватался за голову: «Что делать, Серафима Максимовна? Что делать?» — «А что будешь делать, — отвечала Серафима Максимовна, — парнишек надо учить. Их ведь только допусти до крана, они рады-радехоньки будут».

Шестерых гумборицких парнишек научила Серафима Максимовна орудовать рычагами на кране «норд-вест». Было парнишкам по пятнадцать да по шестнадцать. Инженер-механик треста принимала у них экзамен, выдала справки о знакомстве с техникой безопасности. Первым делом парнишки перемазались с головы до пят. Так и звали их на рейде «чернокожими». Да еще пришлось опустить сиденья в будках кранов, иначе не выжать было кранистам педалей.

Глаз был нужен да глаз за чернокожими. Чуть им выдавалась минута, они катали друг дружку на грейфере. И девчонок катали. От кранов готовы были вовсе не отходить. И спали тут же, в будке на берегу. Грузили суда по графику. Особенно ловко работали Леша и Коля, краниста Денькина сыновья. Один наверху за рычагами, другой на «дворике» помогал грейфер загрузать. Потом другой лез наверх.

Младший, Леша, сидел наверху. Поднял нагруженный грейфер, только начал поворачивать стрелу, нога у него соскользнула с педали. Раскрылся грейфер. Полтора кубометра дров упало сверху на Колину голову. Похоронили Колю.

Серафима Максимовна постановила не допускать к работе на кране без специальных кожаных набоек на обуви. Прибили набойки, грузили суда, пока не стали падать на Гумборицкий рейд бомбы, а потом и снаряды.

4

— Ну что будем делать, Серафима Максимовна? — спрашивал Даргиничев. — Кроме меня, нет кранистов. Один на всю Вяльнигу... Я-то бы с полным удовольствием краном командовать согласился. Было бы на кого остальное хозяйство переложить... Не на кого пе-

рекладивать. От же, ей-богу, положеньице... Девчат заправщицами чурки можно будет около кранов держать. А к рычагам им рано садиться. Мясом пушай обрастут...

— Парнишек надо учить,— говорила Серафима Максимовна.— Они восприимчивые к технике. Быстро осваиваются на кране. В Вяльнигу вот уже схожу. На учет надо взять всех парнишек. Да и к девчатам тоже приглядеться. Может, которым приходилось с техникой дело иметь.

— Приглядывайся, Серафима Максимовна,— говорил Даргиничев.— У меня-то времени не хватает до каждой дойти. Бойкие есть — просто беда. Вон бригадиром у меня Тоня Михеева назначена — огонь девка. На Вадаевских складах она грузчицей была. И еще с ней товарки ее приехали, тоже грузчицы со складов. Я их пока с работой не торопил, так они сами ко мне в кабинет пришли. «Давай,— говорят,— директор, работу, мы трудиться приехали, а не баклуши обивать». Я их послал троса на залом заводить, перетягами лес крепить. Тяжелая, мужская работа, в кровь руки рвет, а ничего, справляются... Разные девки есть... Походи, Серафима Максимовна, по баракам, побеседуй с ними. Тебе легче общий язык найти.

Серафима Максимовна ходила, дымила махорочной цигаркой. Девушки обращались к ней: «Товарищ начальник». Кто же еще, как не начальник, стриженная, серьезная, строгая женщина в полушубке? Девушки жаловались ей, что нет писем, нет рукавиц и хлебушка не хватает. Жаловались, но ропота не слышала от них Серафима Максимовна. Главное, чем жили сейчас эти девушки, была работа. Им хотелось работать по-много. Работа спасала их зимой. Тех, которые не смогли работать, они похоронили на Пискаревском, на Серафимовском кладбищах. Девушки были дружинницы, бойцы батальона МПВО. Они научились зимою мерить запас своей жизни полнотою самоотдачи, участием в общем для всех бытии. Содержание, смысл, основу этого бытия составляла работа. Жизненная потребность и чувство долга соединились. Война и блокада сделали девушек солдатами трудовой армии.

Они бы не уехали из своего города, но их послали работать. Велика была их жадность к хлебу, к еде, но еще сильнее была жадность к работе. По утрам бри-

гадиры подымали свои дружины и батальоны. Командиров стали звать бригадирами. Девушки выходили на лютый мороз, в сизое, неразвидневшееся, заиндевелое утро. Они спускались к запони, тянулись гуськом по глубоко протоптанной тропе вверх по руслу Вяльниги. Распутывали мотки стального троса. Долбили ломами лунки во льду. Рыли на берегу траншеи. Пилили дрова.

Звуки работы пока еще не могли пересилить густую морозную тишину. Звуки эти были слабы, едва заметны. Но становились они слышнее день ото дня. Тяжелая снежная, ледовая оцепенелость нарушилась движением, голосами, дыханием работающих людей.

Работа девушек подчинялась плану, план был простой у Даргиничева: до весны разбить, взорвать смерзшийся залом, разобщить древесину, переплести ее тросами и привязать к берегам. И еще навести по льду две вспомогательные запони выше коренной, генеральной — чтобы переломить ледоход.

Приехал на Вяльнигу профессор из научно-исследовательского института лесосплава, познакомился с планом и укорял Даргиничева за примитивность решения и объяснил, как нужно действовать по науке. Однако наука требовала технической оснастки, а у Даргиничева имелось в наличии только восемьсот ленинградских девушек. Да и то не все еще выходили на работу. И рукавиц не хватало. Без рукавиц с тросами много не наработаешь.

После войны уже, через двадцать пять лет, Даргиничев смеялся, вспоминая того профессора: «Поставить бы его тогда на мое место — за милую душу лес бы весь упустил в озеро. Пришлось бы на науку списывать. От же, ей-богу, мудрецы...»

5

Однажды на берегу среди ковьяряющих мерзлую землю девушек Серафима Максимовна выделила одну, постарше, она была и одета получше. Перчатку сняла с руки, и проблеснул у нее на пальце перстень с драгоценным камнем. Лицо печальное было у молодой женщины: бескровные губы, присыпанные пеплом глаза. Какое-то недоумение, несказанный вопрос выражало это лицо.

Серафима Максимовна заговорила с печальной женщиной и узнала, что по профессии она штурман дальнего плавания.

— Что же это получается, товарищ начальник, — пожаловалась женщина Серафиме Максимовне. — Нам говорили, что мы поедем всего на две недели на заготовку дров для Ленинграда. Я даже запасной одежды с собой никакой не взяла. А мы уже здесь полтора месяца, и конца не видать...

— Не знаю, кто вас неправильно информировал, — отвечала Серафима Максимовна. — Только думаю, что отчаиваться вам не надо. Пароходы сейчас все равно не плавают. Весной начнется навигация — ваши знания нам здесь очень будут нужны. Да и сейчас они пригодятся. Это непорядок, что вы землю копаете. В сплавной конторе острый недостаток в счетных работниках. Я договорюсь с директором, пойдете работать в контору.

В сумраке барака с замурованными морозом, забытыми фанерой окнами плакала девушка. Руки она разорвала стальными заусенцами тросов. Руки маленькие у нее были, нерабочие руки.

Девушка все рассказала Серафиме Максимовне про себя, выплакалась, навсхлипывалась и умолкла. Работала она раньше заведующей библиотекой в консерватории. Серафима Максимовна пообещала устроить девушку заведующей на почту.

Нина Нечаева не плакала, она лежала на топчане, глядела в потолок, глазницы ее были совсем синие, чуть желтел ободок вокруг расплывшегося зрачка.

— Ну, чего валяешься? — спросила Серафима Максимовна хрипловатым, грубым, череповецким своим говорком. — Прележни наживешь, и только. Ты что раньше-то делала? Или просто дочкой у родителей была?

— Я в медицинском училась, — сказала Нина. — И еще зажигалки на крыше гасила. Маму похоронила. О папе хотела поплакать, но слез у меня не нашлось. Вот и все. Больше я ничего не успела.

— Ну что же, — сказала Серафима Максимовна, — на ноги встанешь — устроим тебя на медпункте работать. Хворых всяких, калек хватает. А докторов у нас нет, на тебя вся надежда. Подымайся-ка, девушка, я тебя свою погулять...



— Я сама умсю,— сказала Нина,— я еще полежу немножко и встану. Я сегодня на работу утром ходила... Мне плохо сделалось, сознание потеряла. Клава, наш бригадир, меня домой привела. Я чуть-чуть полежу и встану.

— Не задерживайся, девушка, включайся в работу,— напутствовала Серафима Максимовна.— В коллективе не пропадешь. А вечером заходи-ка ко мне, чайку пошьем. Я рядом с пекарней живу, у заведующей пекарней, Ефросиньи Михайловны...

Так ходила по поселку приземистая, ширококостная, похожая на мужчину женщина в полушубке, по баракам ходила, по поселку, по рейду, спускалась на запонь, лазала по залому. Она разговаривала с девушками, и в голосе у нее не было сочувствия, жалости. Мужской был говор у инженера-механика. И повадки мужские. Только глаза смотрели со спокойной, мудрой, уверовавшей в себя, не поколебленной жизнью, беспредельной бабьей добротой.

Вечером Серафима Максимовна сказала Даргиничеву:

— Давай-ка, Степан Гаврилович, парня твоего переселим ко мне. Хватит уж ему в конторе-то отираться. Меня хоть на сплав и век считают за мужика, а ведь все же я баба. Способней ему будет около меня.

Гошка противился этой перемене в своей судьбе, кныкал:

— Я с папкой буду...

Переселили его к Серафиме Максимовне. В бане намыли. Дырки заштопали на штанах.

## Глава седьмая

### 1

Нина Нечаева вышла на волю и побрела туда, где пахло едой,— к столовой; ковыряла палкой в рыжем просевшем снегу: тут выплескивали кухонные ведра. Она подымала комья, очистки, ошметья, косточки, складывала в карман.

Многие девчонки искали в помойке съестное, под кроватями создавали запасы. Ели, жевали, глотали. Их кормили теперь досыта, но страх голода не утонул,

не проходил. Он был сильнее всех чувств и рассудка — изначальный инстинкт.

Нина услышала: кто-то пришел, стоит у нее за спиной. Подняла лицо от помойки; в отраженном снегами, полном, открытом солнечном свете голубизна ее лица казалась нанесенной кисточкой на фарфор. Нина зажмурилась, веки ее дрожали под тяжестью солнца. Она заслонила варежкой. Директор стоял рядом с ней, улыбался.

— Ну что, декабристка? На весну солнышко поворачивает... Перезимовали, можно считать. Значит, живые будем. Не пропадем. Полно тебе в помойке-то ковыряться. Слава богу, пока есть что жевать. Вон, гляди, веснушки у тебя на носу — счастливая будешь.

— А что,— сказала Нина,— счастье — это когда по килограмму хлеба в день будут давать?

— Куда ж тебе килограмм-то? Это и мужику здоровому не съесть, живот только вспучит...

— Я гляжу на вас,— сказала Нина,— вы как большой теплый дом. Вам на роду написано — быть счастливым. Когда вы приходите к нам в барак, девчонки тянутся к вам — погреться около вашего счастья. Вы как солнышко для них. А мне, как бы это сказать? Мне вас немножечко жалко...

Совсем стал скучный директор, поправил ремень с кобурой.

— Не обижайтесь, Степан Гаврилович,— заторопилась Нина.— Побудьте еще минутку. Я вам хочу все сказать... Мне нужно сказать... Я чувствую себя старой-старой. Вы для меня как ребенок. Когда я гляжу на вас, мне хочется улыбаться. Вот видите, я уже улыбаюсь...

— Чего ж век дуться-то, как мышь на крупу,— сказал Даргиничев.

— Я, знаете, маму когда отвозила на кладбище в Пискаревку, морозный день был, безветренный, ясный. Мама моя в Эрмитаже работала. Ее там лечили от дистрофии, десять дней она пролежала в стационаре, но все равно умерла. Я ее из эрмитажного подвала выволокла, на саночки положила и тихо-тихо по набережной иду. Снег громко так хрустит, даже страшно, хочется на цыпочки встать. И мыслей у меня тогда никаких не было. И горя не было. И даже голода я не чувствовала. Просто иду и иду. Вдруг вижу: детские санки

в снегу стоят, на санках корзиночка плетеная. В корзиночке большая кукла лежит, глаза у нее голубые, щечки румяные, реснички инеем опушились и волосы льняные. Я остановилась над ней, какая, думаю, красивая кукла. И вдруг до меня дошло, что это не кукла, а девочка. Я гляжу на нее, и не оторваться мне никак. Какое-то будто сияние на личике у нее, какое-то неземное блаженство, высшее счастье... И мне вдруг никуда не захотелось идти. Как в книгах пишут, что легкая смерть от мороза. Будто стала я засыпать. И увидела все вокруг себя каким-то новым зрением: весь белый, заснувший, прекрасный город, окна горят от солнца, и мосты над рекой будто в воздухе висят...

Даргиничев покачал головой:

— Надо же... Так ребенка и бросили?

— ...Тихо-тихо было кругом,— продолжала, торопилась Нина досказать до конца.— И будто нет никого на земле. И никто никогда не увидит такой красоты. Будто все для меня одной. Нереальный мир мне открылся. Можно в него войти — и наступит нестерпимое, никем не испытанное счастье. Наверное, я могла умереть. Как в старину писали, надо мной пролетел тихий ангел... Я закричала, кинулась бежать, упала в снег. Меня моряки подобрала. Их корабль на Неве стоял, в лед вмерзший. Они меня чаем поили, а я все плакала, плакала... Все глядела на них и трогала их руками... Вам надо уже идти, Степан Гаврилович? Побудьте еще немножко. Девчонкам я не могу этого рассказать. Они не хотят меня слушать. Они это знают. Они все уже тут, в этой жизни. Помаду достали, губы красят, завивку делают. Они молодые, а я как старуха древняя-древняя. Думаю, думаю, что это было со мной? Мама за день до смерти сказала мне, что отец мой погиб. Он с нами не жил. У меня был отчим, интеллигентный, добрый, мягкий человек. А папа служил на флоте. Он был военным врачом. Когда я маленькая была, мы с ним не встречались. А в последний год перед войной он стал к нам приходить. Он был красивый, высокий, в морской форме, с кортиком. Он меня взял с собой один раз в ресторан, в «Асторию». Мы пили шампанское и танцевали, и все думали, что мы влюбленная пара... Я третий курс закончила медицинского института... Мама мне рассказывала, как он погиб. Их везли на барже через Ладогу — Военно-морскую меди-

цинскую академию. Баржу разбило штормом. И еще бомбежка была. Они почти все там погибли...

— От же, ей-богу,— сказал Даргиничев,— чего навтормил этот Гитлер, собака.

— А отчим мой в Свердловск эвакуировался сразу же, как началась война: часть картин из Эрмитажа туда отправили. Мы с мамой тоже должны были уехать к нему. Я все лето и осень окопы рыла, потом была бойцом батальона МПВО, а потом уже трудно стало уехать. Отчим мой здорово знает искусство, у него целая коллекция есть репродукций с картин художников разных стран. Там есть такие картины, на них изображено то, чего не бывает в жизни. Ну, например, жених летит к своей невесте по воздуху. Жених как жених, в сюртуке, и невеста вполне реальная, а содержание картины нереальное. Мне было смешно глядеть на такие картины, а те, кто их нарисовал, представлялись полоумными людьми. Я точно знала, что люди ходят ногами по земле и поднимаются в воздух только на самолете... А однажды, когда я дежурила на крыше нашего института, во дворе разорвалась бомба. Она попала прямо в дворничиху. Я видела эту дворничиху за час до того, как объявили тревогу. На ней были резиновые боты. И дворничихина нога в резиновом боте прилетела ко мне на крышу. Я видела, как она летит по воздуху, вполне реальная нога в чулке и резиновом боте. Если бы такое нарисовал художник и мне показали до войны, я бы только пожалала плечами. Но это произошло в жизни, у меня на глазах. Я глядела на дворничихину ногу и думала: вдруг это я помешалась умом?

— Ты вот что, Нина Игнатьевна,— сказал Даргиничев,— давай-ка денька еще два полежи, покрепни, а потом приходи в контору, оформим тебя секретарем. На запони с тебя все равно проку мало. Тут хотя на людях будешь. От мыслей своих отвлекешься...

— Спасибо,— сказала Нина.— Я не умею в конторе. Я лучше в лес. Когда мы окопы под Лугой рыли, я за двоих работала. Вы не думайте, я могу, я все могу.

— Ну, гляди сама, декабристка. Гляди.

— Спасибо, Степан Гаврилович.— Нина Нечаева посмотрела в глаза директору, зажмурилась от солнца. Слышно было, как тенькают с застрехи капли. Растрескались, разбулькались воробьи.

В марте приехал на Вяльнигу Астахов, в новых беленьких бурках с длинными голенищами; посветлел управляющий, осанка к нему вернулась, не то что был в декабре. Вдвоем с Даргиничевым они ходили по заповни, облазали весь залом, осмотрели систему крепления на берегах. До Нерги доехали на машине, дальше в Островенское — в санях. Директорский конь был откормленный, резвый, Даргиничев выменял его в артиллерийском полку. Конь оступился на поперечной лежневке, ногу сломал, его списали на мясо. Коня звали Серый. Даргиничев сам его врачевал, разжился в селах пойменным клеверным сеном. Седло сыскалось на чердаке сплавконторы. Кусок от него отстригли на подметку. Конь оказался привычным к седлу и упряжи. Он вышел добрым, покладистым, неустанным товарищем для директора — транспортное средство, живая душа.

По берегам Вяльниги горели костры, высокий трескучий огонь подымался над сосновыми сучьями. Лица у девушек посмуглили на мартовском солнце, щеки налились. Ватные свои старческие капоры-шлемы они поменяли на ушанки. И никакой обреченности, смертной тоски, синевы не осталось на лицах девушек. Издали не узнать бы и девушек в них — трудармия рыла траншеи на берегу, долбила ломами вяльнижский лед. Из лесу везли на санях с подсанками бревна. Надсаживались лошади, возницы, с кудряшками изпод ушанок, понукали их грубыми мужицкими головами.

— Ну что же, Степа,— говорил Астахов Даргиничеву,— не больно высокая у них производительность, прямо скажем, но главное — движется дело.

— А я с них не спрашиваю пока что рекордов. Особо не подгоняю,— говорил Даргиничев.— Пуцай втягиваются. Есть которые уже норму дают. Тех я поощряю. Поллитрой устюженской премирую. На водку они у солдат консервы выменивают, сахар, хлеб. На сознательность давить не приходится, сознательности у них хоть отбавляй. Подкованный народец, идейный, питерский. Иной раз такого наговорят — голова кругом идет. Просто беда, ей-богу...

Ехали они в легких санках мартовским днем, наби-

той конной дорогой по берегу Вяльниги. Тихо было, повсюду набегано у зайцев, куниц и белок.

— Как все равно в двадцатые годы,— говорил Астахов.— Мотора нигде не слышать. К дедовским методам возвратились.

— А на дедах и держится все производство,— улыбался Даргиничев.— Деда у меня и за начальников лесопунктов поставлены, и за пилоправов отдуваются, и рыбку ловят, и главные они инструктора в моей бабской команде, и техника безопасности вся на них.

— Ты вот что, Степа,— учил Астахов,— ты давай-ка сейчас уже подбирай которые посмышленнее — чтобы можно на краны посадить. Курсы кранистов организуй. Серафима Максимовна тебе поможет. Весна будет дружной — через месяц подпереть тебя может. Я был в Ленинграде, там очень серьезно смотрят на это дело. Сонгостроевской верфи дано задание — баржи построить под вяльнижский лес. Вопрос по-партийному решается, принципиально. Коноплев, очевидно, придет к тебе в начале апреля уполномоченным обкома и Военного совета. Он человек беспощадный, ты это учти. К себе беспощадный в работе и никому спуска не даст. Мы с ним на Сонгострой ездили. Промерзли — страсть. Столовка там есть у них, и спирт нашелся. А я-то знаю, что он в рот не берет. Ну и мне неудобно вроде... Он говорит: «Ты давай, давай, согрейся...» Да... Как Гошка-то у тебя?

— А как собачонок,— сказал Даргиничев.— С утра за порог и болтается целый день на улице. Как собачонок. Меня когда не бывает по двое, по трое суток. Спасибо, Серафима Максимовна за ним приглядывает, да и ей-то тоже когда: целые дни около техники пропадает. Девчата в барак его к себе затащат, погрется около печки... Ладно еще, парень он у меня самостоятельный. Небалованный парень. А то бы просто беда.

### 3

На берегу Вяльниги девушки закладывали в траншею бревно-мертвяк. По-муравьиному, медленно, долго трудились.

— А ну-ка еще давай, девоньки,— покрикивал дед в малахае, в заплатах пегих валенках, в драной

овчинной шубе. Горел костер, пламя его обесцветилось в солнце. Внизу на белой равнине речного русла шевелилась муравьиная тропа.

— Переборы ставим по льду, — объяснял Даргиничев. — Два перебора будет: здесь, в Островенском, и под Нергой. Лед нельзя допустить на генеральную запонь по высокой воде. Задавит — пикнуть не успеем. Придержаться его переборами надо, пока на убыль пойдет. С тросами нас затирает.

— Троса мы тебе еще дадим, — обещал Астахов. — Я был в Ленинграде, специально по этому вопросу в обком обращался. Мне твердо пообещали. На «Севкабеле» есть троса и в Лесном порту. Все дело теперь в транспортировке. Привезти их не на чем. Нет машин. Но это дело тоже мыотрегулируем в ближайшее время. Троса, я сам видел, в прекрасном состоянии.

Они сошли на лед Вяльниги, поглядели, как девушка в больших рукавицах несильно, неточно долбит ломом лед. И лом-то ей не поднять.

— Ну-ка, дай, Нина Игнатьевна, — сказал Даргиничев. Он высоко поднял лом и жажнул по льду. Так и брызнуло зеленой крошкой.

Нина отерла рукавицей пот со лба, смотрела на директора. Зрачки ее глаз обведены были золотым ореолом. Она жмурилась, покачивалась.

— Вот управляющий треста к нам приехал, — сказал Даргиничев, — Иван Николаевич Астахов, проведать, как дело идет, какие у народа есть претензии. — Директор оглядывал Нину, обласкивал ее улыбкой.

Ему нравилась в женщинах изобильность, телесная мощь. И жена его Алевтина Петровна была крутобедра, обильна грудью, в кости широка. Приятели его, сплавщики на Вяльнижском рейде, шутили над ним после свадьбы: «Ты, Степа, с краю ложись. К стенке ляжешь — утром не перебраться будет, на смену опоздаешь».

Ядреных девок Степа любил. Бывало, в Юрзовке косить ходили, прокосы у девок бывали не уже, чем у парней. И копны они поднимали на вилах не меньше мужичьих. И на сплаве работали багор в багор. Женская красота измерялась той самой меркой, что у парней рабочая хватка. А тощеньких, бледных и не считали за баб.

К весне отъелось Степино войско. Девки стали как

девки. Даже под ватными фуфайками и штанами проступили, стали заметны вновь обретенные недостатки. Все возвратилось, ожило, налилось,росло. Восемьсот девок — и он командир, он пастырь, хозяин. И он же евнух, он страж...

Война поведала о себе канонадой, ночными сполохами взрывов, ракет. Война была рядом и убивала кого-то, умерщвляла живое. Но тут как будто объявили заказник, очертили охранный круг от войны. Тут начиналась весна...

Степа Даргиничев ночами ложился на несогретую койку и думал о Нине Нечаевой. Нина была непохожа на войско, непонятна ему, тревожила своей непонятностью. Хотелось еще повидать, приблизиться к ней, что-то услышать, сказать. «От же черт,— думал Степа Даргиничев,— ведь нету в ней ничего. И прикоснуться-то страшно. Как корюшка тощая. От же черт...»

4

— ...Нет претензий,— сказала Нина Нечаева.— Сыты, обуты, одеты. Вот теперь и весна... В декабре и не верилось, что это когда-нибудь будет. А теперь вспоминаешь, и не верится, что была осень, зима, блокада. Сверхъестественно все, как во сне... И радоваться еще рано. Просто неприлично радоваться, и не сладить с собой, такая радость вдруг охватывает... Смеяться хочется и стихами говорить... Знаете, в Ленинграде в самые жуткие дни стихи по радио читали. И музыка была. Без этого людям нельзя. Как без хлеба... «Дух пряный марта был в лунном круге, под талым снегом хрустел песок. Мой город истаял в мокрой вьюге, рыдал, влюбленный, у чьих-то ног. Ты прижималась все суеверней, и мне казалось — сквозь храп коня,— венгерский танец в небесной черни звенит и плачет, дразня меня. А шалый ветер, носясь над далью,— хотел он выжечь душу мне, в лицо швыряя твоей вуалью и запевая о старине...»

— Она у нас особенная, Нина Игнатьевна,— сказал Даргиничев, словно чем-то гордясь.— У нее прадед был декабрист.

— Ну что же,— сказал Астахов,— давайте организуйте самодеятельность. Сейчас у нас время в обрез. А вот удержим запонь, тогда полегче станет. И день при-



будет. Стенгазету можете сварганить. Вообще, Степан Гаврилович, что-то надо подумать насчет политико-воспитательной работы. А то нам в обкоме дадут ума...

Астахов двинулся вдоль цепочки работающих на реке девушек. Даргиничев улыбнулся Нине, пошел за управляющим.

— Да-аа, ведь мотаемся целые сутки, — сказал он, — как волки. Тут тебе и политика, и воспитание.

— Гляди, — сказал Астахов. — Народ у тебя ой-ёй... Греха с ними не оберешься.

Девушки втыкали в снег ломы и лопаты, встречали начальство бойкими голосами. Но попадались среди них и понурые, квелые, будто старухи, не прекращали работу, не подымали лица.

— Ё нам приехал управляющий трестом товарищ Астахов, — громко сообщал Даргиничев. — Какие будут претензии, пожелания — выкладываете начистоту...

— Почту редко приносят.

— Валенки бы поменьше, а то все сорок третий размер...

— Радио бы прозвести... Патефон бы с пластинками...

— Что нам все водку да водку дают, нам бы шампанского...

— Картошечки бы, хоть попробовать, какая она, а то и вкус забыли...

— Утесов бы пусть к нам приехал... Клавдия Шульженко...

Скрипучий, будто заржавелый голосок хотя был тонок, но все слышали его:

— Управляющий, а управляющий, ты нам бы достал где по мужику. Хотя по одному на бригаду. Мы ба-абы...

## 5

Ночью они сидели вдвоем в конторе, управляющий и директор. Попыхивала лампа с трехлинейным стеклом. Хлеб лежал на столе, сковородка жареной рыбы. Окошко закутали одеялом. Даргиничев шевелил кочергой уголья в жарко рдевшем зеве стопившейся печки. Тепло и уютно было им после целого дня хождения по снегам. Наконец-то остались они вдвоем, ровесники,

близкие люди. И было что выпить, чем закусить. Одежда на окошке сообщала кабинету директора Вальнической сплавконторы домашность, уединенность.

Это и нужно им было, они отдыхали теперь. Их жизнь проходила вся при народе, редко, когда они оставались наедине с самими собой. В их жизни не было места для музыки, книг, для мечтаний. Они были твердые люди, как топорщица, и уставали от своей твердости. Сидели, вытянув ноги к огню, распустив пояса, расстегнув ворота. Женщин не было с ними. И прежде, и до войны, они отдыхали без женщин, в избранном, узком, мужицком кругу, за столом, за беседой. Не то чтобы они чурались женщин или обуздывали свою плоть. Вовсе нет. Но мужская беседа, как тайная вечеря, была им необходима по временам.

— Да-а,— сказал Астахов,— девок у тебя — пруд пруди. И такие есть, я те дам... Раскормил ты их — прямо скажем. А ведь в могиле все они стояли одной ногой. Должны быть тебе благодарны. Возможности у тебя — как граф можешь устроиться...

— Только допусти, отбою не будет,— сказал Даргиничев.— Сейчас-то хоть пока мороз им двери подпирает в бараках, а как потеплеет, просто не знаю, что и делать. Девушки есть серьезные. Воспитанные девушки. А есть такие — прости господи с Лиговки. Немного, но есть. Мутят воду. Ужас. Идешь к ним иной раз в барак — все равно как в атаку. Как в атаку идешь...

— Ну, эт ты брось, Степа,— сказал Астахов. Он несколько рассолодел от водки, от печного жара, глаза его замутнились, он улыбался от беспричинной телесной радости, от хмеля, от вкусной еды.— Это ты брось, понимаете... Так я тебе и поверил. Наш брат до этого дела — ой-ей! Я гляжу, кое-кто из тыловых начальников в Карголье таких себе краль завели... Война, Степа, спишет...

Даргиничев слушал с вниманием, с интересом. Нижняя губа его оттопырилась. Морщинки у глаз выдавали усилие мысли.

— Завели?.. От же, ей-богу... А семьи у них эвакуированные?

— Семьи у всех в глубоком тылу,— сказал Астахов.— У нас тут прифронтовая зона, а фактически шансы те же, что и на фронте, на тот свет отправиться. Теперь-то стабилизировалось положение, а в ноябре, ты

помнишь, это ужас что было. Чудом выкарабкались. Помню, к Карголью немцы подходят, связи нет, толком никто ничего не знает. Положение такое сложилось — ну просто кошмар... Да. В райком я вечером прихожу, там бюро заседает. Мне говорят готовить трест к эвакуации. А распоряжения эвакуироваться не дают. Неизвестно еще, как повернется. Всю ночь подводы я собирал, машин у нас не было. Должен сказать, исключительно рабстали люди. Поражаешься, откуда силы брались. Нервное напряжение колоссальное было... Да.

Астахов рассказывал, Даргиничев слушал его, цокал языком и кивал. В рассказе управляющего не было ничего такого, чего бы не знал Степан Даргиничев. Но слушал он почтительно, дожидался своей очереди...

— ...Черт его знает, Степа,— говорил Астахов,— ведь молодые мы с тобой мужики. Ну ладно бы на фронте, война есть война. А так посмотришь, в нашем с тобой положении все худо-бедно обзаводятся домашними очагами. Где-то ведь надо горячего похлевать, и постираться, и душу отвести. Трудно нашему брату без этого. Черт знает... Я рано женился, холостяцкой жизни, считай, и не попробовал. Работаем мы с тобой вроде как с нас требует военное время, а тылу у нас никакого нет. И это отражается на работе, ты учти...— Недоумение, жалоба звучали теперь в астаховском голосе. Будто спрашивал он совета у Степы, будто нуждался в каком-то его разрешающем слове. Астахов выпил, сморщился весь, когда расправил лицо, то было оно другое, чем прежде. Выпятился мясистый астаховский нос, покатыми сделались брови. Помягчело, оплыло лицо.— Я вот что, Степа,— сказал Астахов.— Мне завтра на станции Вяльнига надо быть, одну мою дальнюю родственницу встретить, с кобонским эшелоном она едет. Начальник эвакуопункта, приятель мой, помог ей через озера переправиться. Я его попросил...

Даргиничев остро, прицельно глядел в лицо Астахова. Будто стал он теперь постарше годами, чином, будто сравнился с управляющим или даже чуток поднялся повыше его.

— Машину раскочегарим,— сказал Даргиничев.— Чурка засушена у нас... Как порох... Антонина Никитична пишет вам, Иван Николаевич?

— Пишет. Все вроде нормально у них. Восемьсот рублей им там платят из моей зарплаты ежемесячно...

— Да что теперь восемьсот рублей, — махнул рукой Даргиничев.

— Посылаю им кое-что съестного, но главным образом табачку, «дукату». Там за пачку пуд картошки дают... Ну что будешь делать, Степа? Война. Антонина Никитична работает там, парень в школу ходит. Пишут — вроде нормально. Жить можно. Хоть немец туда не долетает — и то ладно.

— А как я Антонину Никитичну из города вывозил — это с ума сойти, — сказал Даргиничев. — Я последний, наверно, посуху и проехал, за мной в аккурат и замкнулось колечко...

— Тебе одному и доверил я ее, с другим бы ни с кем не отпустил, — сказал Астахов. — Ты известный орелка...

Даргиничев засмеялся, покрутил головой:

— Я еду, сижу за баранкой, Любань проехали, на КПД документы проверили. «Проедем, — спрашиваю, — на Чудово?» — «Проедете». Едем. Я смотрю, навстречу раненые идут. Лошади валяются убитые. Лейтенант выскакивает на шоссе, тоже раненный, весь в крови, пистолетом тычет в меня. «Застрелю, — кричит, — ты что, к немцу бежишь? Тут немец в ста метрах». Я кое-как его успокоил, развернулся и обратно. Шофер мой Вася сидит рядом со мной, душа в пятках, Антонина Никитична, в кузове, заместителей ваших жены. Бабы... Кошмар. Я вправо вывернул — да на Шлиссельбургский тракт. Добрался до Волхова, там на пароме уже двое суток машины стоят. А у меня две четверти водки было. Я пошел по бережку — думаю, надо соображать. Соображать надо. Вижу, баркас полузатонувший, но на плаву еще держится. У рыбоприемного причала стоит. Я сторожа отыскал, деда. «Давай, — говорю, — дед, помост изладим, на баркасе и переедем». — «Нет, — говорит, — я на себя не возьму такое. Видишь, машины по двое суток стоят». Я ему водки бутылку. Он уже по-другому глядит. «Баркас-то, — говорит, — дырявый!». Я говорю: «Ничего, я водолей опытный. Буду воду веслом вычерпывать». — «Ну ладно, — говорит, — только ночью, чтоб не видали». Взялись мы за топеры, помост наладили. Как стемнело, я машину

согнал, поставил на баркасе. Поплыли. За милую душу. К Сонге приехали, там тоже очередь на паром. Глаз уже у меня наметанный, я сразу плот присмотрел. Подшил к нему еще два бревна. И переплыли. Переплыть — переплыли, а чурка кончилась. Что ты будешь делать? Вот в деревне мы давай жерди с огорода таскать. Напилили. Заправились. Поехали дальше.

— Орел ты, Степа, орелка, — сказал Астахов.

— Давайте, Иван Николаевич, за Антонину Никитичну выпьем. Как бы там ни было, а все же нам легче, чем им. Мы тут закрутимся, о себе-то помним еще, а об них и запомнить можем. Они об нас страдают всегда. Выходных не положено. Об нас и об детях. О себе позабудут, а об нас никогда.

— И за Алевтину Петровну. Давай поехали, — поднял кружку Астахов. — Я, знаешь, тут как-то летел на «У-2». Метель поднялась страшная. Летчик сбился с маршрута, потерял ориентацию. Кабина открытая, козырек низенький, я наполовину торчу над ним, спрятаться некуда. Кружимся над лесами. Стемнело. Нигде прогалины не видать. Летчик обернулся ко мне, кричит, что бензин кончается. Ну, все, одним словом. Помирать надо. Только чудо могло нас спасти. И знаешь, как-то даже не страшно. Война есть война. Меня не будет, найдется другой. Дело не станет. Только бы, думаю, ухнуть разом — и точка... И вдруг, ну вот как живую, понимаешь, жену увидел. Летим, швыряет нас в потемках, ни зги, а ее лицо вижу. Просто черт его знает... Пока о себе думал, не страшно было, а тут за нее вдруг страшно стало. Как они без меня, одни, в глухомани? Нет, думаю, черт его знает, надо бы выкрутиться. Летчик как раз дорогу заметил внизу, сориентировался. Дотянули мы, сели благополучно...

— Да ну их, — сказал Даргиничев, — этих летунов. Я вон на Сером своем куда хошь доеду, быстрее, чем на самолете. Самый надежный транспорт. Не собьется с пути... А родственница-то ваша, Иван Николаевич, пожилая или не очень?

— Не очень, — сказал Астахов, — подходящего возраста, в самый раз. Вот вроде рыженькой твоей артистки, что стишок нам читала на Вьялькиге.

Так они говорили, окошко было у них закутано одеялом.

Подпирала весна, подмывала, облизывала берега. И хотелось бы Степе Даргиничеву остудить ее, удержать. Пускай бы сочились снега шепотливыми ручьями под вьяльнижский лед, только лед бы стоял. Только дождь бы не хлынул и солнце не торопилось бы печь. Пускай бы весна припоздала...

Но весна разгорелась, как пал на бору, подступила неурочной грозной напастью. Степа бегал по берегу Вяльниги, времени не осталось у него шагом ходить. По четыре лежня намстано было на каждый мертвяк, в мертвяке четыре ствола сосновых. Каждый мертвяк в траншее опущен, по три траншеи на берегу. Степа еще по два лежня добавил. Засорами лес закрепили, перетяги продели сквозь пыж. Троса вволю прислал Астахов, фабричного, целого троса.

Сам Степа таскал на плече стальные концы, наматывал петли. Секретарь обкома Коноплев ему помогал, предрика Гатов, секретарь райкома Журавлев, Петр Иванович Устриков, заместитель. У всех были руки в кровк.

Девчата к полдню скидывали ватники, подставляли солнцу бумажную, бледную свою кожу. Девчата и есть девчата. Их радовала весна, немного они очумели. Солнце высушило беломошные вьяльнижские леса. Брусника ушла необобранной в зиму, теперь девчата щипали ее по кочкам, причмокивали от немислимой сладости, позабывали про запонь и про директорский гнев.

Весна подпирала, Даргиничев слушал ее, как близящееся вражье войско. Ночами он выходил на берег, ждал первого выстрела, залпа. Река держалась, исток ее — озеро Вяльниго — был нерушимо укутан сугробами; так и останется он, как ящерицын хвост; река оторвется, уйдет. Лед весь подернуло волглгой недужной сизостью, синевой. Ночами в береговых проталинах струились лунные тропы.

Только в Степином детстве так пели тетерева, как этой весной — на клюквенных болотах под деревней Юрзовкой. В апреле сорок второго года чуть свет строчили над Вяльнигой косачи, чуфыкали и шипели. С косачами возвращались в бараки девчата. Им не

подняться было к шести на работу. А то и вовсе не возвращались. Что будешь делать? Спешали они пожить после смертной зимы. Солдаты гуртились вокруг поселка. Никогда после этой весны не слышивал Степа Даргиничев такого гулкого тетеревиного токовища. Только в детстве, в деревне Юрзовке.

Однажды Нина Нечаева сказала ему:

— Ничего не поделаеть, Степан Гаврилович, — любовь... Любовь сильнее смерти...

— Что, и ты туда же? — ревниво беспокоился Даргиничев.

— Нет, я не туда, я в другую сторону...

Река стояла, но покряхтывали в траншеях мертвяки, тросы рвали сосновое тело. Лед заерзал уже, шевельнулся. Степа не уходил теперь с берега, лицо ему обожгло, как кирпич, спалило солнышком брови, голос осян, задохнулся.

Иные девчата прогуливали. Директор стыдил их, лишал положенной водки. Они глядели ему в лицо за туманенно и бесстрашно.

Как-то утром к началу работы вовсе мало явилось на берег девчат. Даргиничев кликнул Петра Иваныча:

— Ну-ка, пойдем по баракам, подыдем эту капеллу.

Он широко пошел, не глядя под ноги, в высоких кожаных сапогах, в распахнутом ватнике. Посеменял за ним его заместитель.

Тихо, сонно было в поселке, над трубами ни дымка. Даргиничев взбежал на крылечко первого в ряду барака. Дохнуло на него последками вчерашнего тепла, еды, устюженской водкой, хромовыми, с ваксой чищенными сапогами пахло в женской этой комнате. Тут было четыре койки и стол посередине. Восемь голов поднялось к вошедшему, по паре над каждой подушкой. Портупеи брошены были куда попало и пистолеты ТТ...

— Ну, молодцы в постелях-то воевать, — сказал Даргиничев, — дай боже орлы... — Он быстро вдвинулся в глубь комнаты, огреб вокруг себя руками, обобрал портупеи с пистолетами. Четверо лейтенантов стукнули об пол босыми пятками, но не годились они для боя, для обороны. Совсем никуда они были без гимнастеров и галифе. Неодетые люди беспомощны против одетых.

Даргиничев отдал трофеи Петру Иванычу:

— В контору снеси. Пуцай придут боевые командиры. Там разбираться будем, как они заслужили оружие носить.

Петр Иванович скоком помчался подале от греха. Лейтенанты спешили надеть сапоги, кое-как намотали портянки. Даргиничев дожидался в дверях, без улыбки стоял, серьезный.

— И не совестно вам форму порочить советского командира?

Тесным строем пошли на директора лейтенанты, боевым кулаком.

— Ты кто такой здесь нашелся? Барсук тыловой... Отойди...

Даргиничев топнул ногой. Губы его выворотились, лиловые стали.

— Я представитель Военного совета фронта, выполняю особое задание. А вы срываете... Все пойдете под трибунал, как разлагающие дисциплину.

— Дире-е-ктор, а дире-ектор! — Из угла с крайней койки донесся заржавленный тоненький голосок. — Ты ребятам пу-ушки отдай. Их без пушек посододют. Ты лучше нас посади-и... Это мы виноваты. Мы ба-абы...

— Бардак заведете в прифронтовой полосе, — сказал Даргиничев, — найдем и на вас управу. Не будем чикаться. За милую душу отправим, где похолоднее. Чтоб поостыли... По законам военного времени. Ну-ка марш на работу!

Он хлопнул дверью. Лейтенанты вышли за ним. Робки, грустны были они в неподпоясанных гимнастерках.

— В контору, в контору, — сказал Даргиничев. — Там разберемся. В постели-то с бабой вы все генералы. А как до дела дойдет — и в кусты. И в кусты... — Будто что прояснело в директорском лице, надежда какая-то проблеснула.

Лейтенанты мучились, маялись...

— Мы понимаем, товарищ представитель Военного совета... Ну, черт попутал... Сами знаете, выпили... не губите нам жизнь.

— Посмотрим, посмотрим, — сказал Даргиничев. — Вот побудку произведу своему войску, в конторе разберемся, какая-токая ваша жизнь.



Он отворял уже двери другого барака. Лейтенанты долго еще стояли, пока нашли в себе силу взойти на крылечко в барак — к своим кралям, зазнобам.

2

Виктор Александрович Коноплев ростом был невелик, спрятанное под синим френчем тело его ничем не заявляло о себе, вся суть выражалась в лице. Суть состояла в непрестанном усилии, в твердости взгляда и скул. Под усталой обтянувшейся кожей, подобно шатунному механизму, двигались мускулы, желваки. Знаки возраста, слабостей и увлечений не обозначились на лице Коноплева. Он был дальноворок, за бумагами в кабинете вооружался счками. Носил короткую щетку усов. Держался Виктор Александрович по-военному прямо, хотя военным так и не стал. Военной жилки не обнаружилось в нем, не только таланта, совсем ничего. В июле сорок первого года его назначили членом Военного совета. Но Коноплев стушевался на генеральской должности, не проявил себя. Солдат бы вышел из него нестигаемый, стойкий, работу войны он исполнял бы в окопе, как истый мастеровой. Но генерал из Коноплева не получился.

В двадцатые годы Коноплев прибыл с артелью плотников из Ярославской губернии строить на Волхове ГЭС. Образование его было два класса. Ударником стройки пошел Коноплев на рабфак подучиться. Потом в институт. Познанья он прочно складывал в голове, навсегда, как бревна в срубе. Крестьянская основательность соединилась в нем с рабочим сознанием, с пролетарской готовностью идти до конца. В институте он был комсоргом, парторгом, но речистым так и не стал, ковырял по-мужицки, по-ярославски.

В обкоме Коноплев ведал лесной промышленностью, торфом и транспортом. Строили в области мало, перед войной транспорт нуждался не только в угле, бензине, но также в сене, в овсе. Торфу хватало в болотах, его отправляли в топки электростанций. И леса хватало. Жизнь Коноплева делилась на лес и на торф.

Торфоразработки порушила война. Фронт зарылся в торфяные болота. Коноплев отвечал теперь за лесные дела. Главной его заботой стала запонь на Вяльнице —

триста тысяч кубометров срубленного, стрелеванного, сплавленного довоенного леса.

Ему оборудовали кабинет в конторе Сизоженского сплава участка, поставили аппарат ВЧ и койку. Даже Гошка, директорский сын, живший в конторе, как в отчем доме, не решался заглядывать в кабинет Коноплева. Секретарь обкома ходил в столовую вместе с девочками, вечерами пил чай. Садился к его столу районные власти, Даргиничев, Петр Иванович. Вдруг трещал аппарат. Коноплев докладывал Военному совету обстановку, и все глядели ему в лицо, как вызванные к командующему офицеры, когда командующий разговаривает по прямому проводу со Ставкой. В назначенное время звонил Астахов, докладывал Коноплеву обстановку в масштабе треста. Даргиничев улыбался:

— Ну, им-то дивья. Им бы наши заботы.

— Да уж конечно, — поддакивал Гатов, — кисанькина у них жизнь.

Петр Иванович посасывал осколочек сахару, его хватало ему на все чаепитие. Не думал он, не гадал, что доведется ему посидеть так близко к такому большому начальству... Начальство чаёк любило, а водки ни-ни. Все прониклось на Вяльниге строгостью, дисциплиной. Никакой личной жизни будто и не бывало ни у кого. Апрельское солнце напекло всем лица, но лицо Коноплева загару не поддавалось. Даргиничев не заговаривал с Коноплевым о своем, о семейном. Да и времени не осталось поговорить, где-то в устье взломало, подвинуло лед, загрохотало вверх по Вяльниге, как тяжелый состав буферами залязгал. Лежни поднялись от земли, в шесть струнок запели. И раскалились, дымом обволоклись. Горелым запахло, гибелью, взрывом. Будто не тросы — бикфордовы шнуры зажжены.

— Поехало, — сказал Даргиничев и сдвинул шапку себе на темя, будто лоб собрался перекрестить. Он истоиво выругался, как солдат, шагнувший за бруствер, вниз побежал по откосу...

На самой высокой, птичьей, чайчьей ноте Коноплев кричал в аппарат:

— Троса горят! Ты что ж, понимаешь, Астахов, ты какие прислал троса? Это знаешь чем пахнет?

Что-то ему отвечал Астахов, но дребезжал аппарат, не сразу пробрался астаховский странно медленный голос, снизу откуда-то, от земли:

— Это ничего, Виктор Александрович, это нормально. В тросах пенька просмоленная заложена для смазки. Это смола дымит. Это нормально... Ну, а как вообще-то положение? Тронулось?

— Ладно,— сказал Коноплев нотой ниже.— Через час позвони. Поехало.

### 3

Перебор под Островенским — вспомогательная запонь — держался шестнадцать часов. Тридцать три километра оставалось от него до генеральной запони в Сигожно и триста — до истока. Первой подвижкой вспучило, подняло перебор, но не сорвало. Легкий лед, взорванный накануне толлом, нырнул под него, затем надвинулись главные льды. Прибывала вода, ускорялось течение. Степино войско, кургузые ватные люди, девчата таскали на перебор бревна, валили, чтоб утопить его, но силы им не хватало, весу. Гомон тонких голосов покрывало ревущей рекой. Дымились тросы. Льдины выворачивали из воды свои зеленые днища. Все выше вздымало легкий, в один рядок, перебор. Все больше на нем громоздилось лесу. Запонь стонала, ее выламывало из реки.

— Пуцай, пуцай его перемелет,— покрикивал Степа Даргиничев. Он мокрый был, окатило его, и все его войско промокло, все кричали бог знает какие слова, шпыняли баграми ледовую гору. После стало известно, что держался островенский перебор шестнадцать часов. Никто не заметил этого времени. Стояла запонь, и время тоже стояло. Вальнига надвое переломилась, ледяным пыжом запрудило реку, верхний бьеф поднялся, вода хлестала, валилась, как на плотине Волховской ГЭС. Большой костер разложили на берегу, выскакивали к нему посушиться. Когда стемнело, Даргиничев отдал команду уйти всем с реки. Стояли толпой у костра. Перебор держался, хотя никто ему теперь не подсоблял. Ниже перебора река чернела, взблескивала в костерном свете, текла, свободная от льда...

Лопнул островенский перебор, как из пушки выстрелили, рядом, над самым ухом. Река распахнулась, и льдины кинулись вниз. Люди побежали за льдинами; от костра побежали гурьбой, потом растянулись по берегу...

Даргиничев в будке остался у телефона. Петр Иванович сообщал с генеральной заповни, что все тихо пока. Взорванный верховой лед унесло, очистило реку.

— ...Вечером с наметкой ходил дак...— сообщал Петр Иванович,— двух судачков вытащил и налима.

— Ты погоди, погоди,— останавливал заместителя Даргиничев.— Уровень воды насколько повысился?.. Ай-я-яй... Островенскую сорвало, через час на Нергу принесет... Вода ужас как подымается... Ужас. Не знаю, Петр Иванович. Льды под метр толщиной... Ты всех своих девок на берегу держи, ни одну не отпускай с глаз долой...

— Не уйдут,— заверял Петр Иванович.— Это и разговору быть не может. Как на привязи все, в заповнь вцепивши... Азартные девки.

Коноплев звонил с нергинского перебора, спрашивал обстановку.

— Сорвало,— отвечал Даргиничев. Радость была в его голосе, азарт отшумевшего боя. Будто выигран бой.— Сорвало, Виктор Александрович. Понесло!

— Народ посылай на Нергу,— требовал Коноплев.— Наличными силами нам тут не обойтись, как лед подойдет. Попервое льда народу надо успеть. С полдня на метр поднялась... Того и гляди мертвяки зальет... Давай, Даргиничев, торопи людей.

— А он уже сам бежит, народ-то. Наперегонки со льдинами бегут, шустрый народец... Я один и остался. Как шкипер на потонувшей барже. Как шкипер...

Степа еще постоял на берегу; вся живая, шуршала, скреблась, торопилась, шепталась, плескалась внизу река Вальнига. Степа держал ее сколько мог, надсаживался, плечом подпирал. Прорвало запруду, и внутри у Степы тоже что-то прорвалось, свободно стало ему, легко. «Теперь была не была,— думал Даргиничев.— Теперь уж как вывезет. Пан или пропал». Он отвязал от сосны Серого, сел в седло и сразу догнал замыкающего ватного солдата, окликнул его:

— Чего отстаешь, служивый, от главных сил отрываешься? Притомился?

Солдатик поднял лицо.

— Нет, я вас дожидалась, Степан Гаврилович.

— О, да это никак декабристка? Нина Игнатьевна? — Даргиничев спрыгнул с коня. Совсем он еще молодой был, директор.

— Это я,— сказала Нина.— Я на вас смотрела сегодня, как вы плотину держали, и подумала, что потом, когда я ватник сниму, ну, когда опять девушкой стану, мне трудно будет с парнями... В институте у нас было просто: все парни как парни, а теперь я знаю, что еще другие бывают. Могут целую реку остановить и держать под уздцы, как коня.

— Нергинский перебор не удержим, пока вода убывать начнет, тогда пиши пропало,— сказал Даргиничев. Сердце бухало в нем, ватник он ни разу не застегнул в этот день. Степа кинул повод и обнял Нину, поднял ее, глядел ей в лицо. Серый отвернулся, фыркнул.

...Ночь теплой была, туманной, бессонной, все двигалось в ней, звучало; помирали снега, торопились ручьи. Никаких слов не сказал Степа Даргиничев Нине, принес ее на самый берег, поставил на снег, поцеловал. И смутился.

— Спешить надо,— сказал,— раньше льдов успеть на Нергу, а то там такого наворочают, не расхлебашь.— Серьезный сделался Степа. Вскочил на коня, поскакал.

Вскоре догнал свое войско, поехал шагом. Девчата все потянулись к нему, трогали коня за бока и за гриву. Степа громко шутил, угощал папиросами. Голоса далеко разносились.

...Нергинский перебор продержался сутки. Может, он так и остался бы стоять. Вода поднялась на пять метров, шла вровень с берегами, льдины грызли подножья сосен. Но перехлынуть верхнюю кромку не хватало силы воде. Несткуда ей было больше взяться. Нергинский перебор стоял, гудели лежни. Будто силы сравнялись, и время, поднявшее реку, осадит ее, поможет. Только выдержать время...

Вода не подымалась больше, но и не падала. Близко стояла вода к поселку Нерга. Не стояла она — кидалась, выпихивала льдины на бровку берега...

— Еще продержится час и пойдет на убыль,— обещался Даргиничев.— Выдохлась. Амба. Часок бы еще...

Но час проходил, а Вяльнига царапала льдами о сосны.

— Пуцай,— говорил Даргиничев,— чем дольше высокая вода держится, тем дружнее падать начнет. Нам же на пользу. Пуцай.

Три часа бежала вода на высшей своей отметке, все глядели на воду и проглядели, когда началось, откуда нагнало тучу. Дождь хлынул, и закипела река, выплеснулась через край, заструилась меж сосен. Костер зашипел и погас. Народ побежал где повыше.

Даргиничев в будке у телефона стоял. Все стенки треснули разом, осыпались сколоченные ржавыми гвоздями горбыли. Мертвяк вывернуло из траншеи, поволокло. Даргиничев шлепал за ним по воде, пытался заклинить его в соснах. Увидел рядом с собой Коноплева, обругал его, замахнулся:

— Уйди! Убьет!

Мертвяк подняло на дыбки, Степа едва увернулся. Пошел по колена в воде к поселку. Нечаянная его подружка Нина оказалась с ним рядом. Вынес ее на сухое место и не взглянул. Сорвало нергинскую запонь, и не упала вода, и дождь хлестал, как пули сыпало с неба.

#### 4

Лед приплавился сверху, нажал, и зашевелились чурки, стали выпрастывать головы, вставать на дыбки. Так и двинулись стоймя на запонь, влезали друг дружке на плечи, сдирали шкуру с боков... Генеральная запонь выгнулась в дугу, натянулась, последняя это была преграда. За нею Вяльнига вольно катила до самого озера.

Генеральная запонь, конечно, была прочнее переборов в Островенском и Нерге. Трехрядные плитки, по восемь бревен в ряду, на железных штырях. Шесть лежней продели сквозь запонь. Двести девушек поставил Даргиничев на генеральную запонь. Но лес приподнял ее. Утопить не хватало весу. Лес поднырнул, прорвался, поплыл в озеро.

Секретарь райкома Журавлев в это время сидел в своем кабинете у телефона, в поселке Вяльнига, неподалеку от устья. Он увидел в окошко плывущий сигоженский лес... Журавлев названивал в Сигожно, но никто не ответил ему. Тогда он вызвал Астахова...

— Прорвало, Иван Николаевич, — сообщил Журавлев слезным, пропащим голосом. — Совсем худо дело. Вот тут у меня под окошком несет. И конца не видать... До Сигожно не дозвониться. Видимо, все на запони.

— Ты погоди паниковать, — прогудел Астахов, — может, часть какая-то поднырнула... Сотня полен...

— Да где часть, вон всю реку забило.

— А, черт... — сорвался астаховский голос. — Как же вы так допустили, ей-богу? Девушка, переключите меня на Сигожно. Хорошенько им позвоните. Алё!

...Даргиничев делал, что нужно было делать ему. Он стаскивал бревна на запонь, топил, загружал и пятками чуял, как трутся о запонь идущие низом чурки. Степа думал о пушке своей, о нагане. Он оставил его в кабинете, в столе. Степа думал, что если он не удержит сигоженский лес, то жить ему невозможно. Некуда ему станет жить, если он так опростоволосится перед народом. Лес уходил, и Степа казнил себя: «Пулю в лоб — и амба. Так и так амба...»

Засоры лопались, как шнурки. Даргиничев строил всю зиму свою оборону. Все крепко построил, не сорвалось бы. Только дождя не учел.

— Степан Гаврилович! — Это Устриков звал, Петр Иваныч. Он бежал по запони и кричал: — Степан Гаврилович! Вас Астахов спрашивает к телефону.

Даргиничев махнул рукой:

— Какие разговоры... Не до разговоров нам сейчас, скажи. Все, кто ни есть живые, на запони топчесь...

— Сказали, чтоб хоть из-под воды достать... Водичка упала, Степан Гаврилович. Уходит почем зря. На полметра уже ушоццы.

— Да ну? — Даргиничев поднял лицо и понял вдруг, что нету дождя, весь вышел.

Он поднялся на берег, на кряж; устойчивость земной тверди отдалась в нем внезапной радостью. Обернулся к реке: запонь провисла кошелем; чурки выныривали из-под нее; на чистой большой воде они казались сенинками, щепками. Выше запони дыбился лес — до самой излуки; запыжил наглухо реку, не шеллся.

— Амба, — сказал Даргиничев. — Теперь его стиснет — сам себя держать будет. Никуда не денется... — Он сдвинул шапку на темя, отер платком лоб. — Пойти Астахова успокоить, — сказал, — а то в штаны наклавши сидит. С него первого спрос, если что... — Поглоубел Степин глаз, веселый, дерзостный стал. Разъярило наконец.

— Ну как? — дознавался Астахов в тревоге, в тоске.

— А так приперло, Иван Николаевич, — весело ответил ему Степа, — что хоть с обрыва вниз головой...

— Ты брось эти штучки, — задыхался во гневе астаховский голос. — Про... запонь? Журавлев звонил, под окошком у него лес плывет. Ты понимаешь, чем это пахнет?..

— У страха глаза-то по тарелке, — весело говорил Даргиничев. — Кубов двести ушло, не больше. Вода высоко вздынулась, Иван Николаевич. Старики не помнят такого паводка. Срочные меры мы приняли. Зубами держим. Больше нечем держать. Велика Россия, а отступать некуда было. Как панфиловцы под Москвой. Некуда отступать. Не пустили. Теперь на убыль пошла...

— Так что же, — сомневался и верил уже Астахов, — выходит, Журавлев зря панику развел?

— Двести всего кубов уплыло. Пыж держится, не шелохнется...

— Двести кубов — это терпимо, это куда ни шло... Ты вот что, Степа, учти: лес целый год в воде проболтался, тонуть начнет почем зря. Баржи к тебе из Сонгостроя по каналу идут. Все наличные силы ставь на погрузку, не то утопим древесину...

— Две недели народ не спавши, — сказал Даргиничев. — По уши мокрые все. Как тритоны в воде буруздимся. Как тритоны. Баню стопим сегодня, пушай отдохнет народ. Пушай. Заслужил.

— Ты вот что, Степа, — сказал Астахов, — списки подготовь особо отличившихся. С Коноплевым согласуешь, и мне пошлите. Указ готовят по нашему наркомату. Награждать будут. А банями не очень увлекайся. Где баня, знаете ли, там еще что-нибудь. Народец у тебя еще тот... Смотри, Степа!

Астахов подышал в трубку, перестраивал свой голос на другой регистр.

— Ну так что, Степа? — Праздничный сделался голос, застольный. — Поздравить можно тебя? Выдюжили?.. Ну, поздравляю. Сейчас мы даже не можем с тобой представить, какое это великое дело. Обнимаю, Степа, тебя... Спасибо...

— Девчатам надо спасибо сказать, Иван Николаевич. Нет им цены...



Упала вода, но тросы гудели, дымилась в смоляной испарине, дрожали как струнки: чуть тронь — и порвутся. Директор приставил к тросам охрану — самых крепких и бойких девчат отобрал, круглые сутки вахту несли. На правом берегу командовала охраной Тоня Михеева. На левом против поселка ответственность за охрану возложили на Клаву Матюшину, бригадира.

Клаве обидно было до слез сидеть на бугре сторожикой. Столько сна натаскала за зиму этих тросов, траншеи долбила на берегу, лед колола в Островенском и Нерге, мешки с зерном возила со станции на пекарню, впрягалась в водозвозные сани.

Директор поставил Матюшину бригадиром. Месяца не прошло, как матюшинская бригада норму стала давать. Да еще и песни запела, идучи с работы домой.

Когда весна подвалила директору новой заботы, когда зажурчали тетерева на току и закружили вокруг поселка военные ухажеры, бригада Матюшиной оказалась устойчивой против соблазна. Даргиничев ставил ее в пример, шутил с бригадиром:

— Молодец, Клава, что сержантов с лейтенантами отваживаешь. Мы тебе майора сосватаем. Или подполковника.

— Я, может, на меньшее не согласна, чем генерал, — тоже шутила Клава.

Была она по профессии ткачиха, пришла на фабрику шестнадцати лет. В сорок первом ей исполнилось двадцать четыре...

«Серьезная девушка, — хвалил ее за глаза директор. — Сначала о деле подумает, потом о себе. Сразу видно — фабричная, питерская...»

Трудилась Матюшина со своей бригадой — дням счет вели, а часов не считали, с темна до темна. Что было работы зимою на Вяльниге — всему научились девчата. Но только зимняя эта работа томила девчат неясностью результата. Весны они дожидались: весна все покажет, река все решит.

И вот весна разразилась, река забурлила, подняли головы бревна в залеме, закряхтели в траншеях мертвяки. Запели над Вяльнигой жаворонки, заиграли на дудках кроншнепы. Задвигалось все, зазвучало, вступило в круг всеобщей спорной работы.

Клава глядела на дымящиеся от непосильной нагрузки тросы. Ей хотелось помочь, но чем поможешь? Жданный всю зиму главный весенний труд совершался отдельно от Клавы Матюшиной. Девчонки — ее бригада — где-то держали лед: в Островенском, на Нерге. Клава мучилась своим бездельем в эти решающие дни.

Когда полил дождь и вздыбилась запонь, Клава Матюшина оказалась рядом с директором, вместе таскали бревна. Но он будто и не заметил ее. Потом, когда поухло, сказал:

— Спасибо, Клавдия Андреевна. Я тебя и оставил тут на генеральной запони, как бы в резерве главного командования. Знал, что в решающую минуту не поведешь... Ты до вечера присмотри за крепезом на левом берегу, вечером я подмену пришлю.

Клава опять поднялась на бугор со своей охранной командой. Сидели, счастливые, на бревенчатом бруствере траншеи, смотрели на присмиренную реку. И какое-то недугие владело всеми: слишком долго готовились к этому главному дню сражения, и как-то коротко, буднично все получилось. Чуть-чуть пострадала река, взбрыкнула, только-то и всего. Кто-то сказал:

— А разговор-то было: «Удержим... не удержим...» Ее и держать не надо! Как миленькая стоит...

Клава Матюшина возражала, говорила, что держат лес в запони выноса, которые они натянули зимой. Умом она понимала свою правоту, но чего-то и ей не хватало в этом главном, решающем дне. Вроде бы лес удерживали, но кто держал-то его — не понять...

Клава пошла берегом к излучке, там слышнее ревла река. И еще прибавился новый звук, шлепающий, шуршащий. Клава остановилась, грунт вдруг поехал у нее из-под ног. Она вскрикнула, сиганула подальше от берега. То место, где только что стояла она, исчезло, рухнуло вниз. Перекрытая льдом и лесом река грызла берег на излучке. Берег поддавался реке, опадал.

Работа, кипенье реки будто застопорили Клаву. Так стояла она с минуту и вдруг побежала, скатилась на запонь, вскрикивала на ходу:

— Там... берег... подмыло... там... мертвяки... унесет...

— Ну чего раскричалась? Чего паникуешь? Чего? — остановил Клаву Даргиничев.

— Там... берег... весь... обвалился...

Директор бежал вместе с Клавой на левый берег, к излучке. Он прыгнул к самой воде, и берег, покрытый дерниной, обрушился под его ногой. Директор ухнул вниз, но удержался, вылез на сушу.

Река торила новое русло, лезла, грызла, съедала лопоть за лоптем берег. Клавина команда — девчата глядели в лицо директору. Хриплым, сдавленным голосом он сказал:

— Бегом все на склад зерна. Сколько есть кулей с рожью и овсом — вскрыть. Зерно на пол высыпать. Пустые кули все мигом сюда. Будем песок насыпать, берег крепить. Держи от зерносклада ключи, — обратился он к Клаве. — Которые на запони девушки, прихватите с собой. Пуцай по поселку шуруют, у хозяев мешки собирают из-под картошки — и летом тащат сюда.

И правда, летом... После не вспомнить было Клаве, откуда в руках у нее нож появился с деревянной ручкой, откуда достало силы ворочать пятипудовые кули, вываливать зерно — хлеб насыщенный — на грязный щелястый пол склада.

Чего другого, песку хватало на левом берегу Вяльниги. Носили мешки с песком и плюхали в воду. И — только муть на воде. Казалось, напрасное это дело: река все съест, унесет. Двести восемьдесят три мешка — Клава сама считала — опустили в пучину бесследно. Двести восемьдесят четвертый показал над водой свою мокрую боковину. Еще положили двадцать мешков, и над берегом возвысился бруствер. К полночи кончили дело. Река унялась.

## Глава девятая

### 1

В конце апреля подошла в устье Вяльниги корюшка — хоть черпай ведром. Четыре лосося вынули старики из невода, в каждом по полпуда, и пять форелей. Коноплев распорядился отправить рыбу в столовую, в общий котел. И никаких гулянок и вечеринск. Только на баню полдня.

Даргиничев парился в бане вместе с Коноплевым. Баню тут же рядом с конторой построил бывший начальник сплава участка, перед самой войной. Новая баня топилась по-черному, но стены не прокоптились

еще, капли смольного пота выкатывались из пазов. Нахлестались досыта, летошних веников Петр Иванович принес из своей деревни Кыжни. Гошку помыли и тоже веником угостили. Чай пили в кабинете у Коноплева. Степа поставил на стол литровку. Коноплев разрешение дал: «Давайте, ребята, чтоб запонь стояла».

Даргиничев первым поднялся из-за стола. На берег пошел, посмотреть на запонь. Серого навестил, сена ему принес охапку. На завтра рано собрался ехать, с зарей.

В будке на берегу топилась железная печка. Дед сидел на дежурстве. Степа поговорил бы с дедом, но дед был глухонемой. В Кондозере плел корзинки. Сам заявился на Вьяльнигу, без приглашения. Да и как позовешь? Кто знает, какие мысли гнездились в сивой, лысой дедовой голове? Топорища он ловко вытесывал из березовых чурок, да вот дежурить его приставил директор на запонь.

Степа послушал реку. Привычно, ровно, как на шивере, звучала переломленная запонью вода. В поселке пели девушки. Директор стоял над своей генеральной запонью и не то чтобы чувствовал счастье. Покой не воцарялся в душе у Степы. Он думал о сортировке, погрузке. Особой внутренней жизни, отдельной от производства, Степа не знал за собой.

Но что-то переменялось в нем в этот вечер. Переступил порог. Как из болота вылез на кряж. Улеглись Степины нервы, словно лежни на грунт. Не лопнут, не надорвутся теперь...

Свободу чувствовал Степа, заслугу, вершину. Запонь стояла, а большей заслуги он и не знал для себя, не мечтал. Все другое пусть завтра. Он чувствовал право, внезапную страстную жадность — пожить, оторваться от лямки, забыться.

На берег пришел Коноплев. Слышно было, он торопился, сопел на ходу и покашливал, курил папиросу...

— С Гатовым я сейчас говорил, — начал он с ходу быстрым своим окаящим говорком. — Отыскалась твоя хозяйка. Из Кундоксы позвонили, письмо туда к ним пришло. Два месяца добиралось, истерлось, говорят, на нет, в руках не удержать. Пересылать на Вьяльнигу не решились по почте — опять завалается где-нибудь. Завтра от них машина военная пойдет на Вьяльнигу, отправят с оказией. Из Кировской области письмо.

— Из Кировской области? От же, ей богу, куда занесло...

— В общем, можешь Гошке сказать, что скоро мамка к нему придет. Днями ей вышлем вызов...

Весть о жене Алевтине донеслась до Степана Даргиничева, как свежий вздох пропахшей лесом реки, как песня весенней птицы. Зимняя боль его, мука — перегорела, снегом сошла.

## 2

Даргиничев поговорил с Косошлевым о сплаве, еще раз поблагодарил его за добрую весть и тихо пошел берегом Вьяльниги. До устья Сярги дошел, повернул на лесную дорогу. Небо светлело над Сяргой, лунный серпик был тонок, сиял, и большая зеленоватая звезда висела в небе ракетой. Ближе к речке чернели острыми верхами елки. Где-то в вершине пел дрозд.

Звонкий выдался вечер. Земля дышала тепло, а небо словно заиндевело. Степа думал, что утром прихватит морозом, ловчее ехать. Прошлогодней тележной колеей, посыпанной еловой хвоей, он вышел к кордону — избе на пять окошек. Хозяин ее — лесник — воевал, семейство его подалось от войны. Окошки заколотили, навесили на дверь большой амбарный замок. Зимой еще, в феврале, на широких охотничьих лыжах Даргиничев приходил сюда, топором вскрыл лесникову избу.

— Пуцай, — сказал, — на солнышко поглядит. Изобка еще хоть куда. Пригодится. Без мужицкой руки зачахнет совсем. Изобка как баба...

Шофер Василий ему помогал. Дров напилили. Дровами лесник запасася, видать, с весны, когда молевой сплав шел на Сярге.

— Хорошо устроился, сукин сын, — посмеивался Даргиничев, — коротыге только и брал, метровку. Наш лес-от, наше добро. Не грех и попользоваться.

В канун ледохода Даргиничев совещался в этой избе с двумя соседями-комбатами, с саперным капитаном и майором из аэросанного батальона. Решали вопрос о взрывных работах в Островенском, Нерге, Сигожно. Допоздна решали, потом немножко попели. Кругом леса глухие — тайга.

...Даргиничев вошел в сени, не заперто было, на

лестнице постелен половики. Лестницу широко размахнули, в шестнадцать ступеней, — как во всех северных избах, жили высоко над землей. Пахло краской: покрасили лестницу перед войной, не затоптали; сеном пахло, сеник был тут же, вровень с жилой избой. Смолою, сосной пахли стены. Вкусно пахло в избе, не то что в конторе, насквозь провонявшей отхожим местом. Рад был Степа знакомому с детства, родному жилому крестьянскому духу.

Русскую печку истопили в избе. Утром еще директор наказал Василию, чтобы истоплено было. И красную рыбину доставил сюда Василий, лежала она на столе. Две бутылки стояли. Еще наказал директор своему шоферу, чтобы Василий направил к нему Нину Нечаеву:

— Ты ей скажи, Даргиничев просил зайти. Разговор один есть. В восемь, скажи, у него с управляющим треста разговор, потом совещание с секретарем обкома. После девяти пушай заходит. Он, скажи, будет ждать. Другой у него, скажи, кабинет для приема посетителей, на Сярге.

— Будет сделано, Степан Гаврилович, — обещал Василий.

— Ты особо не жми на нее, — напутствовал Степа, — так, между прочим скажи, и чтобы без лишних ушей. А то натреплют бог знает чего.

— Все будет в полном порядке.

Степа скинул ватник, присел к столу, выпил, отрезал от рыбины ломоть красного балыка. Рыбина завернута была в холстину, пролежала под камнем два дня, сок дала, просолилась. Нежный, розовый вышел балык, растаял во рту. Степа сам распластал эту царскую рыбу вдоль спины, втер ей в алую полость соли, холстиной запеленал и камнем прижал...

Он взглядывал на часы, к десяти подвигалось. Вышел на волю. Дрозд все еще пел в еловой вершине. Посоловьиному шелкал, свистал, вскрикивал сойкой, поскворчиному бормотал и шушукал. Горазд был дрозд на разные голоса. Вся радость весеннего птичьего леса звенела, дрожала, лилась в его горлышке. «От же, ей-богу, — подумал Степа, — как в мирное время поет. Как в мирное время. Радехонек, дурачок, что добрался до Сярги. И знать не знает, что тут у нас дееся, у людей...»

Опять поглядел на часы. Не терпелось ему, не могло больше ждать. Волновался Степа Даргиничев, как мальчишка нетерпеливый, на дорогу глядел. Всю дорогу он слышал, до самой Вяльниги, всякий заячий, птичий шорох, беспричинный лесной шумок отдавался в Степином сердце смятением. В жар его кидало и в холод. Сердце в нем бултыхало. Степа слушал дорогу, а сам усмехался: «Как косач на току, ей-богу. Того и гляди чуфыкать начну. Как последний косач...»

Никогда с ним этого не бывало: так ждать и томиться. К Альке своей он бегал, кранист на Сигоженском рейде, после смены, в потемках, за четырнадцать километров на станцию Вяльнига. Два раза всего и сбегал, потом перевез Алевтину на сплавучасток. В бараке им дали комнату. Алька его дожидала, а он работал. К ночи являлся, а то и в ночь оставался на рейде. Любовь его шла заодно с работой, и все понятно было в этой любви, ни тайн, ни загадок. На той же реке, что Степа, жила и работала Алька, такие же пироги с красной рыбой пеклись в ее доме по праздникам, такого же цвета были глаза у Альки, что и у Степы. Руки ее держали крепко топор, багор, ухват и косу-литовку. Грудь у Альки была дай боже, и плечи, и ноги — всего хватало. Степа выбрал себе подругу под стать, той же породы...

«А тут черт те что... Кому бы сказать, засмеют. Есть девки, отъелись, ядреные, кровь с молоком. Простые девки. Бери, ни одна не откажет... А вот же куда понесло...»

Как ни стыдил себя Степа, ни насмехался над собой, не мог унять сердце. Слушал дорогу и не услышал. Легонький шаг был у Нины. Пришла... И потерялся Степа от радости, весь так и обмер. Пришла... В резиновых сапогах с завернутыми голенищами. В ватнике, в юбке — это Степа заметил. Без шапки, без платка. Простоволосая пришла Нина.

— Что это за птица так здорово поет? — спросила она.

— Дрозд, — сказал Степа. — Наголодался с дороги, в лесу взять нечего, разве что почки... Тут запсешь... В сентябре на рябине отъестся — позабудет, как петь. Покрякивать будет от сытого пуза — только с него и музыки... — Улыбался директор, сиял, говорил и сам не слышал себя.

— Крякать — это тоже, наверно, музыка, — сказала Нина. — Музыка толстых...

— Пойдем, Нина Игнатьевна, в избу, — звал Степа, — подышали свежим воздухом, будет...

Первым пошел, полусоборотясь. Нина шагнула за ним и запнулась, будто в колодную воду ступить. Глядела на живую лунную речку внизу под яром, на зеленую звезду на зальдевшем небе.

— Не верится даже, что так бывает. Сказочная страна. Избушка на курьих ножках...

— Лесника Егорова изба, — сказал Даргиничев. — Старый лесной волк, знал, где ставить кордон. Местечко облюбовал — загляденье. Мы шефство взяли над кордоном, пока воюет лесник. Одна в лесу загложнет изобка. А нам пригодится в хозяйстве. За нами не пропадет... — Поуспокоился Степа, освободился от внезапного, жаркого своего волнения. Хозяин в нем проявился. — Заходи, Нина Игнатьевна. Гостьей будешь.

Он засветил в горнице лампу с трехлинейным стеклом, снял с Нины ватник, усадил к столу. Потентался у печки, принес медный позеленевший чайник. Сказал, что чай — это первое дело для лесоруба. Без чаю в лесу не жизнь. Но не чай разливал по стаканам, другое. Нина отказывалась от водки. Степа потчевал красным вином. Рассказывал Нине, как удалось ему бочку портвейна добыть, — уговорил начальника леспродторга Симкина: для девушек, мол, девушек подлечить — от малокровия помогает...

Нина сидела тихая, в вязаной кофточке, слушала, видела, чуяла на себе голубоватый, лучевой свет Степиных глаз.

— Вот вы интересную мысль сказали, Степан Гаврилович, о том, что сытая птица разучится петь. И человек ведь тоже... У сытых и у голодных разные песни. Вам не приходилось это на себе испытать?

— А я около тебя зиму хожу, зубами ляскаю, — сказал Степа. — Не то что петь, волком скоро завою. Зимой еще куда ни шло, не до того было. А запонь поставили — места себе не нахожу. Как косач последний влюбился в тебя. Как косач...

— Ну почему же? Такой вы большой и сильный. Государственный ум. Вся жизнь у вас размерена, взвешена, расписана. На первом месте работа. После работы чуточку любви... Так, для отдыха... Правда? Любовь



не может вас оторвать от земли, унести на крыльях? Тысячи книг написаны о любви, а вы их и не читали. Счастливый вы человек или бедный?

— На крылышках порхать — это легче легкого, — сказал Даргиничев, — когда батрачки кое-какие на барщине спину гнут за тебя, хлебушко растут... Было бы время да что пожевать... Было бы время. Моя такая жизнь вышла, Нина Игнатьевна, на крылышках порхать не пришлось. С двенадцати лет в бурлаках. Лодки с грузом бечевой водил по Мариинской системе. Соминки они назывались. Хлеб насущный себе зарабатывать. Хлеб насущный. Иначе нельзя. Книжки для других были написаны. Мне бурлачить пришлось. К лямке я с детства приученный. К артели. Кто сколь силенок имеет, все отдает на общую тягу. Силенки были пожиже, и спрос был другой. А вызобал в мужика — значит, тяни, выполняя свою долю. В артели все на виду. Порхать начнешь — народ над тобой насмеется. Насмеется народ. Вот и соображай... Как волки в лесу мы работаем. А тоже ведь люди. К свету в окошке прибиться охота. Без того одичаешь совсем... Я из лесу вернусь в потемках, Серого на конюшню веду, взгляну, в бараке у вас в окошке щелочка теплится. Пойти, думаю, выговор сделать за плохую светомаскировку... Да нет, думаю, пушай. Все на душе повеселее. А я строгий насчет этого дела. Я в Кундоксе ответственный был за светомаскировку. С мазуриком одним у нас там целая катавасия вышла. Окошко он не занавесил, иллюминацию учинил. Пришлось его попугать маленько. Пришлось попугать...

— Да и у вас тоже, Степан Гаврилович, щелочка одна есть, в вашем окошке в конторе...

— Ну? Неужто есть? Надо будет ликвидировать.

Нагорал фитиль в лампе, пыхал, чуть дышал огонек. Даргиничев улыбался, но мягкости не было в его взгляде. Нина чувствовала силу Степиных глаз, напор, отчаянность, волю. Такие глаза были у директора на островенском переборе.

— Вы так смотрите, Степан Гаврилович, я боюсь, — сказала Нина, — я себя воробьем беспомощным чувствую рядом с вами.

— А ты не бойся, — сказал Даргиничев. Он поднялся и фукнул на лампу, задул. Все пять окон наполнились лунной синевой. — Мы поработали с тобой как сле-

дует быть, Нина Игнатьевна, — сказал Степа, — у нас сегодня праздник. Наш праздник. — Он обнял Нину и поднял ее, понес. И ничего тут нельзя было поделывать. Нина обхватила Степину шею, прижалась к нему. Пахло от Степы водкой и табаком, лесом пахло, снегом и солнцем.

— Я тебя люблю, Степа, — сказала Нина. — Ты свет в окошке... Степа... Не нужно... Не надо... Степа...

Пять окон лунно сияли. Пять синих квадратов лежали на крашеном полу. Кованые железом большие кожаные сапоги валялись в пятне узорного света и маленькие резиновые с завернутыми голенищами...

### 3

Скребущий, саднящий звук появился. Летел самолет, по-немецки урчал, с перебивом, волнами, то густо с угрозой, то гнусаво зудел, как пила. И сразу ударила автоматическая зенитка в Афоной Горы, палкой замолотила по крыше, зазвякали стекла.

— Сейчас ему подкинут на Вяльниге, — сказал Степа. — Хвост ему накрутят.

Нина спустила ноги на пол, сунула в сапоги.

Степа думал, вернется. Лежал. Самолет улетел, но звук не забылся, все скребся, зудел. Так и осталась в Степиной памяти эта ночь, оцарапанная, разбуженная чуждым, не нашим звуком, исхлестанная пушечной стрельбой.

Нина не возвратилась. Даргиничев вышел на волю. Где-то уже под самым поселком шуршали чуть слышно ее шаги. «От же, ей-богу, — подумал Степа. — Характерная козявка. Может, обиделась чего? Кто же их знает?»

Пискнул над елками первый вальдшнеп. Журавль затрубил. Через час Даргиничев ехал верхом на Сером. Вставало солнце. Лес наполнился посвистом крыльев, чуждым, пением птиц. Но что-то нерадостно было Степе. Не знал, что поделывать ему с этой ночью. Или совсем забыть? «А... все они плачут. Сама прибежала. Должна была знать. Наплачется, поумнеет небось трясогузка... А то ей, вишь, на крыльях надо летать... А, ладно...»

— Н-но, Серый, — причмокнул Степа и дернул коня за повод, стукнул пятками в бока. — Н-но, давай!

Серый покосился на хозяина.

— Давай, брат, давай,— сказал Степа.— Некогда прохлаждаться.

## Глава десятая

1

Жена написала Степе, что пришлось ей помыкать горюшка, в письме всего не расскажешь. «Я-то ладно,— писала жена,— сердце по вас изболелось. Живы ли вы, родные мои? Как Гошка? Дитя малое остался без матери — одинехонек. Тебе некогда с ним заниматься, а на чужих людей надежда плохая. Живу я в бараке,— писала жена,— работаю на лесоповале. Думал ли кто-нибудь, что так повернется? Поезд наш, на котором я ехала в Карголье за тебя хлопотать, разбомбило. По шпалам пешком пошли — прямо в самое пекло угодили. Чудом жизнь сохранила, слава богу, мир не без добрых людей. После немцев в тифу я валялась без памяти. Не знаю, кто меня, как подобрал. Погрузили в санитарный вагон, очутилась я здесь, а не с вами. Документов я всех лишилась, и обратиться не к кому. Не знаю, дойдет ли это письмо до вас. Если встретиться придется, я все расскажу тебе, Степа. И не верится, встретимся ли...»

Как выбили немцев из Карголья, Даргиничев ездил, искал следы Алевтины Петровны, но все следы подмело. И вот же нашлась, отыскалась, живая... Даргиничев обращался за помощью к Коноплеву, послали в Кировскую область вызов Алевтине Петровне.

2

Степа работал на рейде, возился с кранами. Чурку напилили зимой, но не высушили, плохо она горела. Моторы не заводились, не давали мощности, глохли. Даргиничев черный стал весь, прокоптился.

И Серафима Максимовна стала как кочегар. И четверо вальнижских парнишек, допущенных приемной комиссией к работе на кранах, охотно и скоро перемазались с головы до пят. Справки о знакомстве с техникой безопасности им подписали председатель комиссии Даргиничев и член комиссии Лунина.

Первого мая затарахтел восемнадцатисильный движок, и зажегся электрический свет на рейде. Днем он зажегся, а вечером погасили, конечно: фронт рядом. Снизу по Вьяльниге приплыл маленький буксир «Ерш», привел баржу, тоненько, весело гукнул.

Баржу поставили под погрузку. Даргиничев поднялся в будку крана. Со всех сторон его окружило синее небо без облаков. Летели с озера чайки. Степа близко видел блестящие темные капельки чайчьих глаз. Он видел стоящих внизу на бонах людей с баграми. Они не работали сейчас, поднимали к нему лица. Он увидел Нину Нечаеву. Она стояла отдельно от всех и тоже смотрела вверх, на него. Лицо ее освещало солнце. Рябила, играла на солнце вода. И такое счастье, такая любовь к этим маленьким людям, стоявшим внизу, к этой реке, запруженной лесом, к этому небу и чайкам, к этому крану «норд-вест», к этой девушке с солнечным светлым лицом нахлынули вдруг на Степу, что он заплакал, утерся чумазой ладонью: «От же, ей-богу, этого не хватало еще».

Взялся за рычаг, поворотил будку вместе со стрелой, выжал педаль, плавно опустил грейфер в набитый сосновой двухметровой «дворик», ухватил зубьями пачку и понес. Кран был послушен воле краниста. Когда стрела поравнялась с баркой, Степа отдал педаль. Дрова глухо стукнули о днище баржи. Кучно, в самую серединку легли. Будто собственными руками брал Степа лес из воды, укладывал его в чрево баржи. Тело его вспоминало эту работу и радостно отдавалось ей. Сила разумной большой машины становилась Степиной силой. Иногда он взглядывал на Нину Нечаеву. Нина тотчас оборачивалась на его взгляд, отвечала ему. Хотя отделяло их друг от друга большое пространство неба, реки и сплавного рейда, пересеченного бонами.

Степа кидал пачки леса, не останавливая стрелы. Может быть, он бы и удержался от этого маленького лихачества, не будь внизу Нины...

Он начинал работать на этом кране в тридцать пятом году — первый кранист на Вьяльниге — и тоже немного лихачил. Тогда внизу была Алька, загоняла багром чурки в «дворик».

Проржавевший за зиму кран скрипел, скрежетал. Степа чувствовал неустойчивую, провисшую тяжесть несомого леса; натуга стиснутых челюстей грейфера

передавалась ему. Степа стискивал зубы... Он взглядывал на светлеющую внизу простоволосую Нинину голову и думал, почему его счастье, вот это простое счастье любви и работы, должно стать горем другого человека — Алевтины, жены...

Степины мысли не складывались в слова. Он прибавлял оборотов двигателю, еще скорее поворачивал кран, лягал челюстями грейфера, покрикивал, погонял народец внизу.

Красиво работал Степа на кране, изящно, мягко работал, без остановок, промахов и рывков. Он думал, что вечером увезет с собой Нину на Сяргу — и хоть трава не расти: имеет полное право. Но приходили другие мысли: что это не дело, не поселковый ухарь, а все же директор, народ осудит, нельзя опускаться. Тем более где-то, черт знает, страдает жена...

Хотелось Степе поставить внутри себя запонь, запруду и удержаться, спастись. Но глядел он на Нину, и мерещились ему неслышанные слова, неведомые страны.

Чайки летели мимо, заглядывали в глаза кранисту, будто хотели о чем спросить.

Даргиничев перекрыл в этот день все известные на погрузке нормы. Работал он на кране сряду пятнадцать часов, и кран ни разу не отказал. Довоенной сушеной чуркой заправили бункер. Все сожгли, что сыскалось на складе.

### 3

Нина Нечаева не пришла ночевать в барак. Серафима Максимовна заглянула, спросила Нину. Девчата уже улеглись, фыркнули из-под одеял.

— Загулялась где-нибудь, любитесь на закат. Она у нас декабристка, поэтическая натура, — сказала бригадир Клава Матюшина.

— По бруснику пошла...

— Она лунатик. В лунную ночь ей дома не усидеть...

Тот самый заржавленный голосок прошкворчал из угла:

— Она у нас заместо медали на грудь Степану Гавриловичу. Он заслужил медаль, а ему не дают...

От девушек Серафима Максимовна направилась в

контору. Постучала в директорскую дверь, никто ей не отозвался.

Утром она, как всегда, пришла на рейд раньше всех, в одно время с Даргиничевым.

— Вот что я хочу тебе сказать, Степан Гаврилович, хоть не мать я тебе и не сватья...— Вся чистая, ни разу в жизни не поколебленная совесть Серафимы Максимовны зазвучала в ее словах, острезилась в прямом, идущем из глубины, взыскующем взгляде.— Не дело ты это затеял. Черт связался с младенцем. Люди смеются над тобой. Тебе с ними бог весть сколько еще придется работать. Ты голова над ними. Рыба гниет с головы... И девушку с толку сбиваешь, на плохую дорожку подталкиваешь. Она, может, самая чистая тут из всех, круглая сирота... А ты по-кобелиному хвостом крутишь... Жена у тебя бог знает где мыкается, ребенок без матери растет и отца не видит... Негоже, Степан Гаврилович. Партийный ведь ты человек.

Хотелось Степе услатить подальше эту старуху. Куда суется, старая девка, где же ей это понять? Но не послал, удержался.

— Знаю, Серафима Максимовна,— сказал.— Все сам знаю. Но ведь живой человек — не чурка осиновая.

#### 4

Сладкая выдалась Степе ночь. И горькая она получилась. Отчаянность в ней была. Так любили они с Ниной друг дружку, будто завтра им расстаться навек. Прощальная вышла ночь. Последняя ночь. Из другой из какой-то жизни занесло в нее Степу. Прошелетели в его ушах неслыханные слова — как чайки в небе крыльями помахали: не поймать, не припомнить...

Утром долго не заводились краны: котлы заправили зимней чуркой. Полдня простояли, потом парнишки сели за рычаги, и сразу вышло «чепе»: один из парнишек раскрыл грейфер над кормой баржи, дрова упали прямо на помпу, баржа хлебнула воды и опустилась на дно.

Приехала комиссия, искали виновных. И виноватее всех выходил директор сплавной конторы. С несовершеннолетних парнишек какой же спрос? Между тем пароходство подавало суда под погрузку и требовало жесткого исполнения графика.

Даргиничев переменялся за эту неделю, не стало в нем этой всегдашней открытости, душевности, готовности к шутке. Злой стал директор, скорый на гнев, на разнос.

Однажды вечером он сказал Нине Нечаевой, чтобы пришла на Сяргу. Встретил ее насулленный, хмурый.

— Вот на-ко, прочти, — протянул бумагу с печатью. Нина долго читала. В бумаге написано было, что Нине Игнатьевне Нечаевой, двадцать второго года рождения, разрешается выезд из Вьяльничского района, поскольку, согласно медицинскому освидетельствованию, гражданка Нечаева находится на пятом месяце беременности. Надлежало выехать Нине в Свердловск.

— Макар Тимофеевича Гатова я попросил, — сказал Даргиничев, когда Нина подняла глаза от бумаги. — Только он один и может документ дать на выезд. По беременности отпускают, а больше никак. Мобилизованными вы считаетесь: что в армии, что на лесозаготовках — закон один.

— А мне эта бумажка ни к чему, — сказала Нина. — Хочешь, Степа, я ее разорву?

Даргиничев перехватил ее руку.

— Да ты не бойся, — сказала Нина. — Я уеду. Я понимаю тебя. Такой уж ты есть. — Она глядела весело, прямо на Степу, а он избегал ее взгляда. Скучный сидел.

— Ты пойми меня, Нина, — сказал Даргиничев. — У меня жена в Карголье под немца попала, а теперь в Кировскую область ее услали, лес валит, как и не мы, грешные. Гошка растет без матери, как кукушкин сын, в чужое гнездо заброшенный. Как кукушкин сын. Времени у меня нет заниматься с ним... — Слезой задернуло глаза у Степы. — Без призору растет, без ласки. Виктор Александрович Коноплев хлопотал, домой вернется Гошкина мать.

— Я знаю, Степа, — сказала Нина. — Все знают. Все за тебя болеют. Такой ты сильный и, может быть, самый несчастный. Я потому к тебе и пришла. Нам легче, мы все заодно, а ты одинокий. Ты, Степа, меня прости. Я уеду. Я не хочу уезжать. Я могла тебя полюбить. А может быть, не смогла бы...

Степе сделалось жалко себя. И правда ведь одинокий. Никогда и не думал, всегда с народом. А вот, поди ж ты, поняли, пожалели.

Когда предрайисполкома Гатов выписывал справку для Нины Нечаевой, он посмотрел на Степу, спросил: «А что, и правда?» — «Да нет, — сказал Степа, — надо помочь девчонке. Девчонка больно хорошая. Круглая сирота. Студентка. Польза с нее на рейде никудышная. Чего же зазря портить жизнь? Пусть учится дальше».

Конечно, и Степа тоже подумал: «А вдруг?» Но додумывать он и не стал, отодвинул эту заботу: «Небось обойдется. Не время, сама должна понимать».

— Ну, что же, Нина, давай с тобой выпьем за расставанье, — сказал Даргиничев.

— Не надо, Степа, не будем мы пить.

Нина уехала через неделю, а в середине мая прибыла Алевтина Петровна.

## Глава одиннадцатая

У Гошки рано прорезались морщины на щеках, к двадцати семи годам обозначился в нем мужик — начальник производственного отдела в сплавной конторе. Дома он ночевал через две ночи на третью. То в Сигожно его отправлял отец, на запонь, то на участки, то на завод. Жил Георгий с семейством в отцовском доме — большой избе в пять окошек, фасадом на Вяльнигу. Отец поделил избу шестой стенкой. Два окошка сыну отдал, три оставил в родительской половине.

В глубине усадьбы, за полосой картошки, построили кирпичный гараж, там находился Гошкин мотоцикл с коляской и еще семейная «Волга». Страсть к машинам старшего Даргиничева передалась и младшему. Под окнами у причального плота стояла на Вяльниге Гошкина лодка с шестисильным мотором. По веснам в сплавное время тут же швартовался директорский дизельный катер. Не катер даже — озерный теплоход. Для плавания по маленьким речкам директор имел водометный катер. Контору от директорской усадьбы отделял забор. Уклад директорской жизни и Гошкиной жизни не распадался на служебное и домашнее время.

В семействе Даргиничевых не работали только Гошкины пацаны. Все вместе сходились по праздникам за столом да иногда смотрели телевизор. Гошка отгрохал такую антенну, что телевизор его, единственный на Вяльниге, принимал даже футбольные матчи из Лон-



дона. Футбол он смотрел, хоккей, балет на льду. Все остальное не нравилось Гошке. Особенно раздражала его Эдита Пьеха.

Ходил он зиму и лето в пропитанных дегтем кожаных сапогах, в суконной кепке с длинным козырьком. Всегда во рту у него дымилась папироса «Беломорканал». Улыбался Георгий редко, насупленный был мужик, жилистый, сутуловатый. Ростом не вышел в отца и статью не вышел. Тонкая шея была у Гошки. Да и как же ей постолстеть? Чуть выдавалась Гошке минута, он опоясывался патронташем — и в лес, на болото. В холодильнике у Даргиничевых всегда томились чирки, бекасы, гоголи, весной — глухари и гуси, зимой — зайцы, тетерева. Алевтина Петровна корила сына: «Кому они нужны? Кому есть время возиться с ними, щипать да палить? Целые дни все на службе».

Первого медведя Гошка убил в пятнадцать лет, на маленьком овсяном поле под Нергой. Он не мог его не убить, потому что не торопился, неделю прожил в лесу; сам стал как медведь-пестунок: все чуял, слышал и не мешал большому медведю чавкать ночами в жидких реденьких овсах. Посеять-то овес посеяли, до жатвы руки не доходили. В давнее время вепсы выжгли в лесу прогалок, по гари родилось жито. Удобрить поле было нечем. Поле значилось в списке пахотных площадей, пахали его, а после гуляли по нему медведи.

Когда взрослые мужики отправлялись караулить медведя на лабаза, построенные высоко на елях, Гошка, пацан, усмехался: «Вряд ли придет». Мужики уходили поздно, к заходу солнца, Гошка знал, что медведь уже там, притаился где-нибудь на опушке. Мужики ломались к своим лабазам краем поля, и Гошка чувствовал превосходство над ними: «Разве так ходят? Медведь сначала следы все разнюхает, потом овес будет есть».

С детства Гошка воспринял деревенский северный говор, сильно окал. Отец его кончил только два класса, но язык его обкатали активы, собрания, семинары, газеты и радио. Гошкин язык не поддавался десятилетке и Лесной академии...

Когда после академии он приехал в Вальнижскую сплавную контору инженером с дипломом, отец отправил его на делянку лес валить, затем посадил на трелевочный трактор, еще шофером поработал Георгий на

лесовозе и мастером на сплавнои участке в Островенском.

— Пуцай инженер потрется среди народа,— говорил директор сплавной конторы,— успеет еще в кабине штаны просидеть. Народ хороший у нас. Трудолюбивый народ. Пуцай потрется.

Только на третий год он взял сына в контору начальником отдела.

Работник вышел из Гошки неутомимый, упрямый, хоть кол ему на голове теши, по-своему делал. Пьяниц гонял без пощады, сам в рот спиртного не брал. Но шея его оставалась тонка. И частенько он забывал, что начальник, что нужно ему подымать людей на работу и строго взыскивать, чтобы боялись. Это не выходило у младшего Даргиничева, не унаследовал он отцовский характер.

Отец посылал его в Москву, в министерство и в комбинат — на семинары, активы. «Пуцай потрется среди начальства». Но Гошке не прививались начальственный тон и манеры. Терялся он в отцовской компании. Помалкивал за столом: чего говорить, все равно же отцово последнее слово.

Будто в тени, в затишке вырос Георгий Даргиничев. Все солнце обрушилось на отца, все дожди и ветры. Гошка жил за отцовской спиной. Тем же морозом его калило, той же работе он научился, которую делал отец, но не хватало ему какого-то витамина. Ни трудолюбие Гошки, ни строгость его и скромность, ни готовность подставить плечо, если туго, не подымали Гошку до отцовского роста. Что бы ни делал он, говорили: «Отец приказал». Отцова рука направляла всю Гошкину жизнь. И легче это было Гошке, и, может быть, тяжелее. Все сравнивали его с папашей: «Одна порода, а хватка не та, другого калибра парнишка...»

Может, и обидно бывало Гошке всегда состоять при отце. Но так получилось, вся Гошкина воля слилась с отцовской, не отличить со сторсны. Вся Гошкина гордость питалась отцовской славой. Парень он гордый был, и похвастать не прочь. Где-нибудь у костра на охоте только его и послушать.

— ...Однажды батя зарплату понес на Шондигу на участок,— рассказывал Гошка.— Дорогу снегом завалило, и на лошади не проедешь. Два месяца зарплату не выдавали. Деньги батя в полевую сумку положил.

На валенки у него галоши надеты — в марте это было, уже подтаивало днем. На Шондиге заключенных работал отряд, на лесоповале. Урки, бандиты всякие. Кто-то им сообщил, что директор с деньгами едет. А они не знали его, их привезли недавно. Трое смотались из-под конвоя, вечером на дороге поджидают. Он идет, а они на него. У каждого по дырну в руках здоровому. «Деньги давай!» — «Сейчас, ребята, — он им говорит, — они в галоше у меня, сейчас галошу сниму». Они ждут, думают, деваться-то ему некуда. Вот он нагнулся, галошу снял да этой галошей по морде тому, что ближе стоял, подзаехал. Потом и других давай метелить по чем попало. Бежать им нельзя, снег глубокий. Он их в кучу свалил и речугу им толкнул. Провел воспитательную работу. «Это вам, — говорит, — повезло, что вы на меня нарвались. До преступления дело не дошло. Бежать вам тут у нас все равно некуда. Как цуциков бы переловили и вкатили по первое число. А я вам, — говорит, — добра желаю. В ваших руках, — говорит, — заглядить свою вику. Будете работать как положено, оставим это дело без последствий. А ушкуйничать начнете, то пеняйте на себя...» С тех пор ничего такого не повторялось. Поняли, с кем дело имеют...

О бате рассказывал Гошка и еще о себе. Хотелось ему быть похожим на бату, найти в своей отроческой жизни это батино удалство.

— На втором курсе у нас собирали команду на первенство академии по борьбе. В полусреднем весе некого было выставить, дак... меня попросили: «Давай, парень здоровый, из лесу приехал». Я на тренировки пару раз сходил... Некогда было. К сопромату готовился... Ну, выхожу на ковер. Противник ростом выше меня, но жидкий, видать, городской. В партер мы свалились, он полунельсоном меня взять пытался, а я думаю, не на того попал. Силенок у тебя маловато. Судья нас в стойку поднял. Я его на бедро подцепил, очко заработал. Потом еще пару приемов провел. По очкам выиграл. Больше не стал ходить. Вижу, зря только время тратить...

А еще команду по стендовой стрельбе комплектовали у нас на первенство общества «Буревестник», — рассказывал Гошка. — Мне говорят: «Давай попробуй». Я согласился. Пришел на стенд, гляжу, ребяташки все ушлые, перворазрядники есть, по несколько лет заки-

маются. Пуляют в белый свет, как в копеечку. Ладно, думаю, дожидая своей очереди. У нас в Вяльниге стенда нет, по тарелочкам мы не бьем, а только в лесу по птицам всяким, по шапкам, по гильзам. Шапку у любого возьми, как решето продырявлена. Моя очередь подошла, я кричу: «Дай!» И обе тарелочки расколосшатил. С первого же раза второй разряд выполнил. Тренер говорит: «Давай занимайся серьезно». А я сходил пару раз, думаю, ерундское дело. Только зря время переводить...

Застенчивый, тихий был Гошка, но с гонором. Хотелось ему выделяться, хотелось смелых мужских поступков, серьезной жизни. Отцова порода в нем говорила. Не робкий он был, но храбрость его выходила иная, чем батина храбрость. Однажды на срывке леса на Сярге забрался он на самый высокий штабель. Штабель плохо зимой сложили, держался он на живую нитку. Боялись к нему подступиться. Гошка бревно наверху колом поддел, штабель рушиться начал. Все, кто тут был, зажмурились, смертью запахло. Бревна посыпались в реку, как камни с обрыва. Никто и не видел, куда подевался Георгий Даргиничев. Он в речку махнул с шести метров. На берег вылез живой. Смеялись потом над ним: «Шустрый, как выдра...»

Отец был спокоен за Гошку: трудолюбивый парень и небалованный. За хозяйство свое, за сплав, заготовку и за завод беспокоился старший Даргиничев: «На пенсию уходить, а кому оставишь?» На приезжих специалистов надежды он не имел. «Ладно, потянем пока,— говорил себе Степан Гаврилович,— пуцай Георгий ума наберется. Производственный опыт у него есть, с работой он шутики шутить не будет. Пуцай проходит науку, пока еще у меня есть силенка. Лучших учителей ему все равно не найти. А там будет видно».

## Глава двенадцатая

### 1

На Первое мая Даргиничева пригласили в город — нести через площадь знамя области. Так и прошел он впереди колонны — один. Блестела его геройская звездочка, серебрилась голова. День выдался солнечный, теплый. Оркестры играли для Степы. Степа знамя

держал высоко, силенок ему хватало. Старости он не чувствовал, — знаменосцы старыми не бывают. Один шел Степа, как победитель на стадионе. За Степиной спиной гудела толпа. Всегда он шел первым, за ним тянулся народец. Нравилось Степе вот так идти на виду. Молевой сплав закончили нынче к Первому мая. Генеральную запонь за два часа поставили, по чистой воде. Верховой лес переборами придержали. Сплавные реки — Сяргу, Къжню, Шондигу, Нергу — плотинами регулировали. Сколько нужно было для сплава воды, столько они и давали. Новый мост через Вяльнигу льдами подперло — Даргиничев быстро распорядился водометный катер на сани погрузить. Трактор приволок его к мосту, на реку скинули, катер пошел шуровать, растолкал все льдины. В сжатые сроки организованно провели молевой сплав. Так написали в районной газете, в передовой. Вместо себя Даргиничев сына оставил — без выходных на весь праздник.

Телевизионная камера наезжала на знаменосца. Степа не глядел в объектив, но разворачивал грудь, высоко подымал подбородок, думал, что дома видят его сейчас. И еще хотелось, чтобы увидели на улице Стрепетова. Где эта улица, Степа не знал, только адрес записан был у него в книжечке. Адрес ему сказала Полина Бойцова, Сергея Ивановича жена, начальника лесопункта в Афониной Горе. Дольше всех девушек сорок первого года задержалась Полина в Вяльниге. Счетоводом работала в конторе. Серега Бойцов вернулся с фронта в сорок четвертом году, одиорукий. Первую свадьбу сыграли не по-заячьи в кустах, а как положено у людей, по закону. Макар Тимофеевич Гатов печатью ее скрепил.

Когда пришла телеграмма от Нины Нечаевой, осенью, в октябре, Степан Гаврилович собрался съездить в Афонию Гору. Надежда была у него на Полину Бойцову. Могла же она что-то знать о Нине Нечаевой. Обратного адреса не было в телеграмме. В общую пачку поздравительных посланий Даргиничев эту телеграмму не положил, жена могла прочитать. Ей рассказали про Нину. Нашлись языки. Этого жены не забывают. Мужики забывают, не помнят даже имен. А жены их помнят. Даргиничев носил телеграмму от Нины в бумажнике, вместе с удостоверением Героя Труда. Он думал о Нине — четверть века прошло, а вот же, вспо-

мнилась эта ночка: лунный свет на полу и скребущий рев немецкого самолета. Будто давнюю фотокарточку в шкафу отыскал: молодого его снимали, другой человек, а приятно найти в нем себя. И тревожно.

В Афоной Горы Даргиничев управился с делами на лесопункте, вечером пил чай с молоком в доме Сергея Иваныча. Полина потчевала директора ватрушками с черникой и с картошкой.

— А помнишь, Полина Васильевна, — благодумствовал уставший за день директор, — каких вас к нам привезли в сорок первом году? Ужас! Только на конском мясе вы и выходились. Хорошо, конина нашлась под рукой, а то бы просто не знаю... Да...

— Как не помнить, Степан Гаврилович. Такое не забывается.

— А ни с кем не переписываешься из тогдашних подружек? Я раз в городе в парикмахерскую зашел подстричься, в кресло сажусь, парикмахерша — такая дамочка лет сорока. «Здравствуйте, — говорит, — Степан Гаврилович. Я вас узнала. Я у вас в лесу работала в сорок втором году». От же, ей-богу, какие встречи бывают...

— Переписываемся, — сказала Полина Бойцова. — Некоторые в гости к нам приезжают. Брусники, грибов у нас завались. Вот прошлый год Нина Игнатьевна приезжала. Нестеренко. Тогда-то она Нечаева была, Нина Нечаева... Щупленькая такая, как воробей. А сейчас она главврачом в поликлинике. Вот диссертацию должна была защищать нынче летом. Обещалась написать, да что-то молчит. Может, не выгорело у нее с диссертацией...

— У нее выгорело, — сказал Сергей Иваныч. — Серьезная женщина. Времени в обрез дак... Вот и не написала.

Даргиничев улыбался. В приоткрытом рту его блестел благородный металл.

— Зашли бы ко мне в контору, — сказал. — Покалякали бы, есть что вспомнить. Что вспомнить — есть. Из тогдашних бедолаг нас тут всего ничего и осталось: вот Полина Васильевна да я, Петр Иваныч Устриков — тот совсем уже старичок. Выпьет рюмочку и еле можаху... Да вот еще Макар Тимофеевич Гатов. Этот еще молодцом, рыбку ловит у себя под Островенским... Я как-то из лесу ехал, замерзши, дай, думаю, заверну

к деду на огонек. Хозяйка его говорит: «Он мережи трясти ушоццы...» Да. Приходит, полный пестерь у него сигов. Вот мы их спекли на ольховом жару — пальцы облизали... Ужас до чего вкусная рыба...

— А вы-то помните Нину Игнатьевну, Степан Гаврилович? — спросила Полина Бойцова.

— Да где ему всех вас упомянуть, — хотел уберечь Сергей Иванович директора от скользкого этого разговора.

— Помню, Полина Васильевна, — сказал Даргиничев и поглядел ей в глаза своим прямым, немигающим взглядом. — Как не помнить.

— Дочка у нее. Сорок третьего года рождения. В Свердловске она родилась. Нина там поступила учиться в медицинский, и работать пришлось, да еще с малым дитем. Это в войну-то. Пришлось ей, бедной, помыкаться. Рассказывала она — это целый роман. Ну, правда, не жаловалась. Характер у нее легкий. Другие начнут свои горести да болести расписывать, а эта все принимает как есть. Серьезно к жизни относится, манны небесной не ждет. Муж у нее был летчик, в больших каких-то чинах, полковник, что ли, — Нестеренко... После войны он разбился, задание выполнял. Хватила она горяшка. Хорошим людям редко когда пофартит... Ну, правда, сейчас-то она хорошо живет материально. Квартира у нее отдельная. Мы вон с Сергеем Ивановичем ездили раз в Молдавию к его сестре двоюродной, ночевали у нее. Телевизор, холодильник — все есть, гарнитур финский куплен. Живет — не нам чета, зимогорам. Дочке она кооператив купила, однокомнатную квартиру. Дочка отдельно живет. На самолетах она летает в Копенгаген да Амстердам. Как это должность-то у нее?

— Стюардесса, — с готовностью подсказал Сергей Иванович. Даргиничев внимательно слушал, лицо его не выражало особого интереса или волнения, а только доброту хорошо поработавшего, уверенного в себе человека, пришедшего с холодной улицы в теплый, семейный дружеский дом.

— Ну, а как хозяин-то твой, Полина Васильевна, — сказал Даргиничев, — лишку-то не закладывает? Он мне по телефону звонит, я уж по голосу знаю, сколько он принял. Петушком запоем.

— Только раз и было, на День лесоруба,— заерзал на стуле Сергей Иванович.

— Прямо... День лесоруба. Да они тут повод всегда найдут. Одно на уме... Хоть вы его приструните, старого дурня, Степан Гаврилович. Нельзя же ему. Ноги у него больные. Облитерирующий эндартериит... И язык-то сломишь, какие нынче болезни пошли. Это Нина Игнатьевна ему диагноз поставила. Лекарства нам высылают.

— Смотри, Сергей Иванович,— сказал Даргиничев, и не понять было, шутит директор или всерьез.— Водочку можно пить, когда ты ее сильнее, а когда она тебя пересиливать начнет, то лучше ее не трогать. А то один позор получается. Один позор...— Степан Гаврилович встал уходить. Спросил между прочим: — Адреса у вас Нины Игнатьевны нет, Полина Васильевна? Телеграмму она мне прислала, с наградой поздравила. Нужно бы поблагодарить за память, да адреса обратного нет...

— Как не быть,— заспешил Сергей Иванович.— Ну-ка, хозяйка, где он у тебя? На полке, что ли?

— Да уж сиди, найду без тебя, да и так я помню его, слава богу: улица Стрепетова, дом тринадцать, корпус три, квартира триста пятьдесят два.

Даргиничев записал себе в книжку, за руку попрощался с хозяином и с хозяйкой.

## 2

Длинная была площадь. Даргиничев высоко поднимал тяжелое древко знамени и стал уставать. Дрожь в руках появилась, и сердце заныло. Что ни говори — шестьдесят лет. Если б каждый год не подправляли в Кисловодске Степино сердце, неизвестно, что бы с ним случилось. Пот застилал глаза знаменосцу, уши будто ватой заложило — гул трибун, колонн, звук оркестров доносились до него теперь глухо, издалека.

Когда у него приняли знамя, он даже не разглядел, кому отдавал. Пошатывало Даргиничева. Выходы с площади в пыж забило толпой. Еле машину свою отыскал. Долго платком стирался. Шофер Володя совсем заскучал в людской круговерти. На первом же перекрестке он что-то сделал не так. Номер на машине был областной, чужой для автоинспекции. Лейтенант



забрал Володины документы. Володя ступал перед инспектором. Он ездил всегда по лесным дорогам, город его напугал.

Степан Гаврилович вышел из машины, возвысился над лейтенантом, как божья гроза. Велюровая шляпа была на нем, пальто серого габардина распахнуто, золото на груди.

— В чем дело? — спросил.

Лейтенант сказал, что здесь проезд запрещен, знак повешен.

— Почему не приветствуете? — Сталь прозвучала в директорском голосе. Раздался он свысока, как с трибуны, из радиорупора. — Я депутат областного Совета. Почему не приветствуете, товарищ инспектор?

Рука лейтенанта взлетела к козырьку.

— Извините, товарищ депутат.

— Предъявите ваш документ, — потребовал Даргиничев.

Вместе с лейтенантовой красной книжечкой забрал он также и Володины бумаги. Лейтенант все держал руку у козырька.

— Нате возьмите, — сказал Степа. — Занимайтесь своим делом. Можете идти.

— Слушаю, товарищ депутат, — сказал лейтенант. Опять отирал Даргиничев пот с лица.

— Вот так с ними надо, — сказал Володе, — с этими бюстителями порядка. Им только чуть-чуть поддайся — они тебя разделают под орех.

Володя счастливо сиял. Хорошо шоферу с таким хозяином. Ехали они, ехали, и толпа не кончалась, не убывала, розовые шарики летали в воздухе. Володя спрашивал у прохожих, где улица Стрелетова, но никто не знал этой улицы.

### 3

...Всю зиму Даргиничев собирался письмо написать Нине Игнатьевне Нестеренко. Но что писать? Для чего? Беспокоился Степа, и поделиться не с кем. К Макару Тимофеевичу Гатову ездил в Островенское, но тот весь в мережах своих погряз, деревенским стал дедушкой. Не советчик. О дочке думал Степан Гаврилович. Если она рождения сорок третьего года, то что же выходит? Степан откладывал на пальцах месяцы с ап-

рельской той ночи... Однажды он видел во сне, что летит в Копенгаген. Так и сказали по радио: «Следующая остановка — Копенгаген». И девушка-стюардесса при всем народе села к нему на колени, спросила: «Папа, тебе что принести, нарзану или боржому?»

Рассказать этот несусветный сон за семейным столом Степа не мог. И бумажник, в котором хранилась Нинина телеграмма, всегда носил при себе: мало ли что взбредет хозяйке на ум? Секрет появился в Степной жизни. Он думал о стюардессах. Только этого не хватало. Видел их, летал в Кисловодск. Проплывали они, как тучки в иллюминаторе. Жизнь их казалась далекой и непонятной, как город Копенгаген. И вот ведь, поди ж ты... Вдруг рядом летели с дочкой родимой? И обед она подавала... «От же, ей-богу, черт знает что...»

Степа успокаивал себя тем, что Нина могла мужа себе подхватить с ходу, в сорок втором году. Летная часть какая-нибудь стояла в Свердловске... Но это задевало, обижало его: «Не могла она так вот сразу, после меня. Не такой человек».

Во второй половине жизни круг Степных интересов, забот и мыслей обозначился четко: сплавная контора, семья и еще непременно место в президиуме, в первом ряду. Даргиничев принял как должное знаки почести, славу, в компании он любил теперь поговорить в международном масштабе, имел свою точку зрения на Китай, на войну во Вьетнаме и ближневосточный конфликт. Отношения его с миром были просты и прямы, без задних мыслей и колебаний.

Всю зиму Степа не мог решиться сесть за письмо на улицу Стрепетова. Хотелось ему иногда вырвать листок с этим адресом, кинуть в Нергу или Сяргу. И — вон из сердца. Было — былшем перосло. Когда его известили, что Первого мая обком поручает ему быть знаменосцем на демонстрации, он вдруг собрался и написал: «Уважаемая Нина Игнатьевна! Спасибо за вашу поздравительную телеграмму. Сразу не мог вас поблагодарить, не знал адреса. Адрес мне сообщила Полина Васильевна Бойцова. Оказывается, вы бывали в наших краях. Не забываете, значит. Спасибо за память. Хотелось бы повидать вас, какая вы стали. Я хорошо помню, какая вы были в сорок первом году. Прошла целая вечность. Первого мая я буду в городе, обком пар-

тии доверил мне нести знамя области на демонстрации. Если у вас найдется время и желание, можно бы встретиться, где вы назначите. Отпишите мне на сплавную контуру. С уважением к вам Степан Даргиничев».

Вскоре пришел ответ от Нины Игнатьевны...

«Слишком разно сложились наши жизни,— писала она,— и может быть, лучше нам не встречаться. Пусть все останется в памяти так, как было. В жизни ничто не происходит просто так. Все имеет свои корни, потом из них вырастают ветви. Мы не можем предвидеть последствий наших юношеских поступков, но в зрелом возрасте нам никуда от них не уйти.

В войну мне казалось,— писала Нина Игнатьевна,— что нужно отречься от жизни и только драться, жить только ненавистью и боем. Вначале вы представлялись мне врагом — человек, не участвующий в схватке с оружием в руках. И только живя рядом с вами, я поняла, что древо жизни не может быть срублено даже в годину смертельного боя. И нельзя выиграть никакую войну, если отречься от дела жизни. И ненужной станет победа, если люди разучатся любить.

Извините меня за эту доморощенную философию. Тут сказывается влияние моей дочки — она любит пофилософствовать. Наши дети совсем не такие, какими были мы.

Смотрите сами, Степан Гаврилович,— писала Нина Игнатьевна,— я вас приглашаю к себе. Хотя это может оказаться ненужным нам обоим. Мы слишком уже сложившиеся старые люди. Поздравляю вас с наступающим праздником и с заслуженной славой вашей. Не знаю, буду ли я в городе Первого мая. Если все-таки соберетесь меня навестить, предварительно позвоните...» Тут же написан был номер телефона Нины Игнатьевны Нестеренко.

Письмо пришло в апреле, когда ставили генеральную заповнь. Директор жил в Сигожно трое суток. Георгий собрался ехать к нему, прихватил в кабинете почту. Демой завернул пообедать, кинул письма на стол. Все письма были по службе с комбинатскими штемпелями, а это сверху как раз оказалось. Алевтина Петровна взяла его в руки, поглядела на свет. Никогда она этим не занималась, а тут будто кто подшепнул. На кухню ушла, конверт разорвала, прочла и первым делом сожгла поганую эту бумажку.

Степан Гаврилович вернулся со сплава веселый, все ему удавалось в этом году, как по маслу прошло. Алевтина Петровна не вышла встречать его, брякала чем-то на кухне. Только Гошкины ребятишки полезли на руки к деду. Он целовал их, чмокал, подкидывал к потолку. Алевтина Петровна схватила ребят, увела на сыновью половину.

— Хотя бы детей не касался,— кричала она на мужа.— Знаменосец нашелся. Дак вот он зачем в город. Та цену себе набивает, выпендривается, а этот и слюни распустил...

Удивила Степана Гавриловича молодая ревность в его старухе. Тридцать лет прожили... «От же, ей-богу, дурья башка, было б с чего...»

Насупись Степа и рывкнул на жену:

— Не твоего ума дело. Пей чай... Чай пей, тебе сказано. И не суйся, чего не понимаешь.

Картошку он сам себе жарил. Кипятил электрический самовар.

#### 4

По дороге в город Даргиничев завернул в рыбацкую бригаду. Ему принесли в машину лососку килограммов на восемь. С этой лосоской в руках он и вышел из машины на улице Стрепетова, у дома номер тринадцать. «От же, ей-богу,— подумал,— номер-то несчастливый...»

Земля разворочена вся была бульдозерами — хляби, болото. Нигде ни кусточка. Дощатые мостки настланы, оступись — и пропал. Дома поставлены как попало, найди тут, который из них третий корпус. Серые, голые все. Сотни окон зияют, и будто за окнами нет ничего. Нежилая какая-то местность. «От же люди живут,— думал Степа,— я бы не смог».

Плутал он в каменном этом лесу. Ребятишки ему помогли. Обступили его, глядели заворожено на Степину грудь, на Золотую звездочку.

— Дяденька, вы не космонавт? — спрашивали ребятишки.

— Да нет, куда уж,— улыбался Степа,— по возрасту не подхожу, а то бы слетал. Слетал бы.

— А за что вам дали Золотую звезду?

— В лесу я живу, — рассказывал Степа. — Лес рублю. Дом вот этот хотя и каменный, а без леса не построишь. Ни полов, ни дверей в нем не будет. И бумагу, и тетрадки, на которых вы в школе пишете, тоже из леса делают. И самолета не построишь без древесины. И вино тоже из леса гонят. Вот к празднику батьки ваши покупают вино... А я лешишко добываю. Как волк в лесу живу. Как волк. Работа разная у людей, одни в космос летают, другие лес рубят, а награда одна. Одна награда, если честно работать.

Ребятишки искали нужный Степе подъезд. Лифт поднял его до самого верху. Все возбуждение этого утра — площадь, толпа, оркестры, все неясные Степины молодые мечтанья, — все поднялось вместе с ним. Сердце в нем поднялось, горло перехватило. «И куда понесло дурака, — думал Степа, — на что понадеялся?» Он остановился у квартиры номер триста пятьдесят два, взял под мышку обернутую бумагой и перевязанную бечевой лососку, нажал на звонок...

Нина Игнатьевна изменилась, конечно, но первое, что увидел Даргиничев, это были ее глаза: зрачок в золотистом окружье. Глаза были те же, что четверть века назад, весной, на Сярге. И сразу сделалось Степе свободно, тепло.

— Здравствуйте, Нина Игнатьевна. Едва вас нашел. Спасибо, ребятишки во дворе помогли.

— Господи, да никак это Степа Даргиничев... По площади со знаменем шел такой важный, просто не подступиться... Что же не позвонил-то? Часом бы позже — и не застали меня. Я вам писала...

— Со сплава прямо, Нина Игнатьевна, — сказал Даргиничев. — Семеро суток не ночевал и в конторе не был. Почта неразобранная так и осталась лежать. Вода сей год высокая...

— Раздевайтесь, Степан Гаврилович, проходите. — Нина Игнатьевна улыбалась. Только эту улыбку и видел Даргиничев, другого старался не видеть. Хотя, конечно, схватывал, примечал. Женщина эта, совсем не старая женщина, ее квартира с низким потолком, картины, книги, сервант с хрустальной посудой, телевизор, портрет красивого полковника в летной фуражке... Жили в этом доме в достатке, всерьез, основательно жили. Даргиничев успокоился как-то. Он не любил неустройства и непорядка, когда у людей не сложился быт, раз-

дергались нервы. Он думал, что это от лености, от неумения взять себя в руки. Слабости в людях он не терпел.

Разговаривать с Ниной Игнатьевной было ему легко. Вспоминали Полину Бойцову, Клаву Матюшину, Серафиму Максимовну Лунину. Хозяйка накрывала на стол, Степан Гаврилович говорил, что было попито, а теперь приходится воздерживаться, сердце не позволяет. Нина Игнатьевна возражала, что ради такого случая можно, встречаются-то они раз в двадцать пять лет... Да и коньяк расширяет сосуды...

Они говорили о Степиной красной рыбе, о вьяльничских грибах и бруснике, которые прислала Полина Бойцова, о гриппе, который вконец измучил весь город нынче зимой, и о чем-то еще, постороннем, не важном для них. Нина Игнатьевна жаловалась на низкие потолки в этих новых квартирах. Степан Гаврилович жаловался на рыбоохрану, которая не дает рыбакам жизни, хотя рыбы полным-полно — куда ей деваться? Они улыбались, в большом окне голубело майское небо без облаков. Полковник глядел на них со стены и будто прищуривался.

— Мой муж,— сказала Нина Игнатьевна, перехватив быстрый Степин взгляд в сторону полковника.— Наш папа... Улетел однажды и не вернулся. Он на самых летал быстроходных, на сверхзвуковых. Остались мы с дочкой без папы — две казанские сироты...

Степан Гаврилович не нашел, что сказать на это. Нечего было тут говорить. Легкий разговор о грибах, бруснике и вирусном гриппе закончился. Лицо Нины Игнатьевны погасло, сделалось незнакомым Даргиничеву.

— Дочка его любила,— сказала Нина Игнатьевна.— И страсть к этой авиации он ей внушил. Он был фанатик. Не мог жить без неба. И летать-то она пошла в память по Нестеренко. Чтобы к небу поближе. Стискардесса она у меня. Слово какое-то неприличное, до того его затаскали. Какое уж тут небо? Она его и не видит — завтраки да обеды пассажирам подает.

— Да... тоже тяжелая работенка,— сказал Даргиничев.

— Папу она любила,— сказала Нина Игнатьевна,— а вот похожа она на тебя... Нос у нее твой, Степа, и губы. В ней заложено какое-то безудержное своеволие. Что-то даргиничевское — бешеная она. Трудно мне с

ней бывает, Степа, с дочкой твоей... Был сыночек у нас... На Дальнем Востоке мы жили, в Тернее. Энцефалитный клещ укусил. Умер мальчишка...

Слово «Терней» показалось знакомым Даргиничеву, а другого он будто бы и не слышал. В сердце вдруг появилась противная боль, и сумеречно стало в глазах. С ним это раньше бывало, но последние годы не повторялось: в Кисловодске его подлечили, режим Степан Гаврилович соблюдал и дома утром делал зарядку, не пил, не курил. Он боялся сердечной боли. Нынче все умирали от сердца...

— Что с тобой, Степа? Ты серый какой-то стал.

— Сердце прихватило. Пройдет, ничего...

— Приляг на диван, сейчас тебе принесу валидолу. Могу укол сделать, кордиамин ввести. Я же все-таки доктор. Даже кандидат медицинских наук...

— Ничего, ничего, — сказал Степа. — В моем возрасте это нормально. Отпустит сейчас, — храбрился Даргиничев. Поднял рюмку с коньяком: — Ваше здоровье, Нина Игнатьевна... Ну вот отпустило...

— Надо остерегаться отрицательных эмоций, — сказала хозяйка дома. — Так, что ли, медицина-то учит? Наверно, не нужно было встречаться. А? Ведь целая жизнь прошла... Я когда писала тебе письмо, мной владею какое-то двойственное чувство. Я знала, лучше нам не встречаться. И в то же время хотелось тебя увидеть. Да, да, хотелось. В жизни больше такого не повторилось, как в сорок втором году. Это, кажется, называется первой любовью. Мне хотелось еще раз взглянуть на нее. Притронуться. Всегда хотелось, все годы — и чем ближе к старости, тем сильнее. Я очень любила моего мужа. Но это совсем другое...

— Я не получил твоего письма, Нина Игнатьевна, — сказал Даргиничев. — Почему ты раньше не написала о дочке? Я ведь не знал...

— И она тоже не знала двадцать лет. В Афониной Горе ей рассказали, у Поли Бойцовой мы гостили. Ну, слушок и пеполз — Даргиничева дочка. Там ведь, ты знаешь, тесно люди живут. Стены у домов тонкие... Кстати, вот ты мне скажи, товарищ Герой Труда, почему в этих ваших лесных поселках живут, как на полустанках — до следующего поезда? Жизнь проходит у людей — ни кола у них, ни двора, грязь по уши, домишки поставлены кое-как, ветром насквозь продувает.

Даже и улиц-то нет, сараюшки всякие, бараки, хибары лепятся друг к дружке как попало. Ну, добро бы помыкаться так год, два, а тут ведь десятилетия... Ты бы послушал, как там люди кроют своего директора. «Он, — говорят, — о плане заботится, до людей ему дела нет. На горбу нашем, — говорят, — славу себе зарабатывает, ордена получает...»

— Слышал я все это, знаю, Нина Игнатьевна, — сказал Даргиничев, — насчет начальства любят языки почесать. Лесу рубить не осталось в Афониной Горе, следки добираем. Нет смысла вкладывать средства в жилищное строительство.

— Вот видишь, нет смысла. А есть ли смысл людям мыкаться всю жизнь по временкам? Во имя чего?.. Чтобы оставить после себя на месте сосновых боров пустыри?.. Это я тебе дочкины аргументы выкладываю. У нас с ней иногда целые дискуссии разворачиваются. Я защищаю тебя, Степан Гаврилович, трудненько мне приходится. Совсем разошлись мы с дочкой после той поездки на Вальнигу. Даже разъехались. Порознь живем. Ну, правда, теперь будто опять подружились. На новой основе, с полным соблюдением суверенных прав.

— Ну и что же она, совсем в одиночку? — спросил Даргиничев.

— Не знаю, Степан Гаврилович. Этого я ничего не знаю. Денег она у меня не берет. Сама достаточно зарабатывает. Много видела, много думает, знает. Жизни не боится, смело живет, а вот счастлива ли она — я не берусь судить... Она тобой очень интересуется, Степан Гаврилович. Пристально вглядывается в тебя. Пока что издали вглядывается, а может, и зайвится к тебе со своими вопросами. Нелегкие это вопросы, ты учти. Бывало, с Нестеренко, девчонкой еще, она целые философские споры затевала — о смысле жизни...

Они поглядели на полковника, он ответил им прямым прищуренным дальнзорким взглядом. Взгляд не останавливался на них, уходил за окошко, в небо.

— Вы мне дайте Ирин адрес, Нина Игнатьевна, — сказал Даргиничев.

— А надо ли? Твой сын Георгий знает этот адрес.

— Да ну? Откуда?

Новости сыпались сегодня на Даргиничева, одна другой несусветней. Даже покачнуло его, губы выворотились. Уж кто-кто, но чтобы Гошка, чтобы у Гошки



была какая-то тайна, какая-то отдельная от отцовской жизнь... Этого Степа не мог осмыслить.

— Он у тебя хороший, Георгий,— говорила Нина Игнатьевна.— Цельная, чистая личность. Только уж больно застенчивый, заторможенный какой-то. В тот раз, когда мы были с дочкой в Афоной Горе, и Георгий туда приехал. Разговор у них состоялся, уж не знаю о чем. Он ей тоже понравился, Гошка... Она говорит, таких нынче и не бывает.

Они посидели еще. Говорить стало трудно. Степан Гаврилович поднялся уходить.

— К вечеру надо на Вьяльнигу попасть. Да еще к Ивану Николаевичу Астахову обещался заехать. Помните, управляющий трестом был в сорок первом году? Не повезло ему — четыре инфаркта... Всего вам наилучшего, Нина Игнатьевна. Главное, чтобы здоровье не подкачало. Дочке самый сердечный привет от меня.

— Будьте счастливы, Степан Гаврилович. Уж не взыщите, что огорчила вас. Но что поделать?

Даргиничев попрощался с Ниной Игнатьевной за руку. Когда спускался на лифте, противно дрожали ноги, плыло в глазах. Вышел из подъезда, несколько раз глубоко вздохнул.

Большой самолет ТУ-104 низко бесшумно проскользил над крышами, а следом рев навалился, все небо застил, даже стало темно. Даргиничев поднял лицо и глядел, пока самолет не скрылся. Грохот ударил в землю, растаял, но Степа все слышал, слышал его...

## РЕКИ БОЛЬШИЕ, РЕЧКИ МАЛЕНЬКИЕ



На дворе лесозавода выстроена шеренга машин. На каждой кабине написано: «Лесовоз». Лейтенант с улыбочивым юным лицом ведет техосмотр. Водители выкатывают свои лесовозы из ряда, берут разгон, нажимают на тормоза. Лесовозы пыхтят, приседают на пятки.

Стоит на виду директор, в ватнике, в шапке с ушами, в больших кожаных сапогах, — все кадры завода ему по грудь.

В чумазом комбинезоне, широколицый, скуластый, с вычерченными глазницами, подходит к директору рабочий, во взгляде его укоризна, но и вина, и сыновняя робость. Молчит. Только глаза говорят, страдают. Лицо директора высоко, недоступно. Директор тоже молчит, начинать разговор не ему.

— Что ли уж, — говорит комбинезон, — я последний пьяница? Сразу приказ на меня отдали...

— А ты что же думаешь, что ты первый пьяница? Комбинезон смешался, ушел.

Директор ораторствует — для всех, кто слышит его. Все слышат. Такой его голос.

— В наше время мы работали — один фельдшер был на всю округу. Да идти надо было к нему километров за сорок пешком. А теперь, — директор позволяет себе несколько образных словосочетаний, — теперь кто-нибудь чихнет или за сердце схватился — уже на машине его везти в поликлинику. Уже день пропал для работы. Разбаловались...

Директор исполняет роль старозаветного строгого и рачительного хозяина дела. Он легко входит в роль.

Но вот сел в машину — и весь в улыбке. Выйти из роли так же нетрудно ему, как и войти...

Сидим с директором в столовке лесозавода, едим яичницу-глазунью. Вечером столовка превратится в кафе «Березка».

— Какие у тебя планы? — спрашивает директор.

— Да, собственно, никаких планов нет, просто надо побольше увидеть, в редакции меня просили о сплаве написать. А у вас какие планы, Степан Гаврилович?

— Я вверх поеду, в Афонину Гору. Пьяниц гонять. Пьяниц надо погонять. — Директор смеется.

— Меня возьмете с собой?

— Пожалуйста.

Мы ехали с директором с пригорка на пригорок. Машина бежала легко. Повернули на боковую дорогу, останвились у моста через Шимксу. Под мостом сидели мужики с баграми. Запонец-перебор еще не поставили поперек реки, она была пришвартована к берегу. Начальник дистанции Елкин слегка покачивался на мосту и молчал на директорские упреки. Директор попрекал его теми же словами, что в прошлом году, в позапрошлом, и десять лет назад, и пятнадцать. Пенная, будто намыленная, бурая река торопилась вниз под мостом...

Сеялся дождь, и лесоучасток Афонина Гора по уши утонул в хлябях. В поселке не было улиц, дома в нем стояли боком, спиной друг к другу, подобно толпе у доски по обмену квартир.

Дома надолго увязли в болоте, к ним притулились хлева, сортиры, сараи, поленицы дров. Лесной поселок строился с расчетом на малое время жизни — пока есть что рубить, пока есть что кидать в бегущую мимо реку. Срубить, сплавить — и уйти.

Директор, сидя в конторе лесоучастка, кричал в телефонную трубку так, что слышала вся округа:

— Ты как разговариваешь в рабочее время? Совсем уже распустились. Ты думаешь, не найдется управы на вас? Найдется, достанем. Ты слышишь меня, Егор Иваныч? Как ты смеешь пьяный подходить к телефону? А ну положи трубку! Я вот сейчас оформлю на тебя документы!.. За мелкое хулиганство! Пойдешь на пятнадцать суток. Положи трубку, я тебе говорю! Девушка, — громыхал директор на весь лесопункт, — разъеди-

ните меня с Надумовым и не соединяйте. Я запрещаю тебе, Надумов, разговаривать по служебному телефону!

Придя в машину, директор улыбался:

— Надумов на Кондозере начальник участка. Ма-зурик, горький пьяница. Ведомости для оплаты подаст — всех старух и младенцев впишет. Все мертвые души соберет... Дороги туда нет сейчас к ним... Бывало, на лошади ездил, на Сером. А то и пешком. Некем заменить Надумова, нет людей...

Снизу от реки пришли пятеро молодых еще, загорелых, с царапинами и синяками на лицах, мужиков в бумажных свитерах, в сапогах с завернутыми голенищами, в беретах. Они, скромно улыбаясь, сознавая неосновательность своих претензий, попеняли директору, что нет в столовой картошки, даже к треске подают вермишель.

— К Первому мая,— сказал директор,— чтобы закончили срывку. Тридцатого я за вами машину пришлю. На праздники в белых брюках гулять будете, как тузы. В белых брюках будете гулять...

Постоянные кадры разинули в улыбке свои зубатые рты. Директор умел разговаривать с ними.

Мы ехали дальше, директор рассказывал о былом. Теперь каждый день его жизни был повторением былого, в каждом слове его, в каждой версте дороги, в каждом встречном лице, в каждом мостке он встречался с собою былым, узнавал себя — тут запечатлелась вся его жизнь. И некуда двигаться дальше, нет времени новое начинать. Каждый день жизни теперь уплотнился, спрессовался, включив в себя прошлое; он имел под собою фундамент — сорок пять отработанных лет. Недостатки, огрехи жизни и производства уже не смущали и не томили Даргиничева; плотины держали в реках воду, лес был напилен зимой, связан в штабеля, запони увязаны тросами-лежнями, кадровые рабочие имели дома, техника на ходу; ордена хранились до праздника на лацкане нового директорского костюма...

— ...Вот, помню, еду лет двадцать назад,— рассказывает директор,— в аккурат у этого мостка на бровке дед лежит. Под голову багор положил и спит. Я его взял в охапку да от воды-то подальше несу. Он проснулся, кричит: «Где багор?» За багор первым делом

схватился. Восемьдесят четыре года деду. Сивый совсем...

Директор вдруг велит шоферу остановиться. Сбегает к реке. Через реку протянута узкая запонь-перебор. Скинутый выше лес сгрудился, образовался пыж. Лесу надо плыть дальше, но держит его перебор... Снять забыли. Директор качает головой, но не гневается, не хмурится: и это бывало за сорок-то лет.

В конторе сплава участка стчитывает начальника, Николая Иваныча, вразумляет, как половчее снять перебор. Кому-то читает нотацию в телефонную трубку:

— Спокойно живете, Петр Иваныч, пуза распустили. Пуза у вас болтаются поверх ремня. Это мне можно позволить, мне седьмой десяток пошел. А я и то вон три ночи не спавши, по берегу бегал. На два миллиона у меня наплавных сооружений на реке, а ледоход тяжелый сей год. Спокойно живете, говорю, нервам большую профилактику делаете. В шляпах по берегу гуляете, как тузы.

В конторе сплава участка усердствует дед Степан Федорович Орлов. На выголившемся его черепе остался один хохолок, рот запал, вылезла вперед голая нижняя челюсть. Жизнь оголила деда, растительность сошла, кожа истончилась, сквозь нее проглядывает, сквозит кость. Смазки осталось немного во втулках костяного дедова механизма, суставы сухо хрустят, но механизм подвижен. Дед хватает трубку, принимает сводку, записывает ее в ведомость. Деду восемьдесят два года. Два положенных ему по пенсионному статусу месяца в каждом году он предается службе...

Должность его называют — «ночной директор».

Утром директор отчитывал по телефону провинившегося вчера начальника кондозерского сплава участка Егора Иваныча.

— Нам с тобой, Егор Иваныч, — говорил он директорским своим, в последней, высшей инстанции тоном, — вверено Советской властью руководить хозяйством и управлять людьми. Мне в большей степени, тебе — в меньшей. Ты меня понял, Егор Иваныч? Я говорю, что мы несем с тобой ответственность перед государством за вверенные нам участки. Ты старый работник. У тебя же есть ум. Хороший ум, Егор Иваныч. Я даже не побоюсь сказать, выдающийся ум. Как же ты можешь себе позволять при людях в рабочее время

нести в телефон свою пьяную ахинею? Если еще повторится такое твое поведение, я соберу свидетельские показания — свидетели есть, люди слышали, — оформлю на тебя документ в милиции, и ты пойдешь на десять суток уборные чистить. Я говорю с тобой серьезно, Егор Иванович. Если ты не сделаешь нужные выводы...

Поговорив с Егором Ивановичем, директор опять улыбался.

— Нужно по курозерскому начальству походить. Пойдем, я тебя познакомлю, — сказал мне директор.

Мы пошли, директор стучал по деревянному тротуару железными подковами сапог. Все большое село Курозеро наполнилось стуком подков, каблучков: курозерский люд шел на службу. Шел на службу директор здешнего леспромхоза — в зеленой велюровой шляпе, в нейлоновом полупальто, в сапогах. Курозерский леспромхоз рубит лес, сплавляет его Вьяльничская сплавоконтора. Мой вожатый, директор сплавной конторы, был в стеганом замасленном ватнике, в большой зимней шапке с ушами.

Мы пришли в кабинет к директору леспромхоза, директор сел за письменный стол, прочно уставил на столе локти. Мы расположились против здешнего директора. Первым заговорил мой директор. В его речах почти не было пауз.

— ...Ко мне приехали с Украины сезонники, я каждого поодиночке пригласил к себе побеседовать, поглядел, что за публика. Которые с места на место летают, работы полегче ищут, а рубля подлиннее, этих я сразу же от порога поворотил... Автобус им дал и на станцию свез с почетом. А тех, что в колхозах работают, отправил на лесозаготовки... И лес им отгрузил на Украину, в адреса колхозов. И ничего, работают, никто не бежит. А с этой публикой только себе бы на шею мороку лишнюю взял...

— Да, да, — сказал курозерский директор, — бегут, не держатся. Да еще скандалят, транспорта требуют.

— А зачем бежать? — сказал директор сплавной конторы. — Я сам их вывез, с почетом, на автобусе. Без всякого скандала, скатертью дорожка.

После директора леспромхоза мы посетили начальника курозерского отделения милиции. Мой директор сказал ему, что надо бы наказать Егора Надумова, мазурика и хулигана. Хотя бы суток на десять. Пусть

будет для всех в Кондозере пример. Начальник милиции возразил: да, знает проделки Надумова, но нужны свидетельские показания. Директор заверил начальника, что за показаниями дело не станет.

Начальник милиции был сед, однако на погонах его всего по четыре маленькие звездочки. Понимая несоответствие своих седин званию капитана, он, улыбаясь печально и смущенно, сказал:

— Выше уже не присвоят: пятьдесят третий год, пора на пенсию — потолок.

Разговор с капитаном постепенно склонился в сторону красной рыбы. Во всей здешней округе витает видение этой рыбы. Тут живет золотая рыбка. Кто-то ее изловил в свой невод. Говорили о лососе и форели. В Вяльниге она еще есть, и в Шондеге, и в Кыжне, и в Талдоме, и в речку Пить подымается нереститься. Кто-то колет ее острогой, кто-то ловит мережей. Поди узнай кто. Всем хочется красной рыбы.

— У вас в запони лесу много, — посетовал капитан, — вся река забита пыжом. Лососке не пройти будет вверх.

— А чего не пройти? — улыбался директор. — Метра два ей останется на дне, и хватит. Пройдет.

На обратной дороге директор говорил о прошлом. Его прошлое пролегло по этой дороге, по этим рекам, речкам, лесам. Леса еще не очнулись после зимы. Да и лесами они представлялись лишь издали. Вблизи оказывались порослью маломерной березы, осины, ели.

— Рубить-то есть еще что, Степан Гаврилович? — спросил я директора.

— Мало, — признался директор, — совсем кот заплакал.

Мы повернули к мосту через реку Шимоксу. Тут уже поставили запонь, мужики шпыняли баграми прибывающий лес. На берегу сколотили будку, над трубой подымался дымок. Начальник дистанции Елкин твердо стоял на ногах, качался. Директор разговаривал с ним в этот раз без укора. Елкин молчал.

Мы ехали третьи сутки, я чувствовал тяжесть, которая давила директору на загривок: реки, речки, высокая, быстрая их вода, плывущий лес, переборы, запони, механизмы; мир директора был исполнен движения, тяжести, силы, нажима.

Шофер включил приемник, радио что-то такое запело о ночных поездах, о вокзалах и сигаретном дыме. Странно было слушать это вальжное пенье, томление духа. Какие поезда, какие вокзалы, какие сигареты? Весь этот край — его малые речки, большие реки, большой начальник Степан Гаврилович и маленькие начальники: Петр Иванович, Василий Иванович, Николай Иванович, Егор Иванович, чумазные водители механизмов, сплавщики с баграми, с побитыми, поцарапанными на срывке леса руками — все тут жило оседло. Никого не томила романтическая, беспредметная мечта о ночных вокзалах...

— Вот подожди, — сказал директор, — на пенсию выйду, местечко подыщем такое, где комаров поменьше. Я комаров не люблю. Стол на полянке поставим, горилкой запасемся и сядем писать роман. Я рассказывать буду, как мы тут работали, а ты пиши. Местечко мы облюбруем себе — дай боже...

Шофер молоденький у директора сплавконторы. Быстро ехать по новой шоссейке было в радость ему. Не слишком быстро — это директор не любил, жалел мотор, — но так километров под восемьдесят.

Шоссе, как дамба, рассекло, разгородило низкий лес и болото на две равные половины. Придорожные елки, сосенки стояли в воде по колено. Деревья исчахли. Уже оплел их сивый лишайник — погребальное украшение. Дамба остановила воду, нарушила водосток. Жизнь воды в движении. Остановили движение — вода померла. И лес помирал у дороги.

— От же, ей-богу, — сказал директор, — дерево на дровишки кто-нибудь срубит у нас в лесу — его засудят за самовольную порубку. А шоссе построили без дренажных труб, сэкономили государственную копейку... Что тысячи кубометров леса сгубили — виноватого не найдешь... В газете пишут, что это мы, лесная промышленность, лес изводим, природу губим. А в город приедешь, посмотришь, сколько сжигается лесу, сколько его гниет на стройках — никто не считает. Это пока дерево на корню, до него вроде всем есть дело, а свалят, разрежут — и трын-трава. Нас подгоняют: давай-давай... Мы нарубим, отгрузим, а потребитель не знает, как распорядиться путем нашим лесом.

Заготовителю леса положено лес вырубать, он его вырубает без колебаний и без рефлексий, сколько



нужно по плану, да еще и сверх плана. Но он тоже ищет ответа на некий вопрос. Лес вопрошает: «Зачем меня рубят и рубят под корень, с мала и до велика? Что останется после меня?» Вопрос все слышнее. Он слышится даже и лесорубу. Нужно найти ответ...

Директор глядел в окошко на голый, сиротский, выморочный лес, будто внимая его немому вопросу. И ответил, только на свой, лесорубский лад:

— Завод переводим на лиственные породы. Осины да березы полно. Только не умеем мы ее довести до дела. Избаловались на сосне. Вон итальянцы из осины бумагу делают высшей кондиции, а у нас она на корню гибнет... Ну, кое-чему и мы научились. На завод приедем — посмотришь. К нам теперь за наукой едут. Кое-что есть...

Мы въехали в заводские ворота и сразу, без роздыху, без обеда, пошли по устеленному корой дворищу. Повсюду громоздились штабеля осиновых и березовых бревен, плыл дымок над высокой кирпичной трубой. Блестела на солнце река. Пахло прелыми, забродившими опилками. У работающих на штабелях парней были свежие, загорелые, не фабричные — сельские лица.

— Вот это катушечный брус, — объяснил директор, — береза. Полезный выход — двенадцать процентов. Нетоварную березу мы пускаем на целлюлозный баланс. Щепу продаем комбинату древесностружечной плитки. Опилки отправляем в Харьков на меховую фабрику, как дубильное средство. Они еще лучше на кожу действуют, чем дубовые опилки... Здесь осину пилим на заливную клепку — фабрикат для бочкотары. Чурку осиновую отгружаем на целлюлозу в Финляндию...

Мы вышли на берег, сели на осиновую чурку. Солнышко пригревало.

— Да-а, — директор покачал головой, прицокнул языком, — рассказать кому — ведь не поверят, как мы работали тут. Целый роман написать можно. Целый роман.

# ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ



## РЫБА В МЕРЕЖКАХ

На Первое мая гуляли три дня, а там подошел престольный Егорий, стопили баньки, спекли пирогов с красной рыбой, и тут как раз День Победы. Гуляли дома с хозяйками и родней, а по утрам с туманно-приголубыми глазами спускались к своим мотоёлам, причаленным возле домов, пускали дизеля и плыли каналом в Кундорожь, тихую речку, — на правом ее берегу помещался в амбаре приемщик рыбы с весами, в просторной избе жил сторож, которого звали дедом. У деда был стол для густой каждодневной ухи, над русской печью томились распятые судаки и щуки. В передней горнице починяли сети, на стенах висели плакаты, а также график добычи рыбы. Согласно графику во втором квартале звену вменялось добыть и сдать государству сорок центнеров красной рыбы — лосося и форели, наряду с лещом, язем и плотвой.

После донной, зимней, заснулой жизни красная рыба шла в берега на жировку, а там невода-ставники раскинули крылья на километры. Лососи-тигры бились в рыбацких руках. Рыбакам причиталась пайковая доля с улова. На мотоёлах дымились печурки-жаровни, варилась уха. Нежно-сладкое, жирное, красное рыбье мясо смиряло рыбацьи души, замасливались глаза...

На правом берегу Кундоружи хранило снасти, гуляло, проводило собрания звено Голохвастова, на левом же берегу — звено Ладьина. В деревне Пялье все жили рядом, изба к избе вдоль канала, и лодки стояли борт в борт. Но Кундорожь разделяла бригаду; звено Голохвастова пело на своем берегу и выясняло отноше-

ния, — звеньевой выходил виноватым перед Аркадием, Колей и Генкой. Но больше всех виноват был рыбный инспектор, а также некто еще, не видимый с берега, там, высоко.

Голохвастовское звено подступало ко мне, приезжему человеку:

— Вот ты скажи, скажи, почему это так? Почему рыбаку не дают заработать? Ведь мы хотим же как лучше для государства. И для себя... Почему председатель колхоза Урезов пишет в плане, чтоб сорок центнеров лосося, а нам не дадут?.. Какой-то вредитель, наверное, затесался... Почему, ты скажи... Ведь лосося, если в ней десять килограмм, все равно уже сдохнет. Уже переспелая рыба.

Голохвастовцы кидали наземь свои кепари. Звеньевой Голохвастов молчал и вздыхал, сучил и увязывал сети. Он был огромен, багровонос, толстопал, в высоких кожаных сапогах на железе. Лицо его было такого цвета, как красное рыбье мясо. Он был смурен после Первого мая и Егория, щетинист, как крупный озерный окунь, голубоглаз, как все мужчины на побережье...

На левом берегу звено Ладина если цело, то стройно и зычно:

Рревела буря, гром гремел,  
Во мраке молнии блистали...

Звено играло на бильярде в избе, где когда-то смолит сети. Ныне сети смолить не надо — капрон. Избу помыли, поставили бильярдный стол, но чадный смоляной дух сохранился, и потолок в избе черен, как в бане с каменкой. Запевалой на левом берегу — Виктор Высоцкий, низкого роста мужик, который будто бы и высокий, крупный детина, настолько он соразмерен, плечист и лобаст.

Виктор закончил заочно школу рабселькоров при районной газете «Рыбацкая вахта», он стал выделяться среди рыбаков своей основательностью и сознанием. Его поставили с осени бригадиром — кого же еще? Но зимой рыбаки обижались на нового бригадира: он подал в газету заметку, что будто все в рыбацкой бригаде овладели второй профессией плотника. Рабселькор ничего не соврал: конечно, Аркадий, и Генка, и Коля, и Павел, и Кеша, и Голохвастов, и Серега Ладин — все сами рубили избы. Но в зимнее время, свободное от ры-

балки, они сыскали бы дела своим топорам. Председатель Урезов, прочтя в газете заметку, нарядил бригаду строить причал в Гумборице. Тамошние рыбаки смеялись над пяльинскими работягами... Что бригадир написал на бумаге пером, бригаде пришлось отстучать топорами.

На левом берегу Кундорожи звено степеннее, чем на правом. Никто не звонит без толку, не шлепает кепкой оземь, звено дает сверх плана леца, судака и плотву, в апреле взято было изрядно корюшки. А что касается красной рыбы, то государству видней, сколько ее взять, а сколько оставить, — чего же молоть языками? Лососины пока что хватает на уху и на пироги...

На Первое мая и на Егория звено Ладьина ходило смотреть ставники, хотя сильно клонило в дрему с похмелья и вертело на озере. Пошло оно и Девятого мая. Мотоёла, стуча своим дизелем, развалила надвое Кундорожь. Серега Ладьин и Павел Ладьин — в Пялье каждый четвертый двор — Ладьины — и еще незнакомые мне рыбаки сидели в корме. Я вышел на дебаркадер охотничьей базы и помахал рыбакам. Они приглушили дизель и крикнули мне:

— Пошли с нами в озеро!

Но я помотал головой:

— Не пойду.

...После тихой Кундорожи и чуть вспененной ветром губы озеро встретит ржавой на солнце волной. Короткая, тупоносая и бокастая ёла будет нырять и вскидываться. Она не боится озерной погоды, умещается меж волнами. Ни гвоздем, ни кнехтом, ни зазубриной не нарушены борта мотоёлы. Можно ее всю огладить, как нерпу, ладошку не занозишь. Ёла обтерта сетями до лоска. Ёлы строят на судоверфи колхоза «Рыбак», на них сцентрированы дизеля, тарыхтят на всхолмленном ветрами озере.

Горизонт на озере — океанский, баллы здешних штормов рыбаки не считают...

Серега Ладьин кинет якорь. Подтянут к борту мотоёлы вихляющиеся на буксире лодки с деревянными уключинами. Попрыгают в них, возьмутся за весла, закружат меж колев и толстых проволок, натянутых над водой. Будут взлетать и падать, хвататься за проволоки, вытягивать невод, вываливать из его карманов рыбу. Павлуша Ладьин затопит печурку в корме

мотоёлы, черпнет ведром озерной воды, накрошит луку, начистит картошки, подсыплет перцу в ведро и, конечно, лаврового листу. Он распластает ножом большую лососку или форель. Будет уха.

К охотничьей базе подваливает на лодке с трех- сильным мотором Володя Ладьян, мужик средних лет, большеносый и загорелый, в изжелта-оранжевой робе, левобережный рыбак.

— Хотите со мной сходить посмотреть мережи в губе? — говорит мне Володя. — И сети у меня в Чаичьих озерках поставлены. Язь уже отнерестился. Теперь лещу бы пора идти. Сей год раньше он пойдет на неделю против обычного. Ранняя сей год весна. Плотва уж, поди, заиграла... Я сестру забросил в Гумборицу, — говорит Володя и улыбается. — Они у нас со свояком моим на Первое мая гостили... Ну, и у них там тоже сели за стол. Я полстакана спирту выпил, на разговор потянуло. Думаю, дай заеду на базу — если егеря нет, то хоть кто-нибудь должен... Если хотите, пойдете в губу. Одному-то мне вроде как в праздник скучно.

— Идем, — говорю я Володе.

...Я приезжаю по веснам на Кундорожскую охотбаву, хотя в губе охоту не разрешают: здесь утиный заказник, гнездовья. Тихо. Только проносятся с шелестом стаи скворцов. Скворечников всем не хватило. А больше жить — где? В корявом береговом ивняке нет дупел. Кому достались скворчинные люксы? Тысячи бобылей садятся на провода, не справляют свадеб и новоселий. Слетают на землю за червяками, скворчат. Негде жить, но зато много рыбы, а стало быть, много и мух, червяков. Скворцы остаются все лето бобыльничать.

И егерь на базе — бобыль. И рыбаки оставляют в Пялье своих хозяек, бобыльничают в мужском государстве на Кундорожки! И я приезжаю сюда по веснам, летом и в осень. Осенью тут гремит ружейная канонада. В мае тихо.

Только плещут хвостами язи. Крячут утки. Для продолжения жизни нужна тишина... Простонет старый сруб дебаркадера — значит, прошел по каналу лихтер, пустил волну.

..Тухтит моторчик, везет нашу лодку. На буксире рыскает носом лодка поменьше.

Над устьем Кундерожи, на горбушке земли, в траве, в окружье кустов ивняка горит костер, огонь обесцвечен солнцем, дым вровень с кустами, а выше его съело ветром. Три парня встают над костром и пристально, дерзко глядят нам в глаза. Их лодка втянута в берег. Они стоят на кряже молчком, неприятельским станом. Волчий, дерзостный блеск в их глазах. И робость: будто мы их застали на деле, на озорстве. Хотя кругом только ветер, вода, не видно чьей-либо собственности, даже копейки сена.

— Сонгостроевские архаровцы приехали наши мережи трясти, — говорит мне Володя Ладьин...

Выходим в губу. Тростники здесь летом сжали серпами пяльинские женщины. Мужики свезли тресту на лодках к усадьбам, сметали в стога. В зиму скормили коровам. Треста подыметя снова к июлю. В мае губа открыта. Фарватер означен шестами, на них надеты ящички, чтобы видеть и править издалека. Серые крачки застыло сидят на кольях.

— Вон видите, у меня здесь сорок восемь парочек поставлено, — говорит Володя, — и в Чайчьих озерах двенадцать сетей.

Он глушит мотор и скидывает якорь. Перелезаем в меньшую лодку. Берем пропёшки-шесты. Володя в носу, я в корме.

— Надо на ветер держать, — говорит мне Володя. Держу.

Мережи поставлены вдоль протоки. Колья как вешки. Коротким рывком Володя выдергивает крайний кол из донного ила. К нему привязаны две мережки — парочка.

— Никто не хочет теперь с этим возиться, — говорит Володя Ладьин. — Мережи наладить — нужно всю зиму сидеть над ними. А прежде, еще до войны, отец хорошо брал мережами в губе леща. И мы все трое приноровились: мы с Павлом и наша сестра. Мы деньденской, бывало, рыбачим втроем... Сестра теперь замужем в Гумборице. А с Павлом просто беда. Каждый вечер его выношу из мотоёлы. Он так-то смирный, не позволяет себе ничего... Жена ему даст с собой в озеро молока, а сн молоко пополам с водкой... Набаловались совсем... — Володя смеется. Трясет мережу. Она округ-

ла, суставчата и длинна. Внутри ее горловины-ловушки трепещется рыба: язи, густера, плотицы. Вот плюхнул на днище лодки белесый лещ-альбинос. А следом за ним — черноспинный, блестящий тускло, как лемех.

— Вот видите, — объясняет Володя, — этот белый и мелкий — у нас его называют густерник. У него ход бывает, когда густера идет. А этот — плотичник. Он вместе с плотвой нерестится. Порода вроде одна, а тоже есть разница. Самый поздний лещ — то черемушник. Он, как черемуха зацветает, так и заиграет.

Володя трясет свои парочки. Я стою с пропешкой в корме, правлю лодку носом на ветер.

— Я перед войной на тральщике плавал матросом, — говорит Володя Ладьин. — На «Щуке». В Лиепае у нас база. Когда война началась, мы в море были. Тральщик немцы захватили, а команду интернировали. Сначала в концлагерь всех посадили... На тральщике боцманом у нас был латыш. Яковом звали. Хороший мужик. Вместе со мной он сидел в концлагере. Потом латышей стали домой отпускать помаленьку. Тоже кому-то работать надо в сельском хозяйстве. Яйца, масло, бекон немцы брали на хуторах у хозяев. И латышей отпускали домой, которые в плен попали. Яков тоже ушел.

Ну, а потом и нашего брата немцы стали в латышские хозяйства отдавать, в обмен на продукты. Разные там хозяйства были — богатые, средние и победней. И люди, конечно, разные. За меня Яков с отцом хлопотали... И брат еще был у Якова, младший... Стал я у них работать. Хорошие люди. Не то что я там работником был, а как бы одной семьей мы жили. Я с сельским хозяйством-то незнаком, сроду рыбак... И там тоже стал помаленьку рыбачить. Моторный бот старенький отремонтировали мы с Яковом, сети я связал. По-латышски выучился свободно болтать. С Яковом мы ходили на пару в море, брали салаку, треску. Прожить было можно. А немцы редко когда заглядывали..).

Володя вываливает рыбу в лодку, я кидаю ее в ящик-садок. Попадают крупночешуйные, будто медом намазанные караси, уколёт игольчатым плавником судачок, осклизнет в руках налим, ощерится щучка. Володя выдернет кол, тряхнет мережу и снова скинет ее, натянет и вгонит на место вешку. Как будто все просто, как будто с лукошком сходить по грибы.

Я тоже хватаюсь за кол, тяну и трясусь. Лодка сразу виляет, бежит из-под ног. Сеть мокра, тяжела, клубится.

— Вы лодку держите на ветер, — говорит Володя, — а я управлюсь. Дело вроде оно и простое, голова-то свободна, только руками шуруй. С годами навык приходит... А кто посторонний возьмется, все перепутает, целый день разбираешь... Вон эти из Сонгостроя... Они же и рыбы-то взять не смогут, а только нагадят. Зачем? Непонятно... Когда мы с отцом рыбачили до войны, такого у нас не бывало. Мы и понятия не имели, чтобы снасть караулить...

Кричат над нами кроншнепы. Пронесются селезни. Кряквы сели на гнезда, а их кавалеры еще не сняли весенних брачных манишек и бархатных беретов. Кавалеры свободны, кавалерам неимется еще погулять, поблукать.

Сорок восемь парочек поставлены у Володи в протоке да тридцать мереж развешаны на просушку... Все выбаеся кругом, рябит, чуть пенится на ветру вода.

— Надо бы эти тоже развесить, — соображает Володя, — да ладно, сегодня не буду. Сегодня надо пораньше закончить, мужики вернутся с озера рано, будут меня дожидаться на Кундорожи... У меня тут вроде бы свой огород, а звено-то одно. Я ставных неводов не знаю и не хожу. Ставники к нам сюда завезли с Кубани — кубанские рыбаки после войны тут ловили красную рыбу, наши у них научились. Тогда тоннами брали лосося и форель. Как бревна их на машины грузили... А я на Балтике после войны на сейнере плавал, старшим помощником капитана... В Усть-Нарве стояли. Первое место всегда держал по управлению «Орлан», капитаном на нем был литовец Тамулис. Героя Социалистического Труда ему дали. Ну, он, конечно, устроил банкет. Завелись. Трое суток гуляли. А я не очень на это дело падкий. Рюмку выпью, конечно, а если скажу себе, чтобы не пить — и не пью. Хоть месяц, хоть два... И механик у нас на сейнере был тоже спокойный в этом отношении мужик. Знал меру. Да. На третьи сутки после банкета утром мы с ним только и живы на сейнере, капитан наш в рубке храпит, кто на палубе, кто на камбузе — вся команда чуть теплая. В лежку лежат ребята. Я говорю механику: «Давай заводи, Алексей Ильич, чего же будем время терять? Потом и



зубы на полку. Нам, — говорю, — за это Героев не присвоют». Так и отвалили от пирса, пошлепали в море... Пограничники на выходе пересчитали команду по головам. Все оказались в наличии, лишнего нету... Дают нам добро на выход. Пошли. Забросили трал. Механик мне помогает. Вытащили, глядим — салаки полно. На косяк попали. Еще раз закинули — и опять удачно... Управляемся помаленьку. Ничего. К обеду ребятаки наши очукиваться начали. Капитан вылез на палубу. «Где мы?» — спрашивает. «Да вот, — говорю, — рыбку ловим». — «Мы же вчера договаривались в море не выходить». — «Так то, — говорю, — героям дозволено, а мы — простяги, тупые, как кнехты, наше дело — вкалывать». Ладно. Взяли мы хорошо в тот раз. А Тамулис гуляет. Назавтра мы опять с механиком с утра пораньше сейнер вывели в море. И опять удача. Рыбку сдаем сверх плана. В конце месяца посчитали, и мы оказались уже впереди по улову. Нам вымпел вручили. Да плюс премиальные. Капитану понравилось это дело. И команда довольна. Значит, надо тянуться. А как загуляют, мы с механиком выведем судно в море. Опознаться там нечем — значит, надо рыбу ловить.

Наша лодка ползет по губе. Время еще не свалило за полдень. Оно медлительно, протяженно. Дышит жабрами рыба в садке. Каждый день человеческой жизни можно к вечеру взвесить. Можно день миновать непрожитым и легким, как ночь. Можно жизнь проглядеть, будто киносеанс. Можно прожитый день ощутить, как бревно на плече — для венца в строительство нового дома. Каждый день создается работой, он как незаполненный белый лист. Можно в нем написать свою сагу, поэму или двадцать расхожих строчек.

— ...Ну, а когда уже фронт к Латвии приблизился, — говорит мне Володя Ладыин, — то немцы стали всех латышей призывного возраста в армию брать, а кто оставался трудоспособный, тех всех погнали окопы рыть. И к нам на хутор тоже двое приходят. «Кто такой?» — на меня говорят. Я по-немецки тогда понимал немного. Хозяин им говорит, что племянник. С соседнего хутора в гости приехал. А тут как раз был Якова сын, пацаненок. Хозяин ему, вижу, что-то шепнул. Тот убежал. Меня эти немцы забрали. «Шнель, шнель», —

говорят. Ну, что было делать? Шнель так шнель. Пошли мы. А им еще надо было все хутора по округе обшарить. Приходим мы на один — там пусто. И на другом одни старики. Парнишка-то, Якова сын, бежал всех соседей, предупредил... Немцы ругаются по-своему. Ругань, правда, у них не та, что наша. И у латышей тоже нет таких слов, как у нас. Латыши все кроют по-русски... А немцы ругаются вежливо. Все же Европа, цивилизация. Да. На одном только хуторе литовку прихватили. Литва там рядом, пограничная местность. Литовка здоровая, молодая... Вот идем мы, значит, место пустое... Рожь да сосняжек частенький. Немцы немножко вперед подались, разговаривают, автоматы у них за спину закинута. Я мигаю литовке: дескать, бежим. Она поняла меня, тоже кивает. Мы и порскнули с ней в сосняжек: она направо, я налево. Немцы погнались, стреляют, да где... Лес хотя невысокий, а частый. До вечера я так и сидел в лесу. Ночью пошел. Место мне там знакомо, все же почти три года прожил. А поесть с собой не взято было ни крошки. И к жилью нельзя подойти: как фронт приближаться стал, немцев везде полно понабилось. Утром поспал часа два в овине у хутора на задах. Проснулся — жрать охота, нет спасу. Что-то надо предпринимать, а то и ног не потянешь. Пошел помаленьку. Гляжу, на дороге люди работают, и костер зажжен, в котле что-то варится. Люди такие, как я, в такой же одежде. И немец стоит у костра, автомат на шее. Я думаю, ладно, за латыша сойду. Латышей на работу сгоняют, а потом отпускают домой. Наемся, думаю, покантуюсь до вечера и утеку. Выхожу прямо к костру. Немец за автомат схватился. Кто такой да откуда? Я говорю: оттуда. Махнул рукой в западном направлении. «Крестьянин, — говорю, — фермер». Он мне показывает, чтобы работать шел на дорогу. Я ему говорю: «Поесть мне надо, ессен». В котле картошка, по запаху чую, варится. Он мне показывает: бери. Ну, я поел картошек... Пошел взял лопату, землю с места на место переваливаю, гляжу, что за люди. И они тоже приглядываются ко мне. Работают больше молчком, не слишком усердно. Так только, для виду. С соседом моим перекинулся словечком, он белорус оказался. Пленный, у хозяев тоже работал, как я. «Два раза бежал, — говорит, — до дому хотел податься, да где... Возвращали. Тут нашему брату податься неку-

да,— говорит.— Это у нас на Витебщине леса глухие, ушел — и с концом. А тут тебя со всех сторон за версту видать, как аиста на крыше». Ну, я думаю, ничего. Я уже приспособился к тамошней местности. В обед всем роздали хлеба по куску, похлебки сварили. Я нарубался малость и говорю витебскому: «Давай носилки возьмем, отойдем за кювет, будто камни собираем,— и ходу». Он говорит: «Давай».

Отошли, собираем камушки, за немцем наблюдаем. Как он отвернулся, я — шашть и пошел. До лесу там метров сто было. И сразу — автоматная очередь. Пули справа от меня: шпок, шпок, пыль вышибли из дернины. Орут, слышу, сзади, топочут. Я не оглядываюсь, бегу. Так и не встретил больше ни разу того витебского. Опять меня вынесло, молодой был, бегать здоров.

Володя смеется, ему хорошо вспоминать о своей победной удаче. Садок огруз, лодка села.

— Теперь на Чаичьи озерки подадимся, сетки покажем.

— А как же ваше звено? — говорю я с мечтою о берегу. — Рыбачки-то, наверно, вернулись. Ждут.

— Дождутся. Им скучно не будет на Кундорожи. Мы вместе всегда возвращаемся в Пялье. Я тут хотя один мудрю на болоте, а улов у меня не меньше выходит, чем у любого другого в звене. Они берут в ставниках в лучшем случае центнера три-четыре на пятерых. И я худо-бедно сто килограммов вытягиваю. Перед маем в получку у меня семьдесят пять рублей за полмесяца вышло, а теперь вот лец пойдет, должно быть побольше...

Я работаю пропёшкой, лодка шуршит боками в сжатой тресте.

— Чаичьи озерки — это так названо, для ориентировки,— говорит Володя.— Просто окышки чистой воды. Губа одна. Вся рыба тут нерестится. Как рыбозавод. Только красная не заходит. Та любит холодную, чистую воду. Сонгострой отравляет озеро своей химией уже лет двадцать, теперь еще пустят Верешинский нефтеперегонный завод. Лососка будто бы выдерживает, а форель стало в редкость поймать. Государство форель принимает — только лови. Наукой уже установлено, что ли, ей будто не выжить в новых условиях. А лосось — тот будто притерпится... Не знаю... Раньше на нерест вся рыба поднималась в верховья реки, а как

плотину построили — она вся грудится там, гибнет. Мы ездим в октябре под ГЭС, отлавливаем лосося. Икру сдаем на завод, там рыбозавод организовали. Икру оплодотворяют искусственно, а мальков будто выращивают. Не знаю. Так говорят. Я раз сходил, но невыгодно. Слишком много там разных ловцов собирается, как лососка идет. И потом — не рыбацкое это дело. Чужое. Над рыбой мудровать. Мы привыкли: из озера да в котел...

Володя опять смеется. Веселый, легкий человек.

— Мотоёл у нас не было, как колхоз создавали, на веслах в губу ходили да на пропёшках. Вот и разбили губу на секторы: здесь Чаичьи озерки, там справа Ляга, там Малинские клочья — клочьями кочкарник у нас зовут, — а дальше под берегом Турухтаньи выпаса. Турухтаны там больно потешно токуют. Вы не видели? Все в разноцветной одежке. Перья распушат, ходят важно, крыльями чертят, дерутся. Посмотришь — как все равно кукольный театр... На этих вот островках, бывало, ночевать оставались всей семьей: мы с Павлом, сестра да батька. Чаичьих яиц наберем, наварим... А чайки новых потом накладывают.

Володя цепляет пропёшкой сеть. Она обозначила себя пенопластовыми поплавками, оплела тростниковые острова. Язи засунули в сеть свои толстые глупые шеи. Сеть тяжела...

— Постреляли в меня тогда, — смеется Володя. — Как все равно чирок на открытии охоты, я мотался под выстрелами. Немцев везде полно. Да и заплутал я. Ночью темно: ноябрь уже был. Без компаса не сориентироваться. И фронта еще не слышать. Шел ночами, да и занесло меня опять на тот хутор, где литовку немцы забрали. Ну, делать нечего, вижу. Пришел опять к моему хозяину. А там уже Яков с братом решили в Швецию подаваться. Они от немцев прятались, их бы в армию взяли и прямо на фронт. Давай, говорят, Володя, поехали на мотоботе. Ночью уйдем на остров Готланд, там уже Швеция. Ну а мне-то зачем? Я говорю: «Вы мне дайте лодку, я лучше пойду на веслах, линию фронта ночью пересеку...» — «Ну что ж, — говорят, — смотри сам».

Стали мы дожидаться, чтобы ветер немножко улегся, и дожидаться уже нельзя. Немцы так и шныряют кругом. Которые побогаче хозяева — в Германию пода-

ются, которые помоложе — тех гонят на фронт или укрепления строить... В общем, откладывать больше нельзя. Или так, или так. Мы ночью стащили бот в море. Погрузили бочонок пресной воды, сухарей, сала, картошки, самогону пять бутылок больших они взяли с собой, Яков с братом. Только завели мотор — тут немцы идут, патруль, фонариком светят. «Кто такие?» — шумят. А они уже отвалили, только слышно, мотор стучит. Старик бумагу показывает — разрешение ему было выдано в море ходить рыбачить. «Рыбаки», — говорит. А немцы уже не те, что раньше береговую охрану несли. Те нас знали. А эти не верят. Я вижу, надо мне подрывать. В темноте затаился, переждал. Лодка была уже у меня наготове. И чемодан в ней уложен. Хозяйка мне сала дала с собой, хлеба, бутылку французского рому, у немцев на рыбу выменяла, и еще бутылку самогону. Сапоги она мне дала резиновые, вот как у вас. Я лодку стащил, сел на весла и греб четыре часа прямо от берега, без передышки. По Полярной звезде сориентировался. Кидало сильно, но я даже и не замечал. Повернул лодку под прямым углом и еще пять часов вдоль берега шпарил на север. А берега не видать. И линия фронта никак себя не обозначила. Я думал, по орудийным вспышкам сориентируюсь, но все было глухо. Только по звездам держал направление. Пять часов отгреб и опять повернул под прямым углом. Светать уже начало. К берегу подхожу и не знаю, чей он. Может, пулю сейчас схвачу. Всю ночь жарко было, вспотел и ветра не чувал, а тут спину знобит... Берег холодный и совершенно пустой. Я лодку втянул на песок, огляделся — нигде ни души. Метрах в ста от прибоя сосенки растут, их ветром нагнуло, скривило. Можжевельник кое-где, бугры песчаные. Я бутылку рому достал, отхлебнул, кусок сала съел с хлебом, вроде теплее стало. Пошел потихоньку берегом. Гляжу — следы на песке, двое шли в сапогах. У немцев обувь вся на гвоздях с большими шляпками, как на шипах. А тут гляжу — сапоги-то на гладкой подошве. Ну, думаю, все! Значит, братья-славяне. В лесок зашел — дымом тянет. Вижу: костер и люди стоят. Я потихоньку за соснами-то приблизился... Люди с погонями, вижу. Один в зеленой шинели, в нашей армии я не помню, чтобы такие носили. Автоматы составлены в пирамиду... Над костром котел висит... Стою, слушаю:

говорят как будто по-русски... «Может, власовцы?» — думаю. Да нет, вижу, звездочки на шапках. Я вышел из-за сосны да прямо к ним. Они за оружие похватались...

Володя выпутывает из сети леща, лещ не лезет сквозь ячею, он горбатый, широкий, сеть рвется. Володя мне объясняет, что это не страшно: одна прореха в большой сети.

— ...Я руки поднял, кричу им, что свой. Они, конечно, вначале не верят, сомневаются, автоматы наставили на меня. Ну, я им говорю все как было. У них за старшего там младший лейтенант. Он говорит мне: «А как ты можешь доказать?» Я говорю: «Пойдемте, я лодку вам покажу». Пошли. Они сзади за мной с автоматами. Я их к лодке привел. Они посмотрели, видят, вроде и правда не вру. Автоматы уже за спины закинули. Мой ром мы распили, а после и самогон пошел в ход. Солдатики молодые все, новобранцы. И младший лейтенант тоже. Захмелели — давай по чайкам палить... Я им рассказываю все, что было со мной, вот как вам сейчас. Им интересно. Младший лейтенант говорит: «Ты давай в нашу часть, тебе местность знакома, дорогу нам, если что, покажешь». У них — саперная часть, мосты наводить им задание было. Я говорю, что ладно. Мне все равно, где служить. Тем более вроде и подружился мы у костра, кулешом они меня накормили. Да. Младший-то лейтенант, оказалось, только неделя как из училища на передовую попал. А я вовсе тогда был наивный... Тут как раз капитан приходит, комбат. «Что за человек?» — спрашивает. Младший лейтенант ему докладывает: так и так, мол, приплыл на лодке из-за линии фронта, матрос, сидел в концлагере, нельзя ли его зачислить к нам в часть, он местность здешнюю знает, мог бы быть проводником... Потом-то я понял, какой он был чудак, младший лейтенант. Слишком доверчивый. Мальчишка... Капитан посмотрел на него, как на дурачка. «А вы, — говорит, — протокол допроса сняли?» — «Нет», — говорит. «Так вот, нарядите двух солдат и отправьте его в штаб полка».

...Повели меня, значит. Вначале я впереди шел, а они с автоматами у меня за спиной. Как отошли немного, уже все вместе идем. Они спрашивают у меня, им интересно, как тут что при немцах было. Я им

говорю: «Вы чего же меня не конвоируете?» А они говорят: «Мы же видим, что ты парень свой». Махорки мне предлагают, а я не курю. Это их, правда, насторожило. Многим кажется странным: здоровый вроде мужик и не курит. У нас и батька был некурящий, и Павел, и вся семья.

Сдали они меня в штаб полка, я рассказываю, как было, но вижу, никто не верит. Допросили меня — и в штаб дивизии. Опять нарядили двух автоматчиков меня охранять. Ну, я и с ними тоже покалякал, нашли мы общий язык. Где пешком пробирались, где на попутках, чемодан у меня отобрали в полку, кормились чем бог пошлет, каждый кусок на троих делили. Да. Сдали они меня в особый отдел. А там уже на гауптвахту — три землянки у них были вырыты. Мне отдельную предоставили, как особо значительному преступнику. Пуговицы у меня на брюках спорили. На допрос вызывают — я штаны вот так локтями придерживаю. Ну, правда, кормили прилично, три раза в день. Окошечко было в землянке, мне видно, автоматчик прохаживается, стережет. Я страха не чувствовал, скрывать ничего не скрывал, говорил все как есть. Конечно, их я тоже понимал: они воевали три с половиной года, а я вроде как отсиделся у немцев в тылу. Я им говорю: «Отправьте меня скорее на фронт, хотя бы в штрафбат. Еще ведь есть время навоеваться, крови бадейку пролить, если что...»

Я им говорю, а они мне не верят. Старший лейтенант меня допрашивал и все норовил подловить, чтобы показания мои не совпали. «Ты, — говорит, — не крути, нам все про тебя известно. Ты, — говорит, — у Власова против нас воевал». И вот меня держат в землянке неделю, и десять дней... Скучно уже мне стало. Вижу, никак нам не договориться с моим следователем. «Такой деревни, — говорит, — нет — Пялье». Дескать, я все вру. Я говорю: «Как же нет? Есть! Деревня Пялье Вьяльнижского района, на озерном канале стоит...» Да. Ничего не докажешь, если доверия нет.

Как-то приводят меня на допрос, а они там в особом отделе гуляют, патефон у них заведен, девушки тоже в погонях, связистки ли медички, приглашены, выпивают, танцуют. Я сижу, дожидаясь в предбаннике. И мимо меня — капитан, лет так тридцати восьми на вид мужчина... Поглядел на меня и остановился. «Ты

откуда, — спрашивает, — родом?» Я говорю: «Деревня Пялье Вяльничского района...» — «А у вас как, — говорит, — фамилия председателя сельсовета?» Я говорю: «Тюфтяев Иван Васильевич был перед войной, а теперь не знаю, три с половиной года как связь потерял». — «А ты, — говорит, — не Феди Ладьина сын будешь?» Я говорю: «Его». — «Так я ж, — говорит, — тебя помню. Я к твоему отцу на охоту приезжал, он егерем был». Я пригляделся, вроде знакомо лицо, не помню, к отцу приезжало много... «А ты чего тут сидишь?» — капитан меня спрашивает. Я вкратце ему рассказал, что и как. «Чего ж тебя держат? — он мне говорит. — Ты, может быть, что-нибудь привираешь?» — «Да нет, — говорю, — что есть, то есть». — «Ну ладно, — мне говорит капитан, — сейчас мы попробуем что-нибудь сделать». Я подождал еще, наконец вызывают. Гляжу, мой старший лейтенант по-другому уже заговорил. «Дадим тебе, — говорит, — направление в райвоенкомат, иди воюй. У нас к тебе, — говорит, — вопросов больше нету».

Вот как повезло, а то бы по-другому все перевернулось. Тогда-то я не понимал, что керосином пахнут мои дела, потом уже опыту набрался.

Я им говорю в особом отделе, что мне бы, пока там еще на довольствие стану, паек бы какой-нибудь получить. Питаться ведь чем-то надо. Они посмеялись только. «Давай, — говорят, — проявляй инициативу, иначе какой из тебя солдат?»

Володя смеется. Ему повезло. Старший сын у него в институте, двое младших учатся в школе. Дома есть телевизор, корова и красная рыба к столу. Год походит на год, весна на весну, день-деньской кличут чайки и плещет о лодку вода. Вечерами Володя выносит меньшего брата Павлушу из мотоёлы, тот взбрыкивает немножко, но отдается ему. Тот сроду рыбак. Вся жизнь его как вода: подымет на гребень и скинет, и гребень невысоко и падать не больно. Как в зыбке. Вчера было Павлово детство. Сегодня Павел — матерый мужик. У Павла тоже есть телевизор, корова, хозяйка, изба и дети не хуже, чем у других. И думать не надо, а лучше забиться. Володя его донесет до избы...

— ...Явился я с моим направлением в военкомат, а какой там военкомат — ни стола, ни печати у них еще нет. «Придется тебе, — говорят, — подождать». —



«А ждать-то как же, — я говорю, — с пустым-то желудком...» — «Добывай себе, — говорят, — прожиточный минимум подручными средствами». А где добывать? Кошке и то бы не прокормиться, — шаром везде покати... Тут мужчина в военкомат заходит, тоже как у меня направление у него. Одет легко, не по сезону, в одном пиджачке. Я пригляделся к нему, будто знакомое что-то есть, и он ко мне приглядывается. Слово за слово — вспомнили. Вместе мы с ним в июне сорок первого года попали в концлагерь. Он тогда пионервожатым был. Так и взяли его в спортивных шароварах и тапочках. Молоденький был парнишка, студент. У немцев он как политраблотник проходил, по этой статье. Тоже маялся три с половиной года. Мне-то повезло, правда, к хорошим людям попал, а он как порассказал — тяжело ему досталось.

Он говорит мне: «Тут в госпитале есть работа — дровец попилить». Пошли мы с ним, и жить стали вместе. За работу нас в госпитале кормили. Так и протянули на пару. Вдвоем-то легче всегда. Военкомат, как наладилось у них дело, направил нас на пулеметные курсы. Месяц мы с ним проучились — и прямо на фронт... Второго мая сорок пятого года в Берлине меня осколком ранило в бедро. Я командиром был пулеметного взвода в конце войны. Вернулся в часть из госпиталя уже в мирное время. Еще полтора года служил в Германии. Демобилизовался старшим сержантом и подался на Балтику. На сейнере был старпомом...

Мог бы тогда поступить в мореходку, — размышляет Володя, — диплом бы штурмана и заработок приличный, и жить бы повеселее в Усть-Нарве. Хорошее место.

В отпуск приехал я в Пялье, впервые после войны, для стариков моих я как воскресший из мертвых. Письма мои получали и будто не верили, что это я им пишу. Почерк совсем у меня изменился: четыре года, считай, в руки пера не брал, только за лопату держался, за румпель да за пулемет. Погибшим они считали меня и отплакались уже.

Приехал я, вижу, худо совсем без меня: Паша с сестренкой еще малолетки, рыбацкая снасть износилась, заработка у батьки почти что и нет никакого, и лодки нет. В общем, вижу, надо впрягаться. Носило меня по белу свету, а все же у каждого человека, как говорится,

должно быть родное гнездо. В Усть-Нарве хотя мне и нравилось, а все как вроде в гостях. Женился я в Пялье. Осел.

Да. Иной раз начинаешь вспоминать — словно во сне все это было с тобой... И забывается многое. День-деньской один болтаешься на воде. Я вас-то позвал сегодня, говорун на меня напал... Вот я по радио слышал, писатель Сергей Смирнов выступал, говорил, что собирает материал об обороне Лиепая, писать будет об этом, просил, кто что-нибудь знает, ему сообщать. А я же как раз там был в то время. Хотел ему написать, да неудобно как-то. Живешь на болоте, рыбки поймаешь, и ладно. Скажут: красную рыбу в озеро скинуть — скинем. Работа у нас не нормированная, сами себе хозяева, и незаметная она: то ли делаешь ее, то ли нет — на воде следов не остается. Но такое свойство у этой рыбацкой работы — забирает она человека всего, укачивает, начинаешь жить по законам воды: если ветрено — значит, и ты нахоженный в лодке сидишь, как лунь болотный; красная рыба пошла на жировку в берег — значит, и ты развиваешь активность, шуруешь туда-сюда, стараешься взять побольше. Зимой снулый ползаешь, как налим. В апреле солнышко тебя припечет, слушаешься птичьих концертов — и тетерева за Лягой в болоте заливаются, и лебеди, и журавли... Тут и щуки в тресте заходят. И сам бы, кажется, тоже хвостом завилал, радикулит свой забываешь... Работа наша близко к природе стоит. А вечером телевизор посмотришь — как будто другая планета: города разные, театры, моды, где-то идет война... И вспомнишь, что ты человек, не лунь болотный. Варшаву вспомнишь, Берлин... А если нечего вспомнить, то лучше забыться. Водки пол-литра хлобысть — и нету тебя.

...Еще похожаем три сетки, — обещает Володя, — и хватит, поедем.

И вот уж тухтит трехсильный моторчик. Можно свесить руки и плечи, курить и не думать, не порываться, не поспешать. Губа понятна теперь, как поле картошки, которую сам посадил. Налево Чаичье озеро, справа Ляга, там дальше Турухтаньи выпаса... В протоке играет плотва, в тресте нерестится лещ...

В устье Кундорожи поднимаются над костром соңгостроевские ребята. Нам видны их пиратские лица, серьезные, готовые на дело...

Звено Голохвастова за день заметно устало. Оно еще пьяно, но праздник уже на излете. Аркадий сводит плечи под ватником, будто ему обрыдла одежка, глядит неподвижно, размыто, мучает тиком лицо. Он говорит мне:

— Ты непохож на писателя.

Коля Тюфтяев встречается:

— А вот скажите, как вы научились? В каком году вы закончили пединститут?

Я говорю, что лучше спросите у бригадира. Он тоже писатель, пишет в газету.

— Он и не тем еще станет, — задумчиво говорит Аркадий.

— Он далеко пойдет! — будто кому грозитя Коля Тюфтяев.

— Да не о том, не о том они пишут, — страдает Аркадий. — Почему рыбаку не дают заработать? Вот ты напиши...

В левобережном рыбацком клубе звено Ладьяна сидит за столом степенно и крепко — как на картине фламандского мастера. Только немного поклонился носом к стакану моторист Кеша. Володин брат Павел лучится и плещет округ себя голубизну безоблачных глаз. Он обнимает меня и просит: «Ну, давай поборемся». И я обнимаю его. Павлуша как лосось — косточку не нащупать, Павлуша как лось — его с места не сдвинешь.

Сергей Ладьян, звеньевой, — мужик скуластый, как ёла, глазницы его — два омута в крутых бережках, на дне каждого тускло мерцает по мокрому камушку. Лицо забурело все, как ольховая чурка. Он мне говорит:

— Ну-ка, выдай какую хреновину. А то тут живешь и не знаешь. Вст правда ли нет, у тунгусов, я слышал, с бабами пластаются не по-нашему, как-то не так? А? Вот скажи.

Я говорю, у тунгусов все так, как у нас. Ладьян не очень мне верит, покачивает головой.

Чернобровый, лобастый и востроглазый Виктор Высоцкий смотрит с ясной ребячьей улыбочкой на меня.

— Вы бывали на Дальнем Востоке. Там близко Япония. Не приходилось вам слышать, у японцев будто бы есть такой способ пытки. Они берут крысу, сажают ее в банку и привязывают человеку сзади. А через сут-

ки крыса вылезет уже изо рта. А? Не доводилось вам слышать?

В простодушной улыбке бригадира можно также прочесть и хитрость, лукавый мужицкий ум. У Высоцкого ровные, крупные, белые зубы. На нем смазные сапожки маленького размера и новый в полоску костюм. ворот белой рубашки распахнут, под ним видны прочные, как шатуны, ключицы.

Мы выпиваем за День Победы. Володин брат Павел забеляет водку в своем стакане домашним сливочным молоком. Он привезет хозяйке пустую бутылку. На завтра она ему даст молочка на рыбалку. Павел сдобный и чуть красноносый. В лице его видны борение водки и молока.

Мы играем на бильярде, шары падают в отверстие лузы, стучают об пол, как топором по бревну.

Володя мне говорит:

— Быть может, захочется вам поудить, плотва сейчас хорошо берет на червя. Тогда шугните сонгостроевских. Рыбы не так жалко. Обидно, что мережи запутают. Специально не ездите... Разве что с удочкой посидеть. Я бы сам сходил, дак... С женой мы сегодня собравши в клуб, постановка там, что ли...

Погружаюсь в лодку. Гребу. Вода затихла и заявлена. Провода над Кундорожью мохнаты от скворчинного каравана. Лихтер прошел по каналу, пустил волну. Застонал дебаркадер.

Сонгостроевские ребята кричат мне:

— Куда тебя, старый, несет?

Я молчу. Наживляю червя на крючок. Воспалается небо. Чернеет иззубренный лес за губой. Я выуживаю плотичку. Моторная лодка проходит рядом со мной и колыхнет. Ребята глядят мне в глаза. И смеются:

— Эй, старый, что тебе, больше всех надо? Мотай отсюда, пока сухой.

Мотор пронесит их мимо. Они его глушат. Дрейфуют. Включают транзистор. Лоскочет музыка над губой. Мне попадает еще одна рыбка.

Пираты держат совет. Наверное, есть среди них сторонник штурма и абордажа. И есть постепеновец-соглашатель... В губе много рыбы, да слишком неравен улов. И, кажется, можно его уравниять...

Я загнал мою лодку в тресту, сутулюсь над поплавком. Кричат, будто ссорятся, чайки. И чайчи голоса такого же тембра, как радиомузыка в лодке.

Но вот ее забивает моторный треск. Лодка уходит, уходит. Победил осторожный. Тихо, тихо становится на губе. Тишина вдруг окатывает меня. Я смеюсь. Я не старый. Такой же, как эти воды, и рыбы, и птицы. И рыбаки. Я не состарюсь, пока жива тишина.

## РАЗРУШЕНИЕ ТИШИНЫ

Летом я живу в каюте дебаркадера. Утром выйду на божий свет, и если солнце, то перелезу через перила и спрыгну в Кундорожь. Дух перехватит вначале, потом хорошо. Наколю дров, снесу охалку на летнюю кухню, зажгу огонь под плитой. Выйдет егерь Евгений Васильевич Сарычев, скажет:

— Ну, что на завтрак будем готовить?

— Картошку можно пожарить с тушенкой, — отвечу я. — Да чаю.

— На леднике сала шматок здоровый, — скажет егерь, — я на веревке его опустил, в корзинке. А хочешь — сеть иди похожай. На жареху-то всяко попалось. Я съезжу травы накошу для кроликов, а ты давай действуй. Шуруй!

Я жарю картошку. Слышу: прошли мотоёлы — и тихо. Стрекогут и свищут скворцы. А вот брякнул цепью егерь вниз на бону. Приходит ко мне на кухню. Садимся к столу и медленно, сладко жуем. Громко хлебаем дегтярной заварки цейлонский чаек, давим в стаканах соципанную неподалеку в траве землянику. Мы не торопимся. День огромен, не почат. Нам хватит хлеба, круп, табаку и рыбы. Нам хватит работы. Мы курим и щуримся, как коты.

— ...Ну что, убил? — спрашивает меня егерь. — Я спал уже, слышал выстрел.

— Убил, — отвечаю я и горжусь. — Целый час ее караулил, сидел, выцеливал. Блиско, дробь кучно летит, надо точно поймать на мушку...

Мы выходим на берег, спускаемся к забранной сетью загонке. Тут сидит на гнезде подсадная утица Катя, тут двенадцать ее утят. Вчера это было: двенадцать. Сегодня считаем: десять. В гнездо повадились

крысы. Вот здесь я сидел, караулил с ружьем... Подымаем убитую мной накануне зверюгу с длинным голым хвостом. Кидаем подальше в речку.

— Ну ладно, Евгений Васильевич, — говорю я егерю, будто прошусь у него отпустить. — Пойду посижу..

— Надо, надо, — напутствует меня егерь. — Только давай откачаем сначала воду из дебаркадера. А то затонешь еще, погибнешь с недописанной статейкой в руках.

— Давай.

Помпа скрипит и чавкает. Льется вода из чрева нашего дебаркадера в Кундорожь.

— Ну хватит, — прошу я егеря. — Теперь не затонет. Можно садиться к столу.

— Садись, — разрешает егерь. — Валяй.

Забираюсь в каюту. Вижу в окошко утиный садок. Катя вывела желтых утят на травку. На шесте подвешена мертвая сойка. Прошмыгнула крыса в траве. Задергиваю занавеску, мучаюсь над бумагой, над первым словом...

«Лето нынче солнечное. Земляникой обсыпало низкие берега речки Кундоружи. Медленно движутся, огибая озеро, гонки леса, поваленного зимой на Вяльниге, Шондиге, Кыжне. Штабеля березовых и осиновых дров проносятся высоко над травянистыми берегами самоходные баржи.

Старший егерь Кундорожского охотничьего хозяйства Евгений Сарычев поднимается на крышу и оглядывает в бинокль губу: не забрался ли кто в тростники с моторной косилкой. Шуметь в тресте мотором запрещено: можно распугать утиные выводки.

Стук моторов на канале, лязг кранов, гудки пароходов и крики чаек растворяются в сосредоточенной тишине великих водных пространств, лесов, тростниковых плавней. Тишина плодоносна. В тишине подымается новое поколение леса, движутся косяки судов, сегов и лососей, тучнеют луга, полнятся дичью озера.

...Недавно на Кундоружи был слышен лай охотничьих псов: Шмеля и Карая. Лай не вредил тишине. Какое жильё в лесу без собачьего лая?

Востроухий, норовистый Шмель прибыл на Кундо-

рожь молодым подпеском; в первую зиму он взял живьем четырех куниц и трех енотов. Он отыскал среди торосов на озере нерпичью лежку и разнохал однажды медвежий след...

Шмеля привез Евгений Сарычев. Они жили вначале вдвоем, вместе мерзли и грелись: у печки. Они разговаривали друг с другом, а когда по утрам распакивали дверь на волю, в снега, то видели лосей, глодавших кору на осиновых чурках.

Шмель вырос в добрую зверовую лайку, с приветливым и нетерпеливым, с азартным, веселым и злобным на охоте нравом. Пяльинские охотники завидовали Сарычеву. Егерь Сарычев любил своего пса и гордился им. Он мечтал именно о такой собаке, и она досталась ему к сорока годам. Он ее воспитал.

Карай был жесткошерстной немецкой легавой. Он появился на базе летом, его привез охотовед Людвиг Блынский. Охотовед приехал на Кундорожь из города вместе с женой, ребенком и тещей.

Он был десятью годами моложе егеря, по службе Сарычев подчинялся ему. Охотничали и рыбачили они порознь. Блынский взыскивал с егеря за служебные упущения и отлучки. Сарычев отлучался в город: там осталась его семья. Но жили егерь с охотоведом под общей крышей — без ссор.

Карай уступал на охоте Шмелю. Он за год задавил только одну курицу в Пялье и стбил из стада одну овцу. По зверю он не пошел, на утиных охотах был бесполезен.

Блынский завидовал Сарычеву. Ему тоже хотелось сдавать куничьи шкурки первым сортом — по двадцать рублей за штуку. Он стрелял ворон и сорок и получал премию за вороньи лапки. Он собирал чайчи яйца в кочкарнике и потчевал семью яичницей. Он разорял зимние хатки ондатры и получал установленный профит за ондатровый мех. Он ставил капканы на горно-стая. Один раз выстрелил по токующим на берегу турухтанам и уложил зараз восемь штук позабывших об осторожности весенних щеголей — куличков. Зимой он застрелил из малокалиберной винтовки прибывшую к теллу синицу. Стрелял он и по лебединым стаям...

Блынский был вооружен жизненной философией — точной программой действий. Он при случае говорил: «Озеро с его рыбой и дичью отравляет Сонгострой. Оно

и вовсе погибнет, когда выстроят Верешинский нефтеперерабатывающий завод. И реки тоже погибнут. Нужно попользоваться здешним зверьем, рыбой и птицей, пока не поздно».

Блынский учился в сельскохозяйственном вузе, затем поступил на завод, сделался слесарем-сборщиком высшей квалификации. Он говорил, что зарплата его достигала ста семидесяти рублей. Но он покинул завод и город и перебрался в лесную глушь — этого требовала его философия.

Он принялся разводить кроликов на усадьбе охотничьей базы и подсчитал, что каждый кролик даст ему пять рублей дохода за мясо да пару рублей — за шкуру.

В установленные сроки Блынский посылал в хозяйство отчеты о поголовье зверя и птицы на подведомственной территории. Егерь Сарычев был не нужен ему, добычливая собака Шмель раздражала охотоведа. Блынский считал, что с обязанностями егеря справилась бы его жена. Планы Людвига были обширны и обоснованы коммерчески. Он собирался взимать немалый оброк с болотного зверья и птицы.

Семнадцатого июня Сарычев отправился в дальний угол своего хозяйства, на берег озера — ставить столбы с аншлагами. Вместе с ним пошел Виталий, семнадцатилетний сын, студент техникума. Сарычев сказал, уходя, что они заночуют с Виталькой на берегу, порыбачат и наберут земляники...

Наступила белая ночь. Лаял Шмель, оставленный хозяином на цепи. Потом пес замолчал. Все стихло.

И вдруг тишину над Кундорожью и над губой разорвало истошным смертным собачьим воплем. Шмель взвыл и сразу умолк...

Егерь возвращался с сыном домой. Их выжили комары из лесу. Они кинулись на собачий вопль и звали Шмеля...

На тропинке, ведущей к губе, им повстречался Людвиг Блынский. Он нес на плече сачок.

— Где Шмель? — крикнул Сарычев. — Его кто-то прибил...

— Он погнался за лошадьми, — ответил Блынский, — они его могли вполне лягнуть...

— А ты что здесь делаешь?

— Надо сетку сходить проверить, — сказал Людвиг.



Сетку никто не ходил проверять по ночам. Вой Шмеля слышался с этого места, где стояли сейчас Блынский и Сарычев.

Людвиг пошел разболтанным шагом на берег губы. Сарычев с Виталькой кликали Шмеля, искали его по кустам.

...Они нашли его в ста метрах от тропинки. Он был убит ударом по голове, стащен с тропинки и брошен в густой ивняк.

Блынский явился с озера, в сачке у него прыгали два караса.

— За что ты убил мою собаку, сволочь?— сказал Сарычев, чувствуя огромную, непомерную усталость.

— Я не убивал твою собаку!— вскрикнул Блынский.

Он, не прибавив шагу, дошел до дому и скрылся в дверях.

Сарычев тяжело переставлял оцепеневшие ноги за ним следом. Все напряглось в нем, зачерствело до хруста. Он сел на порожек летней кухни и закурил. Было тихо, светло, на губе покрывали утки.

— Какое зверство,— сказал Сарычев.— Какая подлость. Какой точный расчет. Он поманил за собой Шмеля, приласкал его, увел на берег губы и там убил. Он думал, что я не вернусь сегодня в ночь. Он знал, что я не смогу здесь жить без собаки...

Сын Сарычева Виталька плакал. Он еще не терял в своей жизни друзей. Он еще не встречался с низкой людской жестокостью. Он любил Шмеля, больше ему не с кем было дружить на Кундорожи...

— Давай ему тоже что-нибудь сделаем за Шмеля,— сказал Виталька.— Давай мы его уьем...

— От этого нам не станет лучше,— сказал Сарычев.— От убийства никому не бывает лучше.

Из дому выбежал Блынский и крикнул:

— Я не трогал твою собаку! Я ничего не знаю.

— Ты убил Шмеля, сволочь,— сказал Сарычев,— и взял сачок, чтобы спрятать концы в воду.

...Сарычев сидел на порожке всю ночь. Всю ночь дышал огонек его папиросы. Ночь была незаметна, светла.

Блынский вышел к нему еще раз и сказал:

— Ну да, я убил Шмеля сгоряча. Карай запутался на сворке. Шмель его повалил и грыз. Я не мог удер-

жаться и психанул... Я находился в состоянии аффекта... Сколько тебе заплатить за твою собаку?..

Утром жена Блынского играла с его тещей на берегу Кундорози в бадминтон. Сарычев все еще не вставал с порога и пристально глядел на игравших женщин, протирал слезящиеся от курева и от солнца глаза. Происходящее было нечеловечески странно...

Когда вышел Людвиг, Сарычев сказал ему:

— Я тебе даю на сборы два часа. Чтобы тут не было ни тебя, ни твоего семейства, ни твоего вонючего пса... Иначе я за себя не ручаюсь...

Сарычев смотрел на Блынского, курил и щурился, и Людвиг понял, что спорить с этим человеком ему нельзя. Он быстро собрал свои вещи, и пяльинский егерь Птахин отвез его на Гумборицкий причал.

К вечеру на базе собрались пяльинские охотники. Они написали письмо в охотничье общество с требованием наказать убийцу Шмеля и никогда не подпускать его больше к лесам и водам. Под этим письмом поставили подпись четырнадцать человек.

Сарычев обратился в общество с просьбой разобратся в том, что произошло на Кундорози в белую ночь.

Сарычева вызвали на административную комиссию. И Блынского тоже вызвали. Блынский сказал, что убил собаку в состоянии аффекта, что пяльинские охотники имеют зуб на него, потому что он был с ними строг по закону.

Эта версия устроила комиссию. Блынского решили отозвать с Кундорози, но от должности охотоведа он не отстранен...»

Я пишу эти строки, сидя в каюте дебаркадера на Кундорози. Мне видно, как собирает последки своих вещей Людвиг Блынский, — он приехал вместе с полномочной комиссией. Хозяйство Сарычева подвергается пристрастной ревизии...

Зыбится кругом текучая, бурая вода. И замывает следы лодок, уносит в озеро мазут и ошметки коры от приплывших по каналу гонок леса.

Сидит на пороге егерь Сарычев. Курит. В глазах у него мука и сомнение. Он говорит:

— Как я буду теперь без Шмеля? Виталька спросит меня: почему убийцу не наказали? Что я ему отвечу?

В душе у Сарычева разрушена тишина, необходимая каждому человеку для труда, для созревания доброй мысли.

## ДНЕВНИК ЕГЕРЯ

В августе пропала мошкара, небо сделалось свежим и синим, заря — высокой и алой; ночь обрела наконец исконную черноту. Старший егерь Сарычев к открытию охоты покрасил базу в салатный цвет. Вместе с пяльинским егерем Птахиным зачалили и разделили приبلудную гонку леса, загнали в дно Кундорожи сваи, срубили и обшили тесом новый бон. Засмолили лодки, заготовили, натесали еловых жердей на пропёшки, выставили их сушиться на солнцепек. Каждый день в назначенный час становились к пожарной помпе, выкачивали воду из чрева старого дебаркадера.

Егерь Птахин, известный больше по имени Ваня, а также Ванюшка, приплывал на большой, свежевыкрашенной, как адмиральский катер, моторке подсобить по работе Сарычеву, а также похажать свою сеть в губе. Подолгу он не оставался на базе, уплывал с карасями в корзине. За долгие отлучки и неусердие в добыче его шпыняла жена — учителька Пяльинской школы. Все лето Ванюшка носил треух из ондатровых шкур. Он сам его сшил и хвастал, что голова не потеет, что солнце ее не берет.

Наезжал на Кундорожь и гумборицкий егерь Кононов, в тертой форменной куртке лесоохраны с зелеными петлицами и в фуражке с околышем. Он привозил для старшего егеря-бобыля молока в бидоне, садился в летней дощатой кухне к столу и разговаривал долго, сладко щурясь и щепелявя, будто ел вкусную тюрю из хлеба и молока.

— Сей год моя баба теленка в лето пустивши дак... — рассказывал Кононов. — Минькой мы его нарекли. Телята и все у нас Миньки али Маньки. А поросята — Степки. Кот Васька был, только корюшку жрал, а лососку — ему ни сыру, ни варену не надо. И баб ён не признавал за людей. Как, бывало, Глафи-

ра, за Мишкой Колодиным-те она замужем, в сплавной конторе у Степан Гаврилыча Даргиничева он работает сплавщиком, как только она дверью шарнет, зачем забежит к моей бабе, так Васька — скрысь под кровать и отседа шипеть на ее почнет, на Глафиру-то. А мушши-на придет — он нюхат. Если корюшкой отдает, весной-те все мушшины у нас корюшкой пахнут, даже больше, чем сама корюшка, пропитаемся, — так он мурчит и лапой по голенищу поскубат: давай ему корюшки... А пес был гончий еще перед финской войной — Рогдай, тот наладивши был на бабу мою посягать. Лапы ей на плечи вздынет и валит наземь. Настырничал — спасу нет. Кобелина здоровый. Я поеду в губу мережи потрясти, а сердце все не на месте. Рогдай под дверью сидит, а баба моя на осадном положении... На баб и на книги он был азартный. Как в избу ворвется, то книгу где ни на есть обнаружит и начисто всю сожрет. Три дневника егеря съел у меня, а директором охотхозяйства в Вьяльниге тогда был Русин Семен Евстигнеевич. Он приезжает ко мне: «Андрей Филиппыч, а ну покажи-ка дневник егеря, чего ты там накорябал». А я ему говорю: «Семен Евстигнеевич, пес проклятый сожрал без остатку». Я молодой тогда был, пылкий, давай его школить ремнем, Рогдая-те. Убить покушался дак... Митрию отдал, завхозу лесничества, за стог сена...

— Ты лучше мне про собак не говори, Андрей Филиппыч, — прерывает старого болтуна Сарычев, — это мне как по больному солью... Давай мы сегодня дровами займемся, а то директор придет, скажет: «Вам за что тут зарплату дают?»

Дел на базе невпроворот. Кононов побалагурит — и нету его: дома корова да Минька-телок. Птахин потахтит мотором и сгинет. Нужно ему накосить тресты в губе для своей коровы. Пучок леса — кубометра четыре — обсыхает на забереге. Ваня спроворил, зачалил его весной, когда шел сплав. Нужно теперь сговорить мужиков на лесоучастке, чтобы пришли с моторной пилой, — на два часа работы.

Сарычев варит рыбу с перловкой, вынесет кастрюлю на берег Кундорожи и покличет: «каты, каты!» И пришлепают по воде к нему кати — подсадные крыкухи с подрезанными крыльями, а за ними лётот утят. Сарычев кличет: «сенька, сенька!» И селезни мчат по воде, подымая буруны, долбают клювами утят, от-

торгают от корма. Отцовские чувства их не томят. Шумят отросшими крыльями дети сенек и кать.

...Накормив пернатое стадо, егерь садится в лодку с косой и мешком. Накосит мокрой травы на краю болота за Кундорожью. Снесет ее в кроличью загонку. Красноглазые алчные звери жуют, жуют, жуют...

Вечерами Сарычев зажигает лампу, выкручивает фитиль, садится к столу, включает транзистор и долго пробирается сквозь толчею джазов Нового, Старого света — к внятной, простой, старомодной музыке. Джаз не звучит на Кундорожи: темп жизни иной. Время медлительно. Егерь сидит над синей разграфленной тетрадью, над служебным своим дневником. Думает. Начинает писать: «12-е августа. Утром объехал губу. Видел утинные выводки в Ляге и Чаичьих озерах. Молодые утки доверчивы, подпускают на двадцать метров. Задержал браконьера с ружьем. Ружье отобрал, марки ИЖ-54. Заводской номер К-2199. Днем было тепло и солнечно. Завершили с Птахиным строительство бона. Разделявали с Кононовым дрова. Выводки подсадных уток слетаются на кормежку. Взамен убитого Блынским Шмеля пяльинские охотники подарили месячного щенка. Утверждают, что западно-сибирская лайка. Назвал Комаром. Думал о подлости Блынского. Он говорил на административной комиссии, что убил Шмеля в состоянии аффекта, защищая своего Карая. Но ведь Блынский увел Шмеля за двести метров от базы, он приманивал его и ласкал. Шмель не пошел бы со всяким. У Шмеля был гордый и независимый нрав. Какая подлость!»

Сарычев хочет еще писать о Шмеле, но нет места, графа одного дня заполнена в дневнике егеря и прихвачено завтрашнего пространства.

Скребется и плачет под дверью дымчато-рыжий и толстогузый Комар. Быть может, когда-нибудь он подымет, поставит, насторожит свои уши и будет лайкой, веселым, умным и злобным в лесу на охоте зверем. Быть может, хвост Комариный загнетсЯ баранкой. Но пока что он свесил свой хвост, скулит и трясет ушами.

Булькает музыка. Кто-то где-то играет в футбол... Прожить день. Он уложился в четвертушку тетрадного листа. Сарычев достает дневники прежних лет, читает записи своих предшественников. Вот так же садились они к этому столу вечерами. Обмакивали ручку

в чернила... Записи коротки: «Был в лесу. Ничего не видал...»

Сарычев улыбнулся. Человек пришел в лес, но лес был ничто для него. Как утро и полдень. Как воздух. Березы были ничто. Цвели рябины — и это ничто. И сосны, и елки, и ландыши, и пенье дрозда, и лосиная скидка — ничто. «Был в лесу. Убил пернатую птицу...», «Выступал на собрании по случаю 47-й годовщины...».

Предшественники Сарычева писали разными почерками, но всем одинаково трудно им было растянуть свой прожитый крохотный день на большое пространство бумаги — на четвертушку листа.

Сарычев топит плитку, жарит картошку с салом, пьет чай, Руки и плечи его тяжелы после весел, косы, топора. Теперь бы лечь и уснуть, но сердце еще не готово ко сну, в сердце нет тишины. Сарычев читает давешнее письмо из дому. Жена ему пишет:

«Жена, родной! У нас как будто все сносно. Витальке скоро исполнится восемнадцать лет. Ты не забыл, что двадцать седьмого августа у него день рождения? Он хочет, чтобы ему подарили гитару. Теперь это модно — бренчать на гитаре. Теперь все бренчат. Ну что ж, пускай. Мы подарили ему два года назад мотоцикл — он был счастлив. Теперь пусть будет еще и гитара. Богатые подарки нам стали не по карману.

Я хожу на поддувания. Мой т. б. как будто стабилизировался, не прогрессирует ни в ту, ни в другую сторону. Мой врач опять предлагает мне лечь в больницу поколоться, но я отказалась. Мне не хочется оставлять Витальку одного. Я верю, что он не свихнется со своими мотоциклами и гитарами, но мне спокойнее, когда я возле него. Очень нам не хватает тебя. Ты знаешь об этом, это старый наш разговор. Ты зовешь меня к себе на Кундорожь, но без дела я ведь не могу, а крестьянская работа на земле для меня навсегда заказана.

Я знаю, тебе тяжело сейчас, Виталька мне все рассказал, и вот теперь я еще прочла в газете про эту ужасную историю со Шмелем. Как это низко — убить беззащитную собаку. Ты помнишь Есенина? «Счастлив тем, что целовал я женщин, мямл цветы, валялся на траве. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове»... Но я хочу сказать тебе, Жена, и

о другом. Ты должен понять, как тяжело мне быть без тебя одной месяцами с моим т. б. Тебе сейчас больно — убили твою собаку. А моя боль не оставляет меня ни на минуточку. Я не жалуясь, нет. Я знаю, как ты любишь природу, леса, крестьянскую работу и как томишься служебной тяготиной в городе. Но что же, что же нам делать, Женя, родной мой?..»

Сарычев курит и горбит спину над столом. Он полысел со лба, ресницы и брови его выгорели добела, лицо все сжато в кулак, загар на нем медно-багровый и медная шея. Маленький крепкий нос петушиным клювом. Проступили под свитером лопатки-лемеха, большие руки лежат на столе, иззубрены, заскорузли. Сильный сорокатрехлетний мужчина плачет и курит. Выходит на волю. Комар ему тычется в ноги, и лижет, и дергает за штанину. Он любит и просит любви. Живая душа — он не может один. Егерь гладит щенка по лобастой, ушастой его голове, по мягонькой шерсти.

Тепло, черно, тихо; только бормочет землечерпалка на канале да брезжит свет над рейдом в Гумборице. Да гукнет выпь на губе, сполохнется спросонья кряк-ва. Сарычев слушает, слушает ночь. Земля и вода спят и дышат. Дыханием движим воздух; наносит спелые запахи сена, березы, грибов, проросшей стоялой воды. Сарычев думает, что со светом надо податься в сосновую гриву в загубье, за ночь там народится белых грибов: парно. Сарычев думает, почему, почему люди бывают жестоки друг к другу, почему эта скудная, чистая, работающая жизнь, которую он выбрал себе, почему его скромное счастье причиняет несчастье другим? Почему?

«Дурачок ты, Комарик,— говорит Сарычев щенку.— Ничего ты не понимаешь. У меня был товарищ, дружище мой Шмель. Он меня понимал. А ты недотепа еще. Тебе поиграть бы. А у меня больная жена. Ей надо, чтобы я каждый день приходил со службы домой. А мне уже пятый десяток. Ты понимаешь, пятый... Я умею косить, пахать, рубить дом, охотиться на куницу. А в городе это не нужно. Вот, братец, такие дела. Я крестьянин, а жизнь меня загоняет в город. Ну, ничего, мы с тобой постараемся устоять... Ну что ты, что ты, собака, что ты лижешь меня? Я ведь горький на вкус. Я весь прогорклый».

На губе лопнул выстрел, будто большая рыба уда-

рила по воде. Сарычев выносит из дому ружье, гремит на бону цепью. Вот взялся мотор. Проснулась река. Застонал дебаркадер. Пролетели какие-то птицы. Размигался на небе спутник-шпион. Вскрикнула чайка. Запахло тревогой. Разнеслись над водой гневливые голоса мужчин.

## ЛЮДВИГ БРОЗОВСКИ

Посадив в мае огороды, Сарычев с Блынским пристрастились играть вечерами на летней кухне в шахматы. Когда Блынский выигрывал партию, егерь должен был ехать копать червей. Он рылся возле хлева, на правом берегу, там звено Голохвастова содержало лошадь. Выиграв банку червей, Блынский плыл на губу порыбачить с удочкой. Если выигрывал Сарычев, Людвиг накашивал корму для кроликов егеря. Кролики множились каждый месяц, колотили лапами в сетку загонки, жевали и требовали еды. И уже не оставалось времени для шахмат, хозяйство съедало дни, и рассветные зори, и вечера. Чем длиннее была работа, тем короче делались записи в дневнике егеря: «Ставил аншлаги в заказниках. Ездил в Пяльце за хлебом. Откачивал воду из дебаркадера. Крысы таскают утят из выводка подсадной».

Егерь думал, что осенью надо справить думный костюм Витальке, жене нужна шуба, иначе совсем пропадет. И егерь махал косою по кустам. И кролики все жевали, жевали... Он ладил капканы, чтобы доставить их поздней осенью возле ондатровых хаток. Он возлагал большие надежды на зверовую лайку Шмеля и кормил его прежде, чем сам садился к столу...

Сарычев звал Блынского Леней, а Блынский звал егеря Женей. Кроликов у них было поровну, и поровну был поделен огород. Только Сарычев нарастил кроме луку, редиски, морковки и репы еще гороху и помидоров, а Блынский все засадил картошкой.

...Как соберется весь штат охотбазы, придут Кононов с Птахиным, сядут к столу в летней кухне, выпьют под молодую картошку, под птахинского карася и малосольный кононовский огурчик, Сарычев принесет свой транзистор, кухня огласится разноязыкой речью... Сарычев говорил тогда Блынскому:



— Людвиг... Знатное имя. Чего ты его скрываешь? Лёнек у нас и без тебя навалом. А Людвиг — это уже Европа. Голубая кровь...

— Мать так назвала, — отмахивался Блынский. — Тогда модно было имена выдумывать по красивше. Это сейчас опять всех стали Иванами называть, да Катками, да Машками, а тогда все Генрихи были, Эдуарды, Ростиславы.

— У нас дак в Пялье и сроду кажный третий Иван, — скажет Ванюшка Птахин, выворачивая губы.

Кононов сладко-сладко сощуривал глаза и ждал только случая, чтобы вступить в беседу...

— ...В сорок восьмом году, — наконец-то дождался, — я аккурат был в Кыжне егерем, баба одна там жила. С Латвии, что ли, приехаччи. Элеонора. Лет сорока шести, интеллигентная женщина. Но одинокая, без мушшины... У Колошманова, соседа моего, плотником он на стройучастке работал, сын был вернувши из армии дак... Сахару брали шешнаццать килограммов. Брагу варили. Гуляли всей Кыжней. Вот как Евгений Васильевич-те сидит, начальник стройучастка Полозов был посажен, а так, ближе к краю, — Элеонора... Баба моя в клюкву была аккурат ущощцы, с ночевой. Клюквы в тот год она сдавала на триста рублей по теперешним деньгам, а по старым три тыщи... Все как выпили по пять стаканов, я гляжу, Элеонора осоловещи сидит и блузка на ней расстегнувши... Тело такое, как груздь соленный, сочное, с хрустом...

— Знаем, знаем, — перебивает Филиппыча Сарычев, — баба твоя некстати вернулась из клюквы. Рассказывал ты уже... Ну что, Ванюшка, — обратится он к Птахину, — не послать ли нам гонца за бутылочкой винца?

— А у меня нету денег дак... — радостно отзовется Птахин. — Бензину-то хватит...

— Давай-ка, Людвиг Брозовски, сгоняйте с Ванюшкой. Ты помоложе.

— Почему это Людвиг Брозовски? — обижался старший охотвед. — Меня зовут Леонидом — и все! Мой дед был казак из станицы Блынской.

— Людвиг Брозовски... — непонятно зачем повторит Сарычев. И на этом пирушка никнет. Блынского позовет теща. Птахин займется погрузкой дров в свою лодку. Кононов выпьет еще чайку...

Сарычев брался тогда за топор или косу. Отмахивал и твердил про себя: «Людвиг Брозовски, Людвиг Брозовски...»

Людвиг Брозовски был мальчик двенадцати лет, немецкий мальчик в мышинного цвета военном костюме с железными пуговицами; на пряжке ремня: «Gott mit uns!» — «Бог с нами». Женя Сарычев тоже был мальчик, он чистил свинарник, курятник, кроличьи клетки, полел морковку, копал траншеи под силос, пас телят, индюков, подметал мощенные битым кирпичом оранжевые дорожки — он был маленьким русским рабом на усадьбе Брозовски. Его отца расстреляли в деревне Залучье, над светлой плескучей рекой Ловатью. Отец его был партизан. Деревню сожгли, ребятишек и баб погрузили в закрытые пульманы. Долго, долго длилась дорога — тряска, потемки и голодуха. Потом — черепичные крыши и толстокаменные хлевы, чистые, без соринки поля ячменя, гороху и сахарной свеклы; летом солнце в затылок, зимой — жидкий снег, деревянные боты, гороховая поклебка, каморка в хлеву в боковушке. И будто сам — кролик, скотинка с опущенными ушами, только ночью — прижаться к матери, плакать с ней и шептаться.

Людвиг Брозовски, ровесник, такой же белоголовый, такого же роста, как Женя, немецкий мальчик, разглядывал Женю насмешливо, неотступно. Женя смотрел всегда в землю и не встречался с глазами хозяйского сына. Жене хотелось исчезнуть, не быть, не присутствовать в этой жизни, в этой стране. Он слышал немецкую речь, но звук ее был для него все равно как ворчанье хозяйской овчарки. Он не хотел и не мог понимать эту речь, признавать за ней человеческий смысл. Он только работал и заскорюз, как стручок гороха. Он выполнял хозяйские «хальт, шнель, комм, цурук», как выполняет эти команды лошадь...

Но было одно такое местечко, где Женя смеялся, где становился на коротенький миг двенадцатилетним мальчишкой. В густом орешнике на дне оврага он отыскал себе малую заводь: ручей запрудило камнем, и не видать. Женя купался в студеной воде и после прыгал, как в детстве в Залучье, на теплом песочке, на ласковом берегу, и тихо-тихо смеялся.

Однажды он вынырнул, вылез из своего потайного смута и не смог отыскать одежонку. Зато он услышал немецкую речь и немецкое гоготанье. Людвиг Брозовски глядел на него сквозь орешник, и Женя встретил его глаза. Людвиг показывал пальцем на Женю, смеялся и кинул в Женю орешком. Приятели Людвига, мальчишки, немцы, тоже смеялись и прыгали около Женя. Они позалили его и мучили, мазали глиной. Они завязали его одежду и намочили узлы в ручье. Женя тоже когда-то вязал и мочил рубашонки своих однолеток в Ловати. И ему тоже вязали. Но это была игра. Можно было подражаться, и посмеяться, и зареветь, и потом позабыть, прыгнуть в речку. В конце концов все узлы распутывались.

Но с немцами Женя не мог подражаться. Он не заплакал, только сжимался и втягивал голову, прикрывал руками глаза. Узлов он не смог развязать: одежда его была порвана на жгуты, а после завязана. Он остался лежать на земле, дожидался ночи. Божья коровка ползла у него по ноге, и он загадал, что если она доползет до сердца, то нынче Гитлеру будет конец и он возвратится в Залучье. Божьей коровке было еще далеко ползти, и Женя зажмурился, замер, чтобы не помешать ей. Он задремал и проснулся от дальнего голоса матери. Темнело уже, мать искала его по полям, звала. Он откликнулся тихо, потом погромче. Мать пришла, обняла его и закутала в кофту.

Три года Женя Сарычев пробыл в рабстве в Восточной Пруссии. Он разговаривал там с лошадьми и кроликами, с овчаркой Рениксой — они понимали его. Но с людьми, даже с детьми, он не молвил ни слова. Он долго, долго был в дальней чужой стране, научился немецкой работе на ферме и в поле, но оставался русским, залучким мальцем. Немцы считали его дикарем, и это было понятно немцам. Ему надлежало быть дикарем. Он не подымал глаза от земли и не улыбался, когда они одаряли его соевой шоколадкой.

...В сорок четвертом году семейство Брозовски надело траур. Погиб на Восточном фронте их старший сын, наследник, надежда, отец Людвига Рихард. Дело было под осень, и Женя работал в саду на уборке плодов. Он забрался в глухой уголок, чтобы схрупать сладкое яблоко. И вдруг увидел там Людвига. Немец его не видал, он тихо шел в своих гольфах и френче,

в подкованных толстокожих ботинках и плакал. Женя глядел, глядел из заросли на лютого своего врага. Он покрасел за ним и чувствовал в сердце радость, жестокость, великое торжество. Людвиг остановился под яблоней. Женя приблизился к нему и стоял у него за спиной. Людвиг всхлипывал. Женя притопнул ногой. Немец обернулся к нему. Женя смотрел на врага прямо, близко, дерзостно — и смеялся. Немец прыгнул, вцепился.. Они повалились, рычали, кусали, душили друг друга. Каждый готов был убить другого, хотел убить. Но оба были мальчишки, ни одному не хватало силы убить. Их разнимали, но даже у взрослых не сразу хватило силы разнять.

После Женя лежал на земле, и Людвиг бил его коваными башмаками, железной пряжкой: «Gott mit uns!» — «Бог с нами». Женя мог помереть, но выжил, потому что все громче жужжали на небе русские самолеты и Гитлеру наступал конец. Женя думал, что божья коровка тогда доползла до сердца, как он загадал у ручья, и потом улетела, а он проспал.

## ПАХАТЬ И КОСИТЬ

Домой они пробирались с матерью дальним путем — Германия, Польша. Им надо было добраться в Залучье — куда же еще? Их ждали в Залучье головешки, но все равно вспоминался дом. Казалось, родная деревня встретит и примет. Родная ведь...

— Язей буду удить в Ловати, — говорил матери Женя. — Их никто же в войну не ловил. Они жирные. И на зайцев буду петли ставить. Зайцы, наверное, расплодились. Полно! Ружье купим, на косачей буду охотиться. Проживем.

...Но в Залучье после пожара остались только два дома. В них бедовали два старика и старуха Анисья да ползал по улице в ящике на деревянных колесах обезноженный на войне Тимофей Корабельников, печальный мужик, погодок Василия Сарычева, Жениного отца.

Жить оказалось негде в Залучье и не с чего, некому строиться вновь. Деревня стала погостом, негодным для жизни местом. И Женя с матерью снова наладились осенью в путь: земля-то ведь не чужая, Россия.

Они отыскивали Женину тетку Шуру в предместье большого города. Шура жила в деревянном бараке, без мужа, с тремя детьми, работала в подсобном хозяйстве завода, на скотном дворе. Муж ее не вернулся с войны. Женя с матерью тоже стали работать в подсобном хозяйстве. Все жили в комнате тетушки Шуры. Она заболела, слегла,— блокада ей подорвала здоровье. И Женина мать заболела. Женя работал, кормил трех ребятишек и двух занемогших женщин.

На землях подсобного хозяйства образовался пригородный совхоз. Женя работал на парниках, и на скотном дворе, и в кузнице, и в мастерских. Хотя близко дымил, и пытел, и светил по ночам во все небо огромный город, по овражкам и перелескам водились зайцы и лисы. Женя их приносил домой, выделывал шкуры и продавал. Он завел возле дома крольчатник, построил будку для дойной козы. В совхозе Женя стал трактористом-механиком широкого профиля, закончил вечернюю школу. Жить было голодно, да и времени не хватало рассиживать за столом. Женя работал, учился. Все давалось великим трудом. Так положено каждому в жизни. Все шло как должно, и все удавалось; не сразу, не скоро, но удавалось. Совхоз построил три каменных дома с газом и ваннами в каждой квартире. Женя Сарычев получил комнату на втором этаже. Помаленьку оправилась мать и стала работать в совхозе дояркой.

Барак снесли, тете Шуре дали двухкомнатную квартиру в городе. Город надвинулся на совхоз. За зайцами Женя теперь уезжал в субботу на электричке.

Он поступил в юридический институт на вечернее отделение. Попастъ было трудно ему, как бывшему в оккупации. Помогла положительная характеристика, выданная совхозом. Женя выбрал юридический: ему казалось, что время больших судилищ не миновало, не кончилось вместе с Нюрнбергским процессом. Ему предстоял еще свой, личный суд над семейством Брозовски. Надо было себя подготовить к суду, юридически подковаться.

На втором курсе Сарычев женился и переехал в город к жене. Она была тоже студентка его потока. Жила в неухоженной старой квартире с высокими потолками. Когда-то квартира принадлежала ее отцу. Отец был профессор-историк. Его убило осколком снаряда

на набережной Невы. Мать умерла от голода и от горя. Прежде книгами полнилась вся профессорская квартира. После войны они поместились в одной комнате. Дочь профессора здесь жила и читала, сидя с ногами на оттоманке, Плутарха, Бунина, Голсуорси; Достоевский казался ей мрачен — зачем же так? Из современных — Панову и Паустовского. Раз в месяц она проводила ревизию книгам, увязывала десяток профессорских фолиантов бечевкой и относила в букинистический магазин. В комнате возвышалась до потолка печь зеленого глазурного изразца. Молодая хозяйка любила глядеть на огонь и протягивать к нему ноги. Днями она работала сметчицей на заводе. Вечерами ходила учиться в юридический институт.

Через год у Сарычевых родился сын Виталий. Жене хотелось, конечно, чтобы муж подольше был дома. Она говорила, что можно в конце концов совсем расстаться с отцовской библиотекой, что можно прожить без тридцати четырех томов энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Сарычев соглашался, что можно прожить. Но совхоз он не бросил. Он приходил домой в сапогах, измазанных глиной, от него пахло соляной, землей и навозом. Его лицо и шею уже в марте напекало солнцем до медной багровости. По улицам города он проходил как заезжий колхозник, чужак.

Сроки весенних работ в совхозе совпадали с экзаменационными сессиями: теория права и государства, гражданский и уголовный кодексы, толкование законов, история философии, речи Плевако — все шло впережку с севом, обработкой междурядий.

Защитив диплом, Сарычев уволился из совхоза. Он получил назначение юрисконсультом на завод и работал пять лет, справлялся. В летний отпуск они уезжали с женой и Виталькой на Ловать, грузили имущество в два рюкзака. Бабка Анисья жила по-над берегом в ветхой избе на залуцком пепелище. Она кормилась коровой и жалилась Сарычеву, что лучший покос отдается безному Тимофею, он объезжает в тележке уголья с серпом, снимает верхки, а ей остается косить на согре. Сарычев отбивал бабкину косу, размахивал ею всласть и сметывал сено в стога для бабки Анисьи. В Ловати под увалом били хвостами язи. Река была светлой, веселой, плескучей, как в детстве. Жена с Виталькой собирали по берегам землянику, варили

варенье. Сарычев говорил, что лучшего он не желает в жизни: вот так бы поставить избу над рекой, и чтобы пели дрозды в рябиннике, и работать, пахать и косить. И сад посадить. Земля оплатит, только надо ее понимать и любить.

Жена здоровела на молоке, а в зиму прихварывала. Виталька рос. Не хватало зарплаты. Сарычеву предложили пойти начальником ЖКО на заводе, и он пошел. На новой должности проявилась в его характере докучная черта. Сарычев оказался упрямым и непокладистым начальником ЖКО. Заводом был выстроен дом, и список распределения квартир, после длинных дебатов и слез, утвердили. Но Сарычев выступил против уже утвержденного списка. Он требовал в первую очередь дать квартиру формовщице Корыхаловой, многодетной вдове, а председателю местного комитета пока подождать выдавать. Он говорил где надо и где не надо, что в первую очередь надлежит обеспечить жильем рабочих горячего цеха, а после администрацию и ИТР.

...Формовщице Корыхаловой дали ключ от новой квартиры. И предзавкома тоже дали. Но тут заметной стала еще одна черточка личности начальника ЖКО — нервность. Нервочки в нем дребезжали, слишком часто вспыхивал парень и очень уж был речист. Начитался речей Плевако.

Может быть, Сарычев и остался бы на заводе, притерся. Никто его не снимал. Но тут пришло письмо от старого знакомого — его назначили директором совхоза в дальний район, и нужен ему позарез управляющий отделением. Сарычев согласился с легкой душой, прибыл на место, приглядываться не стал, а сразу же впрягся. Земля досталась ему — нерожальный подзол, скот — непорядный, ледащий, покосы — болотина да ольшаник, машины стоят, мужики коровят на рыбалку, а бабы в клюкву.

Иного Сарычев и не ждал. Свинтил наново развалившийся трактор, достал канавокопатель, осушил для начала лужок. Разжился лесом в сплавной конторе, приплавил лес по Вяльнице, начал строительство нового хлева. Но что удивило деревню — начав, управляющий дело закончил. Начинали-то многие до него. А этот сам починил трактор и ездил на нем, и косил, и бревна тесал, да еще улыбался, лицом не смурнел.

Его не кидало в запой. Молодой управляющий погляделся бабам в деревне Озерной, а это не могло не сказаться на отношении к нему мужиков. Земля, конечно, не разродилась на диво, коровы не дали рекордных надоев, зарплата на полеводстве не слишком приросла. Но все-таки приросла. Новый управляющий не обманул никого посулом, он старался для общей пользы, не матерился, был мягок, охоч до шутки.

Поселился Сарычев на квартире у старой бобылки Прасковьи. Завел себе борова, сам его выкормил к Новому году. Это тоже был факт в его пользу. Значит, приехал не на день, значит — хозяин. В деревне нельзя без скотины. Но жил он один, без хозяйки — здоровый, не старый мужик, и девки поздними вечерами ходили мимо его окошка и прыскали без нужды. Бабы судили, ржали, хвалили Евгения Васильевича за глаза, но и пророчили: раз без хозяйки приехал, значит, не приживется, вспорхнет.

Сарычев отработал сезон и остался в зиму. Он застрелил своего борова из ружья, свез домой сала и мяса и возвратился в Озерную. К нему приезжала жена, деревенским она показалась худой и бледной, болящей — кожа да кости. Бабы пожалели Евгения Васильевича: к такой и притронуться-то страшно. «Молоко парное пить брезгат, — сообщила бабам Прасковья, — только кипяченое хлебать».

...Зимой бывало Сарычеву тоскливо в Озерной. Но за околицей начинался лес — куничьи следы, косачьи лунки, лосиные лежки, у зайцев набеганы тропы. Все чисто, вольготно, жизнь кажется бесконечной, и старость не в старость, и горе не в горе. Лесу тысяча лет и больше, но он нимало не постарел, не обижен, пригож. Сарычев возвращался из лесу веселым и думал, что долго, долго еще будет жить в Озерной, сведет ольшаник, распахнет, засеет целину, осушит пойму, нарастит стадо, настроит домов.

...Весной на лучших клиньях земли ему наказано было сеять кукурузу, а пойму — бесценные клеверища — всю распхать под горох. Сарычев отказался исполнить. Директор шумел на него, наезжали районные власти. И кукурузу посеяли, с поймы содрали извечный ее животворящий травяной убор. Сарычев крепко тогда напился, а пьяный он был нехороший, недобрый и гомонливый. И лишнее говорил. «Над землею нельзя



издеваться,— гомонил он на всю деревню.— Земля не простит. Можно мучить людей. Люди вытерпят. А земля отплатит». Озерная слушала и молчала: «Пусть перебесится. Ишь, нализался. Молодой еще, жизни не знает».

Кукуруза проклюнулась, в рост не пошла, ее утопило дождями и уморило июньской ночной студеностью. Приказано было все перепахать, пересеять. А озимую рожь, которая начинала уже колоситься, скосить на зеленку...

Сарычев снова напился и гомонил. Нервы его оказались хлипкими для работы в сельском хозяйстве. Он уехал в город в разгар полевых работ, две недели не возвращался — и был уволен.

Может быть, он бы притерпелся, привык, но именно в это время пришло письмо от сына Витальки. «У мамы нашли чахотку,— писал ему сын,— взяли в больницу. Папа, ты приезжай, нам очень, очень плохо одним без тебя...»

О молодом и нервном управляющем скоро забыли в Озерной. Управляющие тут менялись чуть ли не каждый год. Деревня жила, как жила. Мужчины ловили рыбу, а бабы носили клюкву с болота, благо хороша приемочная цена.

## ЛЕТОМ НА ОЗЕРЕ

Деревни над озером стоят поодаль одна от другой, непохожи. Пока осилишь путь из Озерной в Пялье или из Пялья в Бережно, комары тебя заедят, устанешь и ноги намочишь, и отдохнешь в бору на скамейке-курилке, найдешь подосиновый гриб, сощипнешь земляничину на канаве, надеешься попутной машины, спугнешь тетерку, свариишь чайку на костре, коли есть котелок. Деревни все вышли из одного лесу, а разнятся, у каждой свой производственный профиль, свой нрав, обычай, корень, секрет.

В Пялье сто шестьдесят дворов, а в Бережно — сорок. Но бережновские рыбаки сдают рыбы втрое против пяльинских. Бережновские деды помнят, какая рыба, когда и как ее взять, а в Пялье и дедов-то нет. Бережновские добывают сига в открытом озере на глубинах. А пяльинским сиг не дается. Сиг не заходит в

ставные невода. В бережновской бригаде есть сейнера, а в пяльинских — мотоёлы.

В Бережно держат на каждой усадьбе не менее трех котов. Коты презрительно важны, сидят на крылечках, напорщив усы, и щурятся от сытости.

В Пялье есть лесоучасток, гараж, мастерские, два магазина, лесничество, сельсовет, два канала — старый и новый. Через каналы — мосты на плаву. Когда проходят каналами гонки леса, буксиры и лихтера, надо мосты зачалить к берегу. Значит, есть и такая должность — чалить мосты. Поставлена будка в межканалье. Около будки хорошее место для сходки пяльинских мужиков — посидеть, поднять. Работы в Пялье хватает всякой. Зимой здешние рыбаки становятся лесорубами, тогда как бережновские снаряжают обозы, торят на озере санный путь, спускают под лед мережи.

Чистой, извечной рыбацкой породы в Пялье не отстоялось. Здесь не сеют, не пашут. От деревни до озера нет земли, чтобы ступить и не чвкнуло. Вдоль каналов стоят неширокой кулисой боры. Орлан белохвостый построит гнездо на дебелой сосне, заклохчет, зальется... Летом в Пялье съезжаются дачники: дети, пенсионеры, родня. После армии пяльинская молодежь норовит зацепиться за город. Работают на заводах, но крень не рубят, детишки и тещи у городских здоровеют на пяльинской рыбе. Летом рыба в цене.

Бережновские не уходят в город, рыбачат деды и внуки. Дачники в Бережно не живут. Вся деревня построена кучно, фасадами к бухте, за огородами — лес. Он мелкий и волглый, не годный для заготовки. Над лесом и озером — краснокирпичная башня, бережновский маяк. Он сложен еще в прошлом веке. Смотрителю маяка предназначен каменный дом, и каменный хлев, и погреб. Стены строений толсты, не поддаются времени, сырости и ветрам.

Бережновцы коптят сига в русских печках, на ольховом, пахучем, нещипком дыму. Белая, сдобная рыба томится в своем соку, чуть розовеет. Вкуснее сига, закопченного на ольховом жару, я не пробовал яства.

...Из пяльинских только Володя Ладьян промышляет сига. Ему выделяется мотоёла с компасом. В седьмом часу утра он швартуется к бону охотничьей базы и кличет меня:

— Хотите, пойдёмте в озеро сети похожать.

Идем. В губеросло тростников. Их стебли сочны, метелки не выкинулись еще. Бабы жнут тростники серпами, мужики их валят косой. Повсюду ползают, крутятся лодки. В губе работают Пялье и Бережно, Озерная и Гумборица, и Сонгострой.

Микуем устье губы, выходим на озерный фарватер. Бежит, блестит, рябит на солнце вода. Чем дальше от берега, тем вода темнее, чувствуешь ее студеность и глубину. Горизонт задернут над озером сине-лиловой дымкой. Безветренно, славно. Рулевое колесико вертит Володин товарищ, балтийский рыбак. Он приехал к Володе на отпуск. Разделся до пояса, загорает. На плече рыбака нарисован синий штурвал, почти такой же величины, как и штурвал мотоёлы. Спина просторна, к талии сходит на конус. Ягодицы обтянуты брюками, полнятся икрами голенища кирзовых сапог. Моряк широко расставил и припечатал к палубе ноги. Нет изъяна в моряцком теле, оно монолитно, затылок прочен, округл. Мне вспоминается Уолт Уитмен: «Я влюблен в растущих на вольном ветру, в людей, что живут среди скота, дышат океаном или лесом, в судостроителей, в кормчих, в тех, что владеют топорами и лопатами и умеют управлять лошадьми. Я мог бы есть и пить с ними из недели в неделю всю жизнь».

Прикорнул в уголку молчаливый моторист Кеша.

Мы сидим с Володей в корме.

Протянув к нам голые пятки, лежит на носовом фальшборте рыбак голохвостовского звена Геннадий. Он читает толстый роман «Год жизни». Он потягивается, пятки его приближаются к нам.

— Тоска-а! — произносит Геннадий, зевает, ложится щекой на роман «Год жизни».

Весною, отбыв военную службу в городе Львове, он возвратился в Пялье, в родительский дом, со значком радиста третьего класса. Во Львове жизнь была белорозово-синего цвета, там были вишни-черешни, на каждом углу продавалось сухое вино по дешевке, и белорозовых вишенных девушек было навалом во Львове. В Пялье серые избы, и серые дни, и ржавая зелень болота.

Геннадий перевертывается на спину, раскидывает руки и жалуется небу:

— Тоска-а-а...

Мы уходим все дальше в озеро, берега исчезают из

глаз, остается лишь бережновский маяк, он все ниже, ниже. Будто озеро — купол, вершина земного шара, и мы карабкаемся по нему вверх на своей мотоёле. Являются белые пароходы и пропадают в сине-лиловом тумане. Откуда туман? Нет туч, облаков, пароходы совсем не чадят. Туман подымается, высится, будто горные берега. Доносится с озера гул, как будто завод под водой. Там что-то урчит и лязгает, движутся механизмы.

Володя Ладьин глядит на компас и говорит моряку, что надо держать на северо-запад.

— ...Все же выдержка большая у Евгения Васильевича, — говорит мне Володя. — Когда такое дело, собаку убили, тут можно сорваться. Ленька-то Блынский вроде парень был ничего... Я бы не знаю, что сделал, если бы у меня собаку убил... Без собаки в лесу ты идешь, ничего не видишь, не чухаешь... Да. Что значит выдержка. А если сорвался бы, и собаку теперь все равно не вернешь, и сам бы не расквитался... Для многих ведь это вообще непонятно: собака — собака и есть. Ну, убил и убил. Я тоже был одно время егерем на Кундорози. Радикулит у меня — думал, на берегу полегчает... И базу я строил. Начальником охотинспекции тогда был Рогаль, полковник в отставке. Да он и сейчас... Вот, бывало, под осень приедет, всех охотников соберет на Кундорози, и начинаем делить ондатровые угодья. Для ондатры нет лучше места, как Ляга. Хаток настроит — деревня целая там у нее... Да вот весной-то мы с вами сети похожали, вы видели, сколь там хаток торчало, в Ляге. И подойти там удобно, и от базы недалеко. Лучшее место. Капканы поставил — и каждый день обежать их можно. Зарплата у егеря никакая, пустяк... А на ондатровых шкурках все-таки можно бы приработать... Соберемся мы это на базе, распределяем: кому на Малинское болото, кому в Чаичьи озерки, кому на Рачиху, а сб Ляге речь не идет. Мне кундорожское устье отведено было... Незавидное место, но я молчу. Начальству видней. За собой Рогаль Лягу оставил. Я хотел у него спросить, какую он пенсию получает как полковник в отставке. Неужто мало ему, чтобы и на ондатре еще лучший кусок оторвать? Но промолчал. Ладно, думаю, поживем, посмотрим... Зима уже началась, а Рогалья нет и нет. Я в кундорожском устье отловил ондатру. Куничек парочку взял... Больше-то неког-

да было, на базе всегда народ, на подледный лов приезжают. Лосей, правда, шесть штук отстреляли, лицензии были у нас. Мясо сдали. Вечером сбегаю за губу, тетеревиною стаю выпугну из снега, сшибу косача... А в Ляге ондатровые хатки неотловленные стоят. Я никого к ним не подпускаю. Сторожу. И обидно мне: вроде бы я хозяин в лесу, егерь, и как бы сторож при господской усадьбе. И добро пропадает. Я взял и поставил капканы в Лягу, по два на каждую хатку. Попалось хорошо, я шкурки ободрал, выделал... А Рогаль и приезжает. Да... Шуметь он не стал, ничего такого. Сходил, посмотрел. Распили мы с ним еще бутылку на базе... Я ему говорю откровенно: «Вы,— говорю,— человек городской, вам это забава. А для меня — хлеб насущный. У вас пенсия военная плюс зарплата, а волка, как говорится, ноги кормят. Еще немного,— говорю,— и мех бы пропал, а я не мог допустить». Он говорит: «Ладно, я доложу областному совету общества, пусть решают...» Да. Через две недели мне присылают выписку из решения: лишить меня права охоты сроком на три года. Я хотел написать куда-нибудь, добиться правды, а потом — против начальства идти, как против ветру мочиться. Все на тебя же и отнесет. Рассчитался да подался обратно в рыбаки. Рыбаку свободнее, лучше. Егерь, что там ни говорите, все же холопская должность: постель приготовить, плитку стопить, на охоту проводить. После тебе за это стопочку поднесут, ты должен быть благодарен... Не всякий может. Я решил, что лучше радикулит, чем это дело. Да там еще и хуже для радикулита: на болоте ночуешь, спишь на земле... — Скоро День рыбака,— произносит Геннадий.— Напьемся-а!

Володя берет в свои руки штурвал, совершает маневр, ведет мотоёлу галсами, ищет. Возле борта вдруг возникает буёк, плавучая вешка с привязанным к ней лоскутом. Уже не видать бережновского маяка. Ничего не видать. Только вешка в огромном озере — иголка в стогу. Отыскалась. Кеша глушит мотор. Мотоёла дрейфует. Балтийский моряк хватается за веревку, идущую вглубь от вешки к якорю. Мы тоже хватаем и тянем. Но если бы нам четверым потягаться за эту веревку с балтийцем, то он бы, наверное, всех нас перетянул. Он работает, как лебедка. Зыбается мотоёла. Глубина сорок метров...

— Давай, давай, орлы-куроеды! — покрикивает Геннадий.

Балтийский моряк молчит.

Володя укладывает сеть, камни-грузила, пенопластовые поплавки, кухтыли. Он что-то рассказывает из своей многоопытной жизни, но я не слышу, заданный темп работы не позволяет отвлечься. Сеть движется, как лента конвейера. Сиги попадают редко, у них маленькие обиженные рты, тела их — серебряные веретена.

— Эх! — восклицает Геннадий. — Труд сделал из обезьяны человека. А что он делает из человека? Из человека он делает крокодила. А что крокодилу надо, чтобы стать обратно человеком? Ему надо выпить. Давай-давай, орлы-куроеды! Потянем-потянем да бросим.

Балтийский моряк не улыбочив. Его тело слегка оросилось потом. Оно засветилось, как обкатанный морем камушек-халцедон.

Возникает из дымки сейнер, наплывает на нас. Бережновские рыбаки нас будто бы и не видят. У них борта выше, капитан в своей рубке совсем высоко. Капитан не увенчан фуражкой с золотыми колосьями, он без галстука, без нейлона и без шеврона, в ватной куртке и в кепке с пуговицей на макушке. Он небрит, краснослиц, светлоглаз. Сейнер проходит без звука, без слова, без взгляда, как летучий голландец...

Балтийский моряк глядит ему вслед и молчит. Мне опять вспоминается Уолт Уитмен: «Я сказал, что душа не больше, чем тело, и я сказал, что тело не больше, чем душа, и никто, даже бог, не выше, чем каждый из нас для себя...»

Где кончается тело и начинается жизнь души? Где душа поглощается телом?.. Прекрасное, зрелое тело мужчины купается в солнечном свете. Оно исполняет свою изначальную функцию в мире — работу. Работают руки, плечи, лопатки, торс. Человек выбирает из озера сеть. Его тело живет. На нем выражение счастья...

Сигов попадает немного, но сеть велика, и садок наполняется живым серебром. Сиги одинаковы, смирны. Они засыпают, глотнувши воздуху, и твердеют.

— Когда я в армии был, — позевывая, говорит Геннадий, — ефрейтсра одного у нас укусила бешеная собака. Нам было задание — уничтожить всех псов в рай-

оне. Патронов выдали боекомплект. Идешь по селу, где услышишь: пес тьякнул — ты-ды-ды-ды! Красота! Как пират все равно: идешь — от тебя все прячутся. Сила!! А тут что? Тоска!

...Урчит, гудит и лязгает где-то на дальнем фарватере. Дымка смягчает свет полного, неукрытого солнца. Солнце севера не печет. Сети выбраны, переставлены в новое место. Созревает гроза, тянет ветром. Балтийский рыбак надевает тельняшку и куртку, становится точно таким, как Володя Ладьин: средних лет, невеликого роста мужчиной в беретке и сапогах. Он закуривает «Беломорканал» и говорит, что у них в Усть-Луге нынче весной морозом прихватило черную смородину в цвету. И не будет ягод. Красной смородине хоть бы что, а черная вся пошла пустоцветом.

Когда мужчина наденет на свое равное богу тело куртку или пиджак, в нем опадает стихийная, безотчетная гордость, он опускается до мирского. Когда же тело потрачено жизнью и щупло, пиджак или куртка — подмога мужчине...

Я философствую на глубокой озерной воде. Ее беспричинное движение, огромность, оправданное безделье — сидение в корме и легкое колыханье располагают к философичности.

Геннадий читает роман «Год жизни». Он обращается к нам затуманенным взором и обещается:

— В День рыбака напьемся-а!..

## ДЕНЬ РЫБАКА

Рыбацкий праздник берет начало в колхозном клубе. Там председатель колхоза Урезов вручает переходящее знамя бережновской бригаде и произносит речь. Он вручает также почетные грамоты и подарки. Из пяльинских грамоты получают бригадир Высоцкий, звеньевой Сергей Ладьин, моторист Иннокентий Бутов и рыбак Владимир Ладьин. Выступают два бригадира, инструктор райкома, парторг колхоза и два рядовых рыбака. План перевыполнен, о недостатках время ли говорить, когда накрыты столы в поселковой столовой. Вчера все бригады свезли туда лососей и форелей, поваражи испекли пирогов с красной рыбой, наготовили разных закусок. Рыбацкие жены им помогли — подбро-

сили молодой картошки, малссольных огурчиков, первых груздочков... К началу собрания поспевают уха.

Собрание быстро кончается, все весело переходят в столовую, все женаты, трезвы, в новых костюмах. Только Геннадий да еще с десяток таких же, как он, огольцов уже прихватили с утра, колобродят. Садятся, движутся на столах бутылки, как шахматные ферзи. Слышится бульканье. Женщины счастливо оглядываются по сторснам. Мужские празднества вечно минуют женщин. Мужикам все гульба да гульба, а бабам — печка, да огород, да дети. Бабам — в радость, в диковину это застолье. Глаза их блестят. На бабах лучшие платья, жакеты. Они пригубляют портвейн, отдыхают.

Вскоре за первым стаканом заводятся первые песни: пробуют голоса. Разговоры все громче, никто не слушает — и не надо, все говорят. И вот уже опустели бутылки. Казалось, только что начали — и нет ничего. И добавить нельзя, потому что сидят во главе стола председатель Урезов, парторг и инструктор райкома. Уже уносят тарелки...

Но праздник не кончен, он вроде еще и не начат. Все грузятся в мотоёлы, и песнями оглашаются берега. В Пялье глушат моторы, но ненадолго. Бабы шумят, причитают, хотят привадить, сберець, не пустить муженьков. Но удержать их нельзя, потому что — День рыбака. Опять заводят моторы и правят на Кундорожь — к мужской, бобыльской своей утехе. На правом берегу в избе гуляет звено Голохвастова. На левом, в коптелом рубленом амбаре, — звено Ладьяна. Бригадир Высоцкий раздувает толстую шею, поет:

Рревела бурря, грром грремел,  
Во мрраке молнии блистали...

Праздник теперь походит на Первое мая, на День Победы и на Егория.

Заходит в амбар к рыбакам, на холостую пирушку, сосед — егерь Сарычев. Его рыбаки уважают: у егеря можно разжиться бензином, тремя рублями, он человек не скупой, не болтун. Над егерем иногда смеются: живет, как кулик на болоте, ни богу свечка, ни черту кочерга. Его жалеют: собаку убили, такого хорошего пса... Его осуждают: бросил семью, сбежал, алиментщик, наверно. Ему удивляются: стойкий, другой бы



давно на его месте в город уехал. Некоторым он подозрителен: кто таков, для чего, кому это надо?..

Паша Ладьин обнимается с егерем, хочет с ним побороться. Егеря потчуют:

— Давай, Евгений Васильевич. Нашей рыбацкой... Закусывай. Да ты давай, давай! Раз соседи — значит, давай... Ты наш сосед, а все равно не наш сосед, все равно их... Но — давай! Да не ставь, не ставь... Давай нашей рыбки... Евгений Васильевич, Володька грамоту получил, в мереже-то сетка чаще. А у нас сетка реденька. Судачок пролезет. А лососка застрянет. И все! Давай! Сегодня наш праздник...

Ночевать уплывают в Пялье, кто может, сам забирается в мотоёлу. Павлушу несет брательник Володя... И вот засыпают под причитанья своих хозяек.

Потом снова утро, свежий ветер на озере, утки, невод-ставник, магазин в Гумборице, бильярд на левом берегу, дед-сторож на правом. Пока не открыли охоту, тихо.

## КАНОНАДА

На открытие я приплываю с попутной лодкой из Гумборицы в Кундорожь; на бону притопывают сапогами справные городские охотники, в куртках на меху, в брезентовых брюках, с большими ножами на поясах, с топорами в чехлах, с надувными челнами, с ружьями «Спутник», с флягами, котелками, с веслами из дюраля, со взрослыми сыновьями, — зычноголосые мужи. Они заселили весь дебаркадер, зажгли керосиновые лампы, сидят за столами. Топится печь на базе, калится на летней кухне плита. И моторы, моторы — стрекочут, рокочут, ревут и строчат: «Москва», и «Стрела», и «Вихрь», шестерки, тройки. Пахнет бензином, тревогой. Немалые силы дислоцируются на Кундорожь и в губе. Завтра тут быть атаке. Подходят все новые подразделения, мотомехчасти. Кто-то уже пирует — до первого выстрела. Кто-то режется в карты. Кто-то запыхивает патроны. Кто-то тихо, степенно гоняет чаёк.

Егерь Сарычев третьи сутки не спит. На Вяльниге, Шондиге, Кыжне, на озере, на канале каждый мужчина — охотник. Валом валят городские. Все поднялись в ружье. И шпокнул уже где-то выстрел...

В полном составе явилась на Кундорожь народная дружина Калининского района. Дружинники добровольно решили нести охрану — с ружьями, с котелками. Дружинники не имеют путевок на право охоты, и Сарычев их выдворяет обратно к себе в район. Но среди них есть управляющий трестом городского хозяйства, начальник собеса, кандидат геолого-минералогических наук и главный диспетчер трампарка. Дружинники требуют лодок, им надо исполнить гражданский долг в камышах, защитить природу от браконьера. Они кидают свои мандаты на егерский стол.

Сарычев чисто выбрит. Он в свежезыстиранном белом свитере и синем берете. Сидит за столом, отбрасывает мандаты, читает путевки и пишет свои резолюции.

Подворье базы гудит, полнится вскриками, песнями, бегом, предчувствием: что-то должно случиться, уже грянет бой. Промелькивает меховой колпак Ванюшки Птахина. О чем-то бает приезжим охотникам Кононов. Дело к ночи. Скоро сражение. Стукают в бок бортами новые лодки и катера.

Обижаются местные люди: губа, на которой они родились, днюют и ночуют, рыбачат и жнут тресту, заказана для них до конца охоты. Путевок им Сарычев не дает. Губа приписана городскому обществу.

— Почему мы не можем стрелять нашу утку? — шумят над егерской головой. — Почему такая несправедливость? Откуда такой закон? Там наверху, наверное, завелся вредитель...

Ставят на егерский стол бутылку:

— Евгений Васильевич! Выпьем! Да брось ты свою канцелярию. Уток хватит на всех.

Егер берет бутылку и говорит:

— Ну что же, выпьем так выпьем. Это можно. Только завтра, когда вернемся с охоты.

Он уносит бутылку и запирает ее в шкафу. Хозяин бутылки мнется, оторопел. Он не знает, шуметь ему или смириться. Его оттесняют от егерского стола. Требуют лодок, пропёшек, дров, керосину, подушек и одеял. Всюду бормочут, бренчат, напевают транзисторы. Крутится меж ногами, скулит позабытый, голодный Комар. Все торопятся, всюду нахраписто, тесно. Нужно толкаться локтями, суметь оттереть...

Утки спят в камышах. Завтра их расстреляют с подъезда в упор. У всех сухими останутся ноги.

Что-то нечистое чудится в этой теплой, наполненной звуками и движениями ночи. Не слишком ли много ружей, патронов, мандатов, моторов, транзисторов — чтобы завтра взорвать и развеять утиное государство, едва поднявшееся на крыло?..

Возле базы слоняется Толя Сподобаев, начальник гумборицкой милиции. Он говорит, что Сарычев обещал ему дать ружье, изъятое у браконьера. Но дело было давно, браконьер приезжал, и Сарычев сжалился, — не с чем охотиться Толе...

Сподобаев в милиции новичок. Комсомол направил его, дал путевку. Он прежде был секретарем комсомольского комитета на Гумборицком рейде... Молодой начальник милиции треплет за уши Комара. Комар рычит и азартно хватает Толю за сапоги. Из Комара может вырасти дельная лайка.

Мы договариваемся с Толей поехать в губу на одном челноке, стрелять из моего ружья по очереди.

Сарычев выскакивает из дому, крошит в миску хлеба для Комара, заливает водой. Он говорит, чтобы мы с Толей шли ночевать к нему в комнату, ложились бы на его постель. Он ложиться не будет.

Мы спим и не спим. Всюду звуки, шаги, огоньки сигарет, кто-то колет дрова, где-то шлепают веслами по воде...

Подымаемся в третьем часу. Сквозь мокрый ольшаник выходим к губе. Выводим челн на чистую воду. Толя берет пропёшку и правит на ветер. Я становлюсь в носу с ружьем. Шуршат о борта тростники. Качаются вровень с лицом назревшие метелки. Тепло, но как-то знобко: мы вступаем в чужую державу, которая спит, безоружна. Сейчас мы разрушим мирное время огнем и громом. Сейчас... Вот за этим озерцом, вон в том острову... Губа ни о чем не знает, ровно дышит во сне. Она позабыла, что значит выстрел, наполнилась за год всяческой жизнью...

Первый выстрел-нежданчик негромок, далек... Губа не проснулась. Сеголетки-утята не стреляны, не боятся. Вот лопнул еще один выстрел. Двоится, троеится... Вот затрещало по всей губе, занялось... С недоуменным, сердитым криком вздымается утка. Грохочет мое ружье. Утка споткнулась... Попал! Толя гонит лодку сквозь камыш. Утка бьет по воде крылом. Хватаю. От чувства добычи становится жарко. Повсюду теперь

взлетают утки, проносятся, снова садятся. Вот нанесло маломерка-чирка. Махаю стволом — и нет чирка на небе. И не найти его на воде. «Давай!» Остро пахнет сгоревшим порохом. Гильзы плавают меж тростников. Пальба идет плотно и часто. Нас осыпает дробью соседей... Я забываю про Толю, не вижу его. Не ведаю времени, меры. Вот потянулся вдогонку взлетевшей утке, нажал курок. И лодка вильнула из-под меня. Плыву в маслянистой холодной воде. Вода остужает. Страшно коснуться ногами дна: там трясина. Влезаю обратно в лодку. Смеюсь, хохочу, содрогаюсь от смеха. Хохочет начальник милиции Сподобаев. Мы хохочем на всю губу. Подымаются над тростниками шапки стрелков. Охота — серьезное дело, чего хохотать? Пронесется ошалелые утки. Встает светило, грохочут ружья. Лодка наша черпнула воды, в ней плавают комья перьев. Я сыт, мне не надо утиного мяса.

— Все, хватит, Толя, давай домой.

— Что? Больше не хочешь?

— Посохнуть мне надо.

— Вот, елки зеленые, — мечтательно говорит Сподобаев, — псадется мне браконьер, ружье у него отберу, уж фиг отдам, настреляюсь досыта.

### ПРИСЕСТЬ НА МИНУТКУ

На пороге базы меня встречает Сарычев. Комар хватается за пятки, урчит. Никто еще не вернулся с охоты. Занимается день.

— Ну вот, — говорит мне егерь, — хоть можно присесть на минутку. Пойдем.

Он приносит мне брюки, фуфайку, шерстяные носки. Я надеваю сухое. Егерь разводит огонь под плитой, ставит вариться картошку, приносит с грядки укропу, луку и огурцов. Он приносит также флягу со спиртом и потчует:

— Выпей, согрейся. Ко мне тут вечером многие подъезжали с бутылкой. Я бутылки все реквизирувал, запер, а после съез в погреб, поставил на лед. Вот видишь, спиртик нам пригодился... Кстати, ты дай-ка мне путевку-то да охотничий билет...

— Как ты с дружинниками разобрался? — спрашиваю я Сарычева.

— А, завернул их обратно. Сказал, что в губу только через мой труп — и точка. Бог с ними. Ладно. Я тут хочу тебе кое-что почитать. После твоей статьи в газете писем я получил порядочно.

Егерь приносит бумагу, читает:

— «Дорогой товарищ Сарычев! Мы понимаем твою горе, мы сами охотники, знаем цену собаки. Но ты особенно не горюй. Ты приезжай в наши места на Ангару. У нас охота богатая по зверю и птице. А собаку мы тебе подарим новую, настоящую сибирскую лайку. Помогать товарищу в беде — это закон у охотников. Негодяй, который убил твоего Шмеля, будет наказан нашим презрением. Он еще будет плакать и каяться. Но пусть не ждет снисхождения. Пусть у него под ногами горит земля!»

— Знаешь, — говорит мне Сарычев, — я прожил на свете уже очень много и разного навиделся. Бывали такие минуты, когда я думал, что человеческая бескорыстная солидарность и все такое прочее — фикция, просто выдумка для газет. Я встречался в жизни с такой жестокостью, что впору мне стать пессимистом, разувериться в человеческой природе. А тут вдруг получаю двадцать восемь писем от незнакомых людей! И притом совершенно искренних писем. Ты знаешь, я просто ожил. Я очень многое потерял. Я не только Шмеля похоронил, а будто и себя тоже. Вот так сижу по ночам один, курю, керосин весь в лампе сгорит и подливать неохота. Темнота окружает меня, из окон ползет и давит. Хочется выть. Я стал понимать волков, отчего они воют в осенние ночи... И вдруг почтальонша Кира — она пешком каждый день бегаёт из Гумборицы в Пялье с почтой, а я ее перевожу через Кундорожь — приносит мне это письмо из Сибири, наавтра еще. И все двадцать восемь писем из разных мест. Я почитал и говорю себе: погоди еще, Евгений Васильевич, себя хоронить. В людях-то живо человеческое. Можно жить. Понимаешь? Я слишком подолгу бываю один на этой базе. И пропадает чувство связи с людьми. Я могу, конечно, пойти к рыбакам и выпить с ними, но это — особые люди. Они живут в своем мире; озеро их укачивает. Они по-своему счастливы. Как говорится, блаженны нищие духом. Я с ними дружно живу, но внутреннего, душевного контакта нет все равно. Вот разве только с Володей Ладьиним. Это хороший мужик,

потоньше несколько, чем другие. А больше здесь нет никого. С женой у нас очень трудные отношения... Она никак не может примириться, что мы живем вдалеке друг от друга... И вдруг, понимаешь ты, эти письма. Такого со мной никогда не бывало в жизни, чтобы моя личная трагедия вызвала отклик, участие у людей... Я думал уже уехать отсюда, все бросить, а тут вижу: нет, неправда, Блынскому все равно хуже, чем мне. Его назначили старшим егерем на Карельский перешеек в хорошее охотхозяйство и недалеко от города. Материально он даже выиграл. А морально я все равно победил. Теперь я могу остаться на Кундорожи, работать, охотиться, жить... Правда, начальству не нравится, что дело это получило огласку на весь Союз, и мне еще, наверно, попортят крови. Но я готов ко всему. Блынский наказан высшей мерой. Он этого, может быть, не понимает, у него мелка натура, чтобы понять. Но морально он уничтожен...

Тут поспевают картошка. Мы выпиваем за нашу победу. За окном тарахтит рыбацкая мотоёла. Начинается день. У меня в мешке убитые утки. Чуть почата фляга спирту. Чуть прожита половина жизни. Дымится роса на лужку.

— Знаешь, Женя, — говорю я егерю, — может быть, тебе стоит стать немножко философом? Ты пользуйся тишиной. Тишины все меньше, меньше. Ты почитай Генри Торо «Жизнь в лесу». Я специально привез для тебя эту книгу. Без философии здесь тебе не продержаться. На кроликах ты не собьешь себе капитал. И на ондатровом меже не станешь Рокфеллером. Ты ежедневно видишь то, что давно позабыли все горожане: восход и закат, жизнь воды и земли; все это мудро, неторопливо, философично. Наблюдай и пиши в свой дневник: и солнце, и дождь, и лебедя, и турухтана — это вечное круговращение природы, ее закон. Мы гоним и гоним, и задыхаемся, нам некогда оглядеться вокруг себя: где мы живем, какая наша планета? Мы все норовим переделать, а ведь природа создана по законам высшей красоты и целесообразности. Кроме лязга, войн и угроз нам надо услышать и тихие голоса, дыхание жизни...

— Вот мой предшественник, егерь, был великий философ, — прерывает мой монолог Сарычев. — Он написал в дневнике егеря: «Был в лесу. Ничего не видал».

Понимаешь ты — ничего! Вот цельная личность. Конечный продукт человеческой эволюции. Лес для него — незначительная подробность, о которой и говорить-то не стоит... А еще однажды он написал: «Был в лесу. Убил пернатую птицу».

Мы смеемся, пессынаем молодую картошку укропом. Мы победили и можем выпить теперь.

## КАНАЛ

Иду по тропинке, и скоро не будет уже тропинки: она повисла над водой. Ее еще держат корни ольхи и березы. Она упадет. Уже проторили другую тропинку, посдаль от берега. Но вода доберется и до нее. Канал построили для бурлацкой работы. Суда в прошлом веке не подымали волны. Винты теперешних кораблей буравят тихую воду в канале. Водица кидается в берега и гложет. И нет уже берегов. Только сваи — оглодки — торчат, как языческие божки. Мне жалко каналов.

Жалко скворцов-бобылей. Они так и прожили лето стадом, без гнезд и птенцов.

Надо успеть к пароходу в Гумборицу, в Вяльниге пересесть на автобус... Плывет по каналу Ванюшка Птахин. В носу его лодки сидит директор охотхозяйства Алехин. Ванюшка возил его на охоту в губу. Я скрываюсь за куст. Пускай себе проплывают. Идется мне хорошо, убитые утки — не бремя.

Слушаю легкое и простое, как звон кузнечиков, пение здешних птиц. Нигде не видно ни гор, ни кленовых аллей, ни задумчивых роц. Природных диковин, обетованных углов тут нет. Только глина; и супесь, и низменность, волглые травы, и голая плоть берегов. Тут солнце — в радость и лето — в радость. Простое солнце и лето. Здесь не бывает праздного человека. Ничто не дается даром, даже до солнца, до лета — нужно дожить. Нельзя быть праздным на этой скудельной земле...

На переправе через канал в тяжелой завозне сидит на веслах старуха с ласковыми голубыми глазами.

— Сей год все охотники на моторах ехавши дак... — говорит она мне. — А ты-то что же пешком?

— Неги-то для чего, — говорю я старухе. — Ногам-то тоже нужна работа. А то отсохнут...

Старуха глядит на меня с улыбкой:

— Ты, верно, спортсмен...

Большой заплешивевший гончий пес выходит ко мне с подворья, глядит, но стесняется подойти. Я протягиваю к нему руку, он подается ближе, еще не веря, я глажу его по лобастой, костистой большой голове. Пес тычется мне в коленку старым своим, мокрым, крапчатым носом. Он любил меня. Любовь — это тоже работа. Быть праздным — нельзя. Он поднимает голову, смотрит преданно, даже плачет, так любит. Трусит за мной следом, потом останавливается и ждет: не слишком ли он навязчив. Я маю его, глажу. Пес добегает со мной до причала, и сел бы на пароход, но нельзя, женщина в кителе и с билетной сумкой не пускает его. Пес томится разлукой со мной. Я вижу, он долго, долго еще стоит и смотрит вслед уплывшему пароходу.

#### «ИКАРУС-ЛЮКС»

— Папа, не пей, — сказала девочка Валя. А как же было не пить, когда автобус уехал, в нем не хватило места для Васи Тюфтяева с дочкой и для Геннадия-рыбака. И я не поспел. И тетки, бабы, две девушки, парень из Гумборицы, военный курсант, и девочка с кошкой в корзинке — ватага людей не попала в автобус, стеснились вокруг курсанта, он делал запись фамилий на новый рейс.

В понедельник людям приспело ехать в город. На работу и на учебу. Они нагостились за субботу и воскресенье у матерей, у сестер и братьев на вольных природных харчак, на грибах — и теперь увозили в город соленые грузди, рыбу, картошку и помидоры.

Вася Тюфтяев с дочкой, девочкой Валей, прибыли к автобусу за пять минут до отправки. Они приплыли вместе со мной и с Геннадием-рыбаком на рейсовом пароходу из Гумборицы. А до Гумборицы из Пяля их довез свояк на моторной лодке.

В доме у Васи Тюфтяева в Пялье — сестра и старая-старая мать. Глаза у старухи слезились, она глядела на Васю и причитала:

— Шурк, хоть бы ты побывал у Васьки. Сей год не был ни разу, и в том году его, лешово, не видала.



Совсем позабросил родную мать, чужастранник. И письма не напишет, и переводу не шлет...

— Я не Шура, мама, я Вася и есть, — говорил Тюфтяев болезной своей матери, но она только плакала, только остались ей слезы — ненастный дождь без поvertки на вёдро...

Вася Тюфтяев работает в городе слесарем на заводе. Он женился на городской, жена его выше ростом. И дочка Валя — городская школьница. Квартиру Тюфтяевым дал завод.

Но Вася не расстается с родной деревней. Он в октябре загружает в ванную картошку с деревенского огорода, а сам ходит мыться и париться в баню. Он ездит каждое воскресенье в Пялье, косит тресту на губе, ладит моторную лодку, ест творог, пьет сливочное молоко.

И Васина дочка Валя, хотя она проучилась три класса в городе, за лето вся обливается солнышком, молоком. Глаза у нее делаются голубые, как июльское северное небо, а волосы — как кудель. Характер у дочки в деревне становится заботливым и серьезным, как у тетки Маруси, которой нужно работать на сплаве, ходить за коровой, кормить семью да еще уводить от бутылки супруга Колю, колхозного рыбака.

Василий Тюфтяев стал городским человеком. Но корешок его остается в деревне, в земле. Землица в Пялье ржавеет болотом. Василий Тюфтяев вырос на этой почве в невеликого ростом, невидного мужичонку. Но некая сила заложена в его существе, способность к любой работе, хватка, простецкая хитрость. Хотя он не вырос, не вышел статью, но корень прочен, он уходит в глубину веков. Когда-то пращурсы Васи, тюфтяи, смерды, прорыли в торфяниках каналы вокруг большой озерной воды. Они положили в болоте ольшанные гати, сносили в кулях землицу и косточки свои положили, чтобы крепче стояли канальные берега. По каналам они водили бечевой барки, древним путем «из варяг в греки». Они были голубоглазы, белоголовы и малорослы на тощей своей земле. Они были двужилжны. Они прорубились в лесу, загатили болота и построили себе жизнь на зыбучем просторе...

Василий Тюфтяев, когда отошел без него автобус «Икарус-люкс», сложился с Геннадием на четвертинку. Геннадию скучно в Пялье — тоска. Он едет в город.

Вася обещался его устроить к себе на завод. Они купили хлеба и помидоров, спросили у женщины стакан, спустились к самой воде, к большой реке Вьяльниге, и сели там на бревно. Валя к ним прибежала и попросила, серьезно глядя отцу в глаза и выпятив пухлые, потресканные на солнце пеке губы:

— Папа, ты не пей, ты пьяный нехороший бываешь.

— Иди, иди погуляй, — говорит Вася и взглядывает на дочку суровым глазом.

Близко, близко к хлебу, помидорам и четвертинке подбегает вода, пущенная моторкой. Невдалеке над Вьяльнигой нарисован легкой и точной рукой железный, бетонный мосток. По нему пробегают машины. Прогуливаются на берегу молодые солдаты со здешними белокуроыми девушками. Уже немножко горланит на травяном взгорочке оставшийся от автобуса люд. Вьяльнига распластана широко и низко. Покой, тепло воцарились над этим краем большой воды.

Вася Тюфтяев выпил, и сразу же ему захотелось выпить еще. Но четвертинка уже пустая, он ее кинул в Вьяльнигу.

— Зачем ты кинул? — сказала Валя. — Можно бы сдать, а то нам на автобус вдруг не хватит.

Я давно уже взглядываю на Васину с Генкой пирушку. Иду в магазин. Приближаюсь к пирушке и вынимаю из кармана мою маленькую. Вася тотчас мне протягивает помидор, а вслед за тем подает руку:

— Меня Васей зовут. А вас как?

Я говорю мое имя и отчество.

— Это как-то не по-нашему, — воскликнул Вася. — Вы пейте. Мы, если надо, возьмем еще. Я вас лучше буду Львом Ивановичем звать. Мы в Пялье все — темный народ. Чухари. Рыбаки. У нас лучшая рыба — это колбаса. А лучшая колбаса — это чулок с деньгами. Лев Иванович!..

— Папа, папа, — тянет Валя Васин рукав, — смотри, какая моторная пошла. Ну, папа, да посмотри же... Но Вася отнял рукав у дочки.

— Это дочка моя, Валюшка, — сообщает он мне. — Я ее в школу везу, в четвертый класс пойдет. Она у меня молодец. Лев Иванович! Ты меня Васей зови. А я не могу. Я вижу, ты человек не маленький. Лев Ива-

ныч! У меня сын с первой полочки часы подарил. Валюшка! А ну покажи Льву Иванычу, где часы?

— Да папа же, они у тебя. Ты их сам в карман спрятал.

— А ну ищи хорошенько,— страцает Вася.— Я их тебе давал.

— Да вон же они, вон ремешок из кармана торчит.

— Лев Иваныч! Мы сейчас еще на маленькую соберем. Валюшка! А ну-ка дай кошелек.

— Папа, нам тогда на автобус не хватит.

— Хватит! Я тебя и так провезу. Без билета. Возьму к себе на колени, и все.

— На колени возьмешь? — сказала Валюшка и призадумалась.— Ну ладно. Я у тебя на коленях тогда поеду.

— Мы тебе детский билет возьмем,— сказал Вася.

— Сколько тебе лет, Валюшка? — спрашиваю у девочки.

— Мне шесть лет,— сказала она с серьезным старательным лукавством.

— Да, да,— говорю я ей,— ты еще совсем маленькая девочка. Тебе нужно совсем немножко места в автобусе.

Между тем подносят еще одну четвертинку... Солдаты прогуливают по берегу девушек, но далеко с ними девушки не уходят. Множество лодок уткнулось носами в низкий, весь перемазанный дегтем, смолой и мазутом берег.

— Лев Иваныч! — воскликнул Вася Тюфтяев.— Ты в Пялье ко мне приезжай на отпуск. У меня ты всегда отдохнешь. Посхотишься, порыбачишь... На старом канале мой дом, спросишь Тюфтяева дом, тебе всякий покажет. Там сестра моя живет с мужем и мамаша, а так-то дом мой. Ты на них абсолютно внимания не обращай. Живи!

Вася выпивает и снова достает кошелек, прикидывает его на ладони и отдает дочке. Сам прилег на траву и поскреб себя по карману.

— Часы у тебя, Валюшка?

— Да папа же, вон же они у тебя. Ты сам же их забрал.

Валюшка раскрыла тюфтяевский кошелек и достала оттуда замусоленный рублик и еще один рублик, и по-

шарила пальчиком в кошельке, но больше там ничего нет.

— Папа, — сказала она с печальным изумлением, — а мне на билет уже нету денег. — И внезапная слеза проблеснула у нее в глазах. Но Валюшка скрепилась, подседа к отцу и собрала воедино отцовские ноги, которые он раскидал как попало по хламной земле. Она сказала ему:

— Пап! Ты закрой глаза, ты поспи, а то ты будешь пьяный, а пьяным в автобусе ездить нельзя.

Я поднимаюсь и ухожу от автобусной станции. Гляжу с высокого моста на реку. Река проносит моторные лодки, гонки еловых бревен и беленький пароход. Ей нетрудно нести. Река возникает из низкого горизонта и вливается в другой горизонт. Только церковь торчит над многоводьем в деревне Кондрашкино. Река свежительно смывает землю и небо, и встречные ребятишки всплескивают мне в лицо такого же цвета очами, как Вальнига. Видно, что всем ребятишкам тоже хочется оттолкнуться от берега и пуститься на лодке в великие большие воды.

Я еще погулял по мосту, мне чуть видна белокурая девочка Валя, она сидит подле отца, сторожит. Тут подъехал автобус «Икарус-люкс», все кинулись к двери вагатай...

И я бы снова мог не попасть. Но Василий Тюфтяев, занявший с дочкой Валюшкой два самых первых места, для пассажиров с детьми, кричит мне:

— Лев Иваныч! Пустите его! Он был записан в очереди.

Над головой у курсанта мотался клочок бумаги, но никто не хотел ни читать, ни верить.

Все лезли и прорывались, я тоже залез и сел на последнее место, рядом с девочкой и девочкиной кошкой в корзинке. Кошка высунула наружу морду, прижала уши и ошалело натопорщила усы. Девочка гладит кошку по голсве, склоняется к ней и что-то наговаривает. Кошке непонятен и страшен автобус «Икарус-люкс». Кошка вякает сдавленным голосом.

Шофер получал деньги за билеты. Он строгий, недобрый, усталый мужчина, проехавший триста километров до Вальниги со скоростью сто километров в час. Теперь ему предстоит опять наращивать скорость, стремить свой автобус «Икарус-люкс» в обгон «москвичей»,

бензовозов и мотоциклистов. Шофер всем выдал билеты, все сосчитал и тогда повернулся к Васе Тюфтяеву.

— Берите на девочку взрослый билет,— сказал он Васе.

Секретным, приглушенным голосом Вася ему отвечает:

— Да вот не хватило. Мы как-нибудь договоримся. Дочке в школу завтра идти. Я после отдам. Мне до городу нужно...

Весь автобус затих от стыда и от нежелания быть причастным к чужому стыду. Только изредка вякает кошка. Девочка гладит, гладит кошку и шепчет что-то над ней, но кошка не унимается.

— Выйдите из автобуса,— сказал шофер.— Я вообще вас не должен везти. Вы пьяны. Одумайтесь на свежем воздухе, запаситесь деньгами на билет, тогда залезайте в автобус...

— Ну слушай,— взмолился Вася Тюфтяев,— мне только до Рыбацкой улицы доехать, там у меня тесть живет, ты подождешь минутку, я сбегаю и заплачу...

— Я никуда не поеду,— сказал шофер.— Меня на первом же километре может остановить контролер...— Он повернулся к автобусу кожаной своей коричневой спиной и затылком, погруженным в форменную фуражку.

Все пассажиры оцепенели, не желая касаться чужого стыда. Девочка Баля повернулась к окнышку и тоже оцепенела. Вякнула в последний раз кошка и осеклась. И тотчас же зароптали женщины:

— Чего же будем стоять?.. Из-за одного всем отдуваться... Как же можно было без денег в такую дорогу?.. Не ближний путь.

Цепляя завернутыми голенищами резиновых сапог за кресла, усатый, уверенно-властный мужчина шагнул на выручку к Васе и к дочке его Валюшке:

— Вот, Вася, возьми. Сколько надо? В Пялье сочтемся.

Шофер выдал Васе билет. «Икарус-люкс» зарычал и ходко двинулся по асфальту. Кошка выпростала свою бедовую головушку из корзины, завякала в ужасе.

Автобус понесся по ровной, прямой дороге. Он, словно катер «Комета», режет подводными крыльями зеленъ болотной равнины. Пассажиры откинули кресла и полулегли. «Икарус» все разбежался по взлетной дорож-

ке, настеленной выше земли, и не мог подняться, только выл двигатель где-то в хвосте.

Домов не встречалось по сторонам дороги, не попадались поля с васильками и рожи, а только болота, багульник, ивняк да жиденьякая береза. И только выскакивали на дорогу синие стрелы и белым написанные слова: Жихарево, Синявино, Мга, Назия. Слова отдавались в памяти, как имена потерянных близких людей: Синявино! Мга!

В хвост автобуса прошел усатый мужчина, спросил у меня кружку, сказал, что здесь надо выпить ему, на ходу, подо Мгой. Что он воевал подо Мгой и выжил...

Сейчас же приблизился Вася Тюфтяев. Он выпил вместе со мной и с солдатом, воевавшим на том болоте, где проносился теперь автобус «Икарус-люкс».

— Лев Иваныч! — воскликнул Вася Тюфтяев. — Извините, конечно. Нам с Валюшкой добираться до дому на метро не с руки. Мы грузди соленые везем. И картошку... Нам на такси бы с дочкой... А денег нет. Лев Иваныч! Ты ко мне отдыхать приезжай. У меня в Пялье дом.

Я разговаривал в это время со мгинским солдатом. И Вася забыл про свои слова. Ему протянули кружку, он выпил и замахал руками:

— ...Ты любого в Пялье спроси, Тюфтяева дом тебе каждый покажет. И в Гумборице... И в Вяльниге... Я по механизмам работаю. Я эти механизмы все скрозь прошел... В почтовом ящике я на сборке... Лев Иваныч! Мы вместе поедем в Пялье. Я на «Запорожец» три года стою. На той неделе мне получать. Моя очередь.

## ЛЯГА

К осени подрос Кемар у егеря Сарычева. Его уши теперь подымались торчком, стригли воздух. В лесу он обнюхивал мех и багульник и волновался, тевкал на заячий след, кидался за взлетевшим глухарем. Скворцы все сбились в общее стадо — семейные и бобыли, летали, вихрились над губой. Мальчишки стреляли по стае и подбирали потом на воде черных птиц, как опадыши с куста боярышника. Они пекли скворцов на костре.

Летели гуси, и егеря Ванюша Птахин в зорю стоял на прелете, на самых верных местах.

На общем собрании в летней кухне охотничьей базы делили ондатровые угодья. Пришли рыбаки: Ладьины, и Высоцкий, и Коля Тюфтяев, и Голохвастов, и сторожед. Сбежались на лодках озерные мужики, директор охотхозяйства Алексин. Приехал начальник охотинспекции Рогаль. Он сидел, бровастый и краснолицый, на главном месте, как воевода среди холопов. Мотался огонь под плитой. Блестели глаза и темнели заросшие скулы в табачном дыму. Меркла лампа от чаду.

Все говорили, не подымаясь с порожка и лавок, только Сарычев попросил себе слова и встал. Все увидели его как бы собранное в кулак лицо и сощуренные глаза. Заговорил он спокойно. Каждую фразу еще обозначивал паузой, словно подчеркивал жирной чертой:

— Я считаю, что все ондатровое хозяйство должно быть нашим местным делом. Мы здесь живем, на губе; губа — это наше поле. Мы его охраняем и кормимся от него. Отлов ондатры — не спорт. Это — промысел. Как лесникам, при их маленькой зарплате, даются сенокосные угодья, так нам, охотникам, должно быть дано право оставлять за собой промысловые угодья. За капканами нужно смотреть ежедневно, и если мы отдадим Лягу кому-нибудь из городских товарищей, это значит, что я, или Кононов, или Птахин должны стать подручными у этого товарища, то есть работать на него...

Рогаль чуть повернул плечо к выступающему и сказал:

— Ты, Сарычев, брось демагогию. Ты будь доволен, что мы с тебя не взыскали за самоуправство на базе еще в июне месяце. Что в газете там за тебя заступились, то мы газету эту не выписываем, ты учти. Газета для молодежи предназначена, для воспитания, а мы тебе не позволим срывать нам работу. Блынский был твоим непосредственным начальником, специалистом-охотоведом. Принцип единоначалия для всех нас — закон. Охотовед вел учет поголовья зверя и птицы, представлял нам документы. А ты — гастролер. Ты, понимаешь, семью сюда не завозишь, чтобы при первом случае наострить лыжи в город. Мы знаем, какие ты тут себе устраиваешь каникулы. С этим надо кончать! За прогулы ты нам ответишь! Мы работаем по уставу, по плану... Газетка нам не закон...

— Это к нему дружки приезжают, — ввязался Алехин. — Гулянки здесь устраивают, а потом составляют в газету статейки.

— Я этого не отрицаю, — сказал Сарычев, стоя все так же прямо, все тем же ровным и глуховатым голосом. — Я уезжаю домой. Я об этом предупреждал, когда поступал на базу. У меня большая жена, сын учится, семья не может жить вместе со мной. Я езжу к семье, когда нет охоты и на базе может справиться один Птахин. О каждой своей отлучке я ставлю в известность охотхозяйство...

— Ну ладно, — прервал его Рогаль, — с тобой у нас еще не закончен вопрос. Здесь не место. Охотники ждут.

— И взносы у него летом за три месяца не уплачены были, — подвякнул Алехин.

— Взносы — это одно, — сказал Володя Мадьин. — А кому Ляга отдана будет — это другое. Евгений Васильевич правильно говорит...

— Да что мы тут будем решать за ондатру, — сказал охотник-куритель, пяльинский лесоруб. — Ондатра ведь крыса, а зверя хитрее крысы и сроду нет. Крыса вон с парохода первой подрывает, когда опасность грозит. Мы тут сидим да рядим, кто будет Лягу сблавливать, а крысы, может, тоже свое собрание провели и резолюцию приняли. Им, может, не климат, или вода бензином запахла. Нынче газетку как ни откроешь, только и пишут, что гибнет животный мир. Вон в губе моторов нынче, как в Краснознаменном Балтийском флоте. А крысам тоже гибнуть не больно охота. Может, они перебазировались уже. Чего же решать без хозяина?..

В это время вдруг заскребла зубами по деревяшке крыса в углу летней кухни, не дождалась окончания схода. Все повернулись туда и разом развеселились.

— Хозяин-то вон явился.

— Слова просит.

— Чего тебе в Лягу таскаться, Евгений Васильевич? Вон у тебя под боком своей животины хватает. Лови!

— У меня аккурат в сорок шестом году был кот сибирской породы — Мурзик, — начал Андрей Филиппович Кононов, — он мышей в рот не брал. А крысу как учухат, в бой с ей вступает. Не сильно был кот здоро-



вый на внешность, но хищный. Поволохаться с крысой любил. Охотник...

Досказать свою байку Филиппыч не смог: все знали про Мурзика, перебили его. Сходка распалась. Кто был сторонний и дальний, тот подался в свою лодку, а ближние сели к столу.

## ИСТЕЦ И ОТВЕТЧИК

Зима приходит в город, как избавление от слякотной, долгой, промозглой тоски, от дождей, наводнения, ржавчины и от гриппа. Все чисто, нарядно, бело. Зима отдаляет город от сельской жизни: словно и нет на земле ни лесов, ни озер, ни болот, ни полей. И никакой речки Кундорожи, ни язя, ни ондатры, ни турухтана. А только лишь мюзик-холл, айс-ревью и манговый сок во всех магазинах. Горожане румяны, резвы, веселы. Девушки все обулись в русские сапоги заграничного производства. В квартирах теплынь. В метро — кондиционированный воздух...

Мы с Сарычевым бежим, бежим вдоль по Фонтанке, хрустит под нашими башмаками снег. Спешим на судебное заседание. Сарычев выступит там как истец. Ответчик — директор охотхозяйства Алехин...

— Ну что? — говорю я. — Может быть, лучше тебе покончить с Кундорожью, плюнуть, жить в городе человеческой жизнью?

— Для жены мсей это наилучший вариант, — отвечает Сарычев. — Она этого и хочет добиться. Не знаю... То есть для себя-то я знаю. Но дело такое — не одному мне решать...

Легка зима в городе, быстролетна. Не страшен ее мороз, метели не разлетятся. В квартире чисто, тепло. Сажу за столом. В окошко мне виден присыпанный снегом воскресный день: в парке гуляют собаки, катаются лыжники... Припоминаю: волчью луну и стужу, поземку в поле, сносимую ветром ворону, лосиный след и вяканье пса под окошком, кряхтение вмерзшего в лед дебаркадера. Возвращаюсь на реку Кундорожь. Она промерзла до дна...

Вспоминаю судебное заседание: судью без тени улыбки и снисхождения на лице, неколебимого прокурора и сумрачных заседателей — стражей Фемиды.

И многословие адвоката, которого нанял ответчик Адехин. Речь Сарычева — истца, себе самому адвоката. Бурление взаимных обид. Нет покоя в обряженном к празднику зимнем городе. Нет покоя в притихших, но различных для глаза, почти недосыгаемых для души снежных лесах и полях. Нигде нет покоя.

Сумерки смазывают законное видение безмятежной зимы. Опять я сижу над статьей о егере Сарычеве и его собаке: «У попа была собака, он ее любил...»

...Когда канонада осенней охоты утихла, Сарычев получил уведомление, что он исключен из общества охотников сроком на три года. Вслед за тем Сарычеву пришлось прочесть и приказ о своем увольнении с должности старшего егеря Кундорожской охотничьей базы.

Совершилось это уже глухой осенью — не стало дорог, и выбираться Сарычеву с Кундорози, вывозить имущество и картошку нечего было и думать до зимы. Меж тем зарплату ему перестали платить. Пойти в лес с ружьем он не мог, лишенный права охоты.

Однажды на базу пришел из Пяля бригадир рыбаков Виктор Высоцкий, пожаловался на медведя, задравшего телку вблизи деревни.

— Евгений Васильевич, — сказал бригадир Сарычеву, — надо медведя наказать, а то он повадится. Твоя работа. Мужики просили тебе передать, что на тебя надеются.

Сарычев ответил, что он бы рад, но нет у него этого права — пойти в лес с ружьем.

Бригадир осердился на егеря.

— Когда у тебя собаку убили, — сказал он ему, — ты корреспондентов водил, в газету писал. А что же телка — дешевле собаки, по-твоему? Почему ты за пса вонючего болеешь, а как медведь у мужика скотину стравил, тебе до этого дела нет?

— Собака мне другом была, — сказал Сарычев. — Я с ней зимовал вдвоем вот в этой хате...

Высоцкий не стал слушать объяснений егеря, ушел в обиду на него.

...Жилось Сарычеву на Кундорози зябко, тяжело, уткой был только подросток за лето подпесок Комар. Сарычев не уезжал с базы, ждал вызова в Вьяльниж-

ский районный суд, куда он обратился за справедливостью.

Народный суд Вьяльничского района признал неосновательными мотивы, по которым Сарычева уволили с работы, и вынес решение — егеря на работе восстановить. Горизонт опять прояснился. Сарычев принялся готовить базу к зимовке. Правда, зима предстояла унылая: без охоты в лесу. Но Сарычев надеялся: он послал заявление в Главохоту в Москву, просил рассмотреть его дело. Между тем решение Вьяльничского суда было обжаловано в областном суде, и в декабре Сарычева вызвали на судебное заседание в область.

— Если у шофера отбирают водительские права, — сказал адвокат Алехина, — то он уже не может работать шофером. Если егеря исключили из членов общества охотников, то он уже не может работать егерем.

— Почему Сарычева уволили после появления в газете статьи «Разрушение тишины»? — спросил судебный заседатель.

— Он был вообще браконьер! — воскликнул Алехин.

— Какие есть у вас факты?

— Он добыл четырех енотов.

Когда пришел черед Сарычева, он показал суду выписку из приказа о выдаче ему премии в размере десяти рублей — за истребление енотов, как хищников леса...

Неожиданно для себя, вопреки всей логике судебного разбирательства, Алехин выиграл дело, приободрился, стал разговорчив.

— Я, конечно, человек необразованный, — говорил он для публики, — у меня десять классов окончены. А к нему с высшим образованием ездят. Корреспонденты. Все равно правда свое берет.

Я спросил у Алехина, почему все сыплются и сыплются шишки на Сарычева, тогда как убийца собаки Блынский преуспевает.

— В отношении собаки я не спорю, — сказал Алехин, — это конечно... Но в отношении работы Блынский сильнее Сарычева.

...Что же Сарычев? Он поступил на железную дорогу. Всю зиму охотничья база была заперта и потонула в сугробах. Подписка Комара взяли к себе палыньские

рыбаки. Но он прибежал на Кундорожь, лаял и зыл, не поняв, что случилось.

Недавно Сарычев получил из Москвы бумагу. Глав-охота восстановила его в правах охотника.

Но вернется ли Сарычев на Кундорожь под начало к Алехину и Рогалю? Бог весть!

## ОПЯТЬ ВЕСНА

Охота в губе закрыта: гнездятся утки. База на Кундорожии пуста.

Еду на Вяльнижские болота. В ночь их прихватит морозцем, к утру затянется трескучим льдом, захрупают под ногой моховые кочки. Можно нагнуться за клюквой-леденцом.

Болотами можно идти хоть целые сутки — с утра до утра, если не канешь в трясины. Не надо челна и мотора. Болото бескрайне. Оно прерывается ненадолго — и снова, и снова, а там уже север, Карелия, Кольская тундра. По болоту раскиданы окна-озера и острова земной тверди. На островах пылают кострища, взвиваются искры, охотники сыплют словами, как косачи на току. Покряхтывают подсадные утки в корзинах. Сюжеты костерных рассказов похожи один на другой, вся сила рассказа — в словесной его оболочке, в жесте, как сказал бы ценитель искусства — в экспрессии. На кострах поспевают чаёк, на мху разложены луковки, хлеб и колбасы, расставлены кружки. Каждый имеет пол-литра, и у друга тоже пол-литра. Человек человеку друг на болоте. Ухает филин.

Меня ведут по болоту известные в Вяльниге меткостью своих ружей стрелки по уткам и гусям: лесной инженер и егерь, лесник, приезжий из города мастер спорта по стендовой стрельбе, участковый милиционер. Все прут по болоту, как лоси. Взлетает и стонет чибис — разом грохают десять стволов. И чибиса нет на небе. Никто не идет его подбирать. Для хорошей стрельбы по летящей мишени нужна непрерывная тренировка.

Мы ночуем на острове, сушим портянки, вначале глядим чужаками среди пригревшихся тут мужчин. Но — рубим сушину, печем картошку, стучим бутылкой о кружку и предьявляем наши сюжеты: о зайце и

глухаре. «Я иду, смотрю, он сидит. Я — бах!..» Приминаем еловые лапы, ложимся. Табор тихнет и забнет. А тут уже и заря.

Весна припозднилась. Болото заледенело, и негде поплавать, покрякать прелестницам — подсадным. Мы торим дорогу во льдах, скрежещем, как ледоколы. Стреляем, но замерзшие руки неверны. Мы молимся солнцу: «Давай же, работай, ну, помоги нам скорей!»

Солнце восходит и плавит стылую низменность. Как сводная рота горнистов, играет зорю табуи журазлей. Тележным обозом скрипит во все небо гусиная стая. Чайки и крачки, кроншнепы и турухтаны, и чибисы, и гагары, и кряквы, чирки — болото полно голосов. Таких концертов не знают боры, дубравы и даже пампасы. Болотные птицы сильноголосы и быстрокрылы.

Промерзнув за зорю, опять собираемся вместе на остров, ладим костер. Стрелки не кладут свои ружья, стреляют по шапкам, бутылкам, гильзам и спичечным коробкам. А вот налетела на наш бивуак трясогузка. И тотчас упала, убитая влет.

— Мы как идем на охоту, — рассказывает лесной инженер, — что где взлетело, хотя бы синица или поползень — сразу сшибаем навскидку. А больше где тренироваться? Тарелочек глиняных для стендовой стрельбы у нас в Вяльниге нет. А команда наша на областных соревнованиях заняла третье место. Без тренировки реакция теряется. Мы шапки уже все перестреляли друг у дружки. По пуговицам стреляем — на спор.

...День-деньской мы идем по болоту, вязнем, мучаем ноги. Усталость сближает нас и равняет. Мы движемся порознь, рассеянной цепью, и видим друг друга: лесник, мастер спорта по стенду, лесной инженер и егерь, и милиционер — румяный смешливый парень. Кроме ружья, у милиционера есть еще и наган с барабаном.

От солнца марево над болотом, ржавеют последки снега, синеют разводья. Все зыбко. Даже негде присесть.

Вечернюю зорю мы стоим цепью меж озер. Отстрелявшись, в потемках выходим на остров. Лица у всех опали и закоптили. Добыча у нас не равна, но никто не кичится, и зависти нет. Болото нас поравняло. Все

дожили до ночевки на твердой земле, до костра — хорошо!

Двое самых заядлых — лесник и милиционер — являются ночью, кидают наземь гусей и валяются без подстилки и чая. Заря опять поднимает нас всех в ружье.

...И вот последний обед у костра. Бутылки давно расшиблены дробью. Кончилась колбаса. Щиплем уток и варим похлебку. Вытрясаем оглодки хлеба на мох. Обедаем артелью, под солнцем, в весеннем, желтеющем березняке.

Как вдруг раздается негромкий дружеский говор большой лебединой стаи. Этот звук подымает всех от котла. Инженер, мастер спорта, лесник, милиционер хватают ружья, бегут, пригибаясь, вроссыпь, таятся в кустах ивняка, целят в небо. Я вижу, егерь бежит с наганом, который дал ему участковый милиционер... Лебединая стая наполнила небо своей белизной. Голоса лебедей безмятежны и ласковы, и болото — зыбучее, ржавое, низкое место — окрыляется вдруг, наполняется чудным сиянием, горним светом...

Но бухает выстрел в кусту. И еще. Стреляют лесной инженер и лесник. И мастер спорта по стенду. И участковый милиционер, добродушный, улыбчивый парень. Но лебеди не прерывают свой разговор. Проходят над нами. Я вижу, как егерь, хранитель леса и вод, подымает наган и палит, посылает пулю за пулей в налетевшее диво...

Я смотрю, смотрю на него и не вижу лица человека. Только ощеренный рот и сощуренный глаз... Стая уходит, и вдалеке, у самого горизонта, один лебедь вываливается из строя, снижается, отстает... Пропадает.

Садимся опять у костра, но ложек никто не берет, хотя похлебка цела, не простыла.

Я говорю:

— Был в лесу. Убил пернатую птицу.

Все смотрят и ждут: для чего я сказал. И уже укладывают в мешки гусей и чирков. Обтирают кружки и ложки. Кончилась наша артель...

— Стрелять в лебедя все равно что стрелять в человека, — говорю я тихо, будто себе самому.

Молчат. Суют ружья в чехлы.

— Ты начался Леонова с Паустовским, — говорит мастер спорта. — Ты горожанин. Ты приезжаешь в

лес раз в году, чтобы размяться. Для тебя, если лебеди пролетели, это все равно что балет. «Лебединое озеро». А для здешних людей это — дичь.

— Кто будет супешник дохлебывать? — бодро вскрикивает лесник.

Никто не будет.

— Смотрите, я выливаю...

Пускаемся в путь, снова месим болото. Все вместе — и порознь. Болото нас подружило и сбilo в артель. И разделило, и развело.

## В МАЕ ПАДАЕТ СНЕГ

Ирина Федоровна Сарычева в первый раз пришла на завод зимой сорок третьего года, когда схоронила на Пискаревском кладбище мать. Отца убило снарядом в первую зиму блокады, мать дожила до второй. Свезти мать на Пискаревку помогла Ирине жившая в полуподвале соседка по дому, формовщица Корыхалова, женщина в телогрейке и ватных брюках, сохранившая силу. Она работала на заводе и продержалась блокаду рабочим пайком. Растила летом на Марсовом поле картошку. «Давай-ка пошли-ка к нам на завод, — сказала Ирине формовщица Корыхалова, — при деле на людях не помирают. Будешь работать — и вытянешь. Одной нельзя оставаться. Тоска для нас хуже, чем голодуха. Твоя мать себя думами истомила. Думать будем потом. Сейчас надо нам поворачиваться, шевелиться. Говорили, сибирские дивизии спешаю́т на выручку, а не слышать... Надо самим продержаться...»

На заводе Ирина укладывала снаряды в ящики. Снаряды были красивы и тяжелы, и гильзы тоже красивые. Ирина прижимала к груди востроносые железные болванки и представляла себе, как они полетят, засвистят и ударят в блокаду, прорвут...

Ирина ходила пешком на завод, а когда пустили трамваи, то стала ездить на двадцать пятом номере. Ехала, ехала изо дня в день, из году в год — по длинному мосту над сизой рекой, мимо вокзала, узким кирпичным коридором старой улицы, вдоль большого сада, мимо длинных, длинных заборов и проходных. Она смотрела в окошко трамвая — как поливает город дождем и сечет метелью, как город живет и пыхтит,

разводит пары. Город менялся медленно, он был тусклый, усталый. Ирина глядела ему в лицо, глядела; он знал что-то высшее; камни его, мосты и стены запечатали лица людей, и души, и мысли. Люди вложили в этот город свои жизни — и сами стали землею, камнями, и заново с жадностью жили другие люди. Ирина дивилась рыбе салаке, которую добывали под самым мостом, в мазутной, негодной для жизни воде. Ей были милы гологрудые дивы в чугунной решетке моста. Когда построили новый вокзал, он вначале ее озадачил: бетонный кубик казался ей неуместным среди ансамблей старого города. Однако новый вокзал был легкий, приветлив, как павильон на праздничной выставке. Люди съезжались к нему в легких ярких одеждах, толпа щетинилась лыжами. Новый вокзал прижился на площади, как молодой поворотливый инженер в новомодном костюме на старом фабричном участке. «Вот что значит консерватизм мышления,— говорила себе Ирина, едучи мимо вокзала.— Совсе не разрушает архитектурного стиля этот модерн. И зря в свое время у нас запретили конструктивизм. Архитектура требует обновления, как все человеческое общество... Корбюзье же нам предлагал когда-то свои услуги. Ему хотелось построить для нового общества совершенно новый, невиданный город...»

Ирина работала на токарном станке, потом машинисткой в заводууправлении, и сметчицей, и чертежницей в КБ. Ее постоянно избирали в культкомиссию месткома, она доставала билеты в театры, была ответственной за подписку, договаривалась с дирекцией об автобусе — ехать с экскурсией в Таллин и Псков. Она закончила при заводе вечернюю школу, потом институт — без отрыва от производства. Ее сын Виталька ходил в заводской детский сад.

Завод работал денно и ночью. Сипели, стучали, дрожали заводские корпуса. Тоненько гукали паровозы. С подстриженными чубами стояли тополя во дворе. Серьезно глядели с портретов почетные люди завода: шлифовщики, карусельщики, крановщицы, слесари и начальник цеха огнеупоров... Ирина Федоровна знала почетных людей. Ей все говорили: «Здрате, Ирина Федоровна!»

Она пришла на завод заиндевелым подростком, и ватная кацавейка болталась на ней. Она укладывала



снаряды в ящики и думала о гробах. Отца уложили в квадратный ящик — на четверых. Потом не стало и этих многоместных гробов, не стало досок. Пожгли деревяшку. Без огня не прожить, даже не спечь пайку хлеба — сто двадцать пять граммов...

По вечерам Ирина топила сквозящую, щелястую буржуйку отцовскими книгами. Она сжигала зараз три толстые книги в коленкоровых переплетах, а больше не позволяла себе. Огня хватало, чтобы сжарить на сковородке шроты. Липкие комья хлопкового жмыха растаивали, шипели на сковородке. Шроты давали на Выборгской стороне в сорок третьем и сорок четвертом. В сорок первом и сорок втором о шротах еще не знали.

Ирина смотрела, как огонь листаёт страницы книг и лижет, съедая. Заглотить книгу разом огонь не мог. Ирина ему помогала, переворачивала страницы кочергой. Она говорила огню: «Ешь, ешь, только живи. Мне без тебя не прожить. У папы книг много, мне хватит еще почитать».

Ей жалко было давать папины книги огню. Казалось, что можно еще будет встретиться с папой, потом, когда возвратятся свет и тепло: прочесть эти книги — в них папа...

Первую связку дровец — два ломаных ящика изпод снарядов — она принесла с завода. Огонь дорвался до сытного корма и загудел, просунулся в щели и дверцу буржуйки. По карточкам выдали лярд, Ирина сжарила шроты на лярде и вскипятила чайник, заварила смородиновый лист, распивала чай с эскимо. Эскимо было сладким — на сахарине. Оно продавалось на Выборгской стороне.

Ирина согрелась, сидя с ногами на диване у самой печки. Она достала с полки отцовскую книгу и прочитала десять страниц — о долговязом, на голову выше России, об одержимом русском царе Петре Первом. Назавтра она прочитала двадцать страниц. Когда возвратились свет и тепло, она читала по двести и даже по триста, топила печку зеленого изразца, сидела близко к огню на диване. Историю русского государства Ключевского она почти всю отправила в топку, но история Соловьева была цела, и она читала ее том за томом. На русской земле всегда пахло кровью и смертью, но смерть побеждалась волей жадных до жизни русских людей...

После войны Ирина ездила на завод в трамвае, прильнув к окошку, — студентка, женщина, мать. Когда ей уступали место в трамвае курсанты военных училищ, она стеснялась...

Ирину Федоровну Сарычеву, после ухода ее мужа, назначили юрисконсультom на заводе. Закончила юридический институт — ей и нашлась на заводе должность. Ирина Федоровна разбирала тяжбы с поставщиками сырья и транспортниками, вникала в суть рекламаций, вела арбитраж. И постоянно к ней забегали просить совета формовщицы, токари и разнорабочие. Одним не давали пособий и бюллетеней по производственным травмам, иные нуждались в жилье, собирались рожать, разводиться, жениться, иным не хватало зарплаты, иных обижали мужья. Все приходили к юристу, искали опору своей правоте — в законе.

Город ширился на равнине, притягивал массы людей. Являлись в цеха после армии сельские парни. Селились они в общежитиях; к ним приезжали сестры, братья, односельчане, племянники и дядья, реже — матери и невесты. Всем находилась работа. Вновь прибывшим людям хотелось как можно скорее постигнуть законы и приложить их для собственной пользы, вселиться в квадратные метры, в кварталы Гражданки, Купчина, Охты...

Вскоре новые в городе люди играли свадьбы и нососелья и шли своим чередом разводы, разделы, опять был нужен гражданский кодекс, юрист. Ирина Федоровна разъясняла, остерегала, увещевала. Ей не хотелось разводов, а только свадеб, она жалела детей, ей неприятны были угрюмство и злоба на лицах мужчин и женские слезы. «Но что же, что делать? — говорила она себе. — Война так много порушила и осквернила. Люди торопятся жить. А жить ведь тоже надо учиться...»

Она приезжала на Пискаревское кладбище и стояла над маленькой каменной плитой, где были высечены имена ее матери и отца. Ирина знала, что нет под этой плитой ни папы, ни мамы — только земля и коренья и чуть поглубже — вода. Кладбищенские мастера вырубали на камне имена папы и мамы вместе с другими именами. Ирина Федоровна заплатила тогда мастерам. Что было сюда свезено людей за блокаду — все стали землей, и травой, и водой, и березовой рощей. Никто не

обрел тут себе одиночной могилы. Никто не нуждался в квадратных метрах. Плоски, равны были камни на всеобщем могильнике; звучал реквием. Четыреста семьдесят тысяч мертвых занесено было в каменный список. Быть может, кого-то и потеряли, не занесли...

Когда Ирина возвращалась с кладбища в набитом людьми автобусе, кондукторша попрекала не уплатившего за чемодан гражданина: «Понаехали из деревни с мешками да сундуками. Расселись, как козява. Вести себя не умеют — деревня-матушка...» Гражданин возражал со злобой: «А что бы вы завели делать без нас, без деревни-то? Вы и работать не желаете, горожане... Вон у нас на заводе придет городской, десятилетку кончивши, поболтается месяц — ищи-свищи. Да еще деталь запорет. Ему не жалко. Или из милиции на него придет материал. Набаловались на легких городских харчах. Привыкли деревенщиной брезговать... А работать кто будет, дело делать без нас? Ага! Вот так-то...»

Ирина Федоровна слушала разговор кондукторши с гражданином, ей ближе была кондукторша, горожанка, землячка. Но пусть бы, пусть все люди стали мягки друг с другом и деликатны. Ведь если примолкнуть, открыть окошки, то можно услышать печальную музыку — реквием...

Ирина Федоровна вспоминала тех женщин, мальчишек, калек, стариков, которые были с ней вместе в цехе, точили тела снарядов в сорок третьем году. Их не стало почти никого. Новые люди пришли на завод, они приехали из деревни, из Пяля, Вяльниги, Озерной, Кыжни, из Залучья, из Гумборицы. Они унесли покореженный, мертвый металл и кирпич и поставили новые стены.

«...На них подействует город, — думала Ирина Федоровна. — Сами камни нашего города — воспитатели, и парки, дворцы, Растрелли и Росси, запечатленная память, традиции, дух, культура... Они вживутся, поймут, впитают дух города. Ведь революция совершилась в нашем городе именно потому, что здесь сосредоточились мысль, интеллект, духовная энергия нации. Достоевский и Пушкин, Чернышевский и Блок... и Вера Засулич и Коллонтай... Город русских интеллигентов. Питерские рабочие были сильны не железными желва-

ками мышц, как их изображают теперь на барельефах, — своей одухотворенностью...»

Ирина Федоровна плохо помнила предвоенное время в своей семье. Она могла бы припомнить, но время это всплывало, как сон, все было в нем нереально: горят дрова в изразцовой печке, отец читает вслух какую-то толстую книгу — в ней фрейлины, и цари, и сраженья, фрегаты, убийства, балы. Отец закрывает книгу и говорит о фрейлинах, и царях, и фельдмаршалах, будто живал с ними вместе, сражался, ходил за Альпы и танцевал на балах... Отец приводит ее в деревянный домик, где жил Петр Первый, где есть его лодка. И домик и лодка целы, в стеклянном шкафу висит поразительно длинный камзол, который был по колено царю... Иришка называет Петра: Царь Первый. Отец смеется. Ей тоже весело, славно. Они приходят к Петру, который скачет на каменной лошади, топчет змею. Отец говорит, как бежал от каменной лошади бедный Евгений. Иришке жалко Евгения, она говорит отцу: «Значит, его звали Женя? У нас в классе есть Женя Кошелкин». Отец смеется. Должно быть, он был счастливым, смеялся... Он говорил матери: «радость моя».

Еще вспомнилось Ирине: весь город в солнечной изморози ранней крепкой зимы, белые львы у Дворцового моста и белые окна в трамваях. Трамваи уснули, стоят. И троллейбусы тоже уснули, и ни соринки нигде, ни звука. Белый город заснул, очарован... Они с папой идут по тропинке в снегу. Шаги их так громки, что хочется стать на цыпочки, не мешать тишине. Тропинка минует Медного всадника, бежит на Неву. Медный всадник закутан дощатым шатром. Только чугунная рука с железом выпростана из шатра. Рука простерта к Неве. Петр указывает, пророчит, вещает возмездие... «Когда опускаются руки,— говорит Ирине отец,— надо думать о Медном всаднике, об этой его руке. Он никогда ее не опустит...»

Отца убило снарядом на той слабо протоптанной тропинке, бегущей мимо Медного всадника через Неву к университету.

Выжив в блокаду, Ирина Федоровна не позволяла себе вспоминать о смерти. Она была подле смерти три года и не хотела с ней больше мириться. Живая горячая стружка выходила из-под резца у нее на станке.

Станок работал, дрожал от усердия, от жадности жизни... Всем заводом ездили на Крестовский остров закладывать парк Победы. Сажали в мертвую землю тополя-подростки, малые липки, листвяшки — земле предстояло ожить. Город строили заново девушки в ватниках и платочках. Ирина Федоровна спрашивала девушек, откуда они. Девушки отвечали: «Из Тихвинского района, из Старой Руссы, из Лодейного Поля, из Вяльниги...» Деревня шла на подмогу городу — молодая здоровая кровь.

Ирина Федоровна вышла замуж за деревенского, сивого, светлоглазого парня, за тракториста, который пришел в юридический институт, чтобы готовить себя к суду над злом, содеянным в мире войной. Сарычевы жили счастливо, но не похоже на то, как жили папа и мама Ирины Федоровны.

— ...Ты это прочти, Женя,— говорила Ирина Федоровна мужу,— здесь опыт всех страстей человеческих, это Мишель Монтень. Его любил читать Лев Толстой.

— Где уж нам за Львом Толстым гоняться,— отвечал Женя,— у него деревенька была, мужички на него работали, а он только ворочал мозгой. Нам надо самим добывать себе хлеб насущный, материальную-то основу... Надо бы почитать, но когда?

Он уезжал на охоту в свободный день, потом выделывал шкуру убитой лисицы. Штукатурил стены квартиры. Заваривал брагу. Менял электропроводку. Реконструировал телевизор. Чинил у соседей замок.

— Да полно, Женя, пусть будет по-старому,— говорила Ирина Федоровна мужу, когда он брался проламывать новую дверь в переборке, а старую зашивать.— Присядь ты к столу, почитай. Как ты можешь без книги?

Муж глядел на нее с улыбкой доброго взрослого человека.

— Надо выкроить пару метров полезной площади,— говорил он.— Народонаселение ведь прибывает в городе. Надо бороться за жизненное пространство. Хозяева дома сто лет назад вон какие себе размахали двери — как царские ворота. И до потолка рукой не достанешь, хоть ты будь Петром Первым. По нашим современным стандартам вполне бы можно еще один

этаж поместить. Вот надо будет материалом разжиться да антресоли отгрохать...

Евгений Сарычев обходился без толстых профессорских книг. Он размышлял не в тиши, за покойным дубовым столом, а имея в руках топор, мастерок, молоток или гаечный ключ. Он был рабочим в мире и что-то знал, не зависящее от книжной премудрости. Что-то твердое было в нем, не дающееся переделке...

— Знаешь, Женя, — говорила Ирина Федоровна мужу, — вот я читаю современных писателей — это сплошной детский дом. Приютская литература. Все герои растут вне семьи. И названия соответственные: «Безотцовщина», «Ничей брат», «Кража». Раньше писатели поэтизировали семью. Помнишь — «Детство Никиты», «Детские годы Багрова-внука»?.. Нынче если изображают в литературе семью, то обязательно в отрицательном смысле. А мне бы так хотелось прочесть о доброй, крепкой, дружной семье. Я, может быть, старомодна в своих понятиях, но мне кажется, что человек, выросший вне полноценной семьи, пусть си даже в какой-то момент оказался героем, — несчастливый человек, обделенный... А значит — бескрылый. Вот я прочла недавно Булгакова «Белую гвардию» — как он там проникновенно пишет о матери: «светлая королева»... Дом, семья для него — средоточие всего самого высокого и святого...

И опять Сарычев смотрел на свою жену с улыбкой взрослого человека, которому надо ответить на ребячий вопрос.

— Горький написал о босяках, — говорил он, — вот теперь все и шпарят за ним вслед, чтобы не опростоволоситься. Он же основоположник.

— Ты обязательно, Женя, прочти Булгакова, — говорила Ирина Федоровна.

— Да надо, надо, уже вот поедем в отпуск в Залучье, там длинные вечера... — обещался Сарычев.

Краснолицые, в полущубках, валенках, ватниках, сапогах, заявились в дом к Сарычевым селяне, приятели Жени, механики, шоферы. Пили водку и говорили о зайцах, язях, глухарях. Заезжие люди стеснялись Ирины Федоровны. Она приносила на стол угощенье, присаживалась ненадолго и удалялась. Но оставался Виталька и жадно слушал, ему наливали, и он выпи-

вал... И тоже рассказывал что-то: «...Я вижу, белеет в елках, я — бах!» Наутро Ирина Федоровна пеняла мужу:

— Почему ты не отправил Виталия спать? И чего вы так все матюкаетесь? Неужели вам не хватает нормального языка?

— Такая, наверно, потребность у русского человека — завернуть словцо поядреней, — улыбался Евгений. — Пускай привыкает Виталька. Он этого все равно не минует. Вон вымахал здоровенный бугай...

Ирина Федоровна вздыхала, печалилась, но не спорила с мужем. Она знала всю меру твердости его понятий о жизни. С годами муж отдалялся от нее, уходил, и Виталий тянулся вслед за отцом. Эта охота и эта рыбалка, и механизмы, и мотоцикл — Виталий с отцом становились как будто погодки-друзжки, что-то было у них свое, отдельное от матери и непонятное ей. Она хотела, старалась влиять на мужчин, на мужа и сына, привить им интеллигентность. Но это было не нужно им.

— Ну что ж, — говорила себе Ирина Федоровна, — пусть так. Пусть я не смогла. Пусть взяло верх сарычевское мужицкое начало. Пусть им не хватает душевной тонкости. Зато они — честные, чистые и морально стойкие люди. Это важнее всего.

Опять, как в сорок четвертом и сорок пятом году, она сидела по вечерам с ногами на кушетке, смотрела на огонь, читала уже не отцовские, новые книжки. Виталька где-то слонялся с гитарой. Евгений жил непонятной, далекой ей жизнью, в болоте, на речке Кундоржи. Ирина Федоровна ставила градусник, он показывал тридцать семь и четыре. Промозглая, скверная, как петербургский климат, чахоточная температура... Ирина Федоровна пила горький хлористый кальций. И горько было во рту от слез.

Она лежала в туберкулезной больнице на Поклонной горе. Неподалеку урчал, исступленно ревел мотор. Ей снились ночами бомбежки. Рычали «юнкеры» в небе. Железный, жестокий, безудержный вой... Она просила врачей поскорей ее отпустить. Ей хотелось укрыться в ее тишину... Врачи пожимали плечами: «Конечно, бывает шумно. Но что поделаешь — город. Проведем курс лечения, и поезжайте к мужу в деревню, живите себе на здоровье в тиши...»

Муж привозил ей в больницу сдобную красную рыбу. Она угощала соседок в палате, все жмурились, чмокали: «Таает во рту... Вкуснота!»

...Когда Евгений Сарычев возвратился с Кундорожи в город, была зима. Лицо его заострилось и потвердело, нос торчал петушиным клювом, залысины поднялись надо лбом, на маковке топырились белые мягкие пряди. Он говорил о своей обиде, о собаке Шмеле. Он постарел на болоте.

— Женья, милый,— возражала ему Ирина Федоровна,— я понимаю, тебе тяжело. Убить собаку — это варварство... Да потом еще и травить человека... Но я рада, что это случилось с тобой. Ты прости уж мне мой эгоизм. Я устала одна без тебя. Я невозможно устала. Я так не могу. И ты нужен Витальке... И потом, дорогой мой Евгений Васильевич, ведь ты сам себе выбрал такую участь — чего же ты хочешь?.. Пусть это утка, какой-нибудь там, я не знаю, енот или лось,— но ведь тоже живые твари. Им хочется жить ничуть не меньше, чем этой твоей собаке. А ты подрядился их уничтожать. Всякий егерь — убийца. Да к тому же и пособник убийства. Почему ты наделяешь свою собаку особым правом на жизнь? Чем она лучше какого-нибудь енота?.. Одно убийство влечет за собой другое, и этому нет конца... Конечно, Блынский — подлец, но ты же его сотрудник, товарищ по профессии...

— Ну, мама, ты уже загибаешь,— баском говорил Виталька.— Охота на дичь — это спорт, а собака — другое дело.

Сарычев улыбался, как взрослый на детские речи. Но что-то появилось в нем жалкое, недоуменное. Он напряживал скулы, приглаживал волосы, щурился и моргал.

— Это уже толстовство...— говорил он жене.— Ты позволяешь себе кушать куриный бульон, а курице тоже ведь жить охота. Шмель мне приятель был, может, еще надежней человека.

— Как бы там ни было,— говорила Ирина Федоровна,— ты опять вместе с нами — и в этом есть высшая справедливость. Правда, Виталька?

— А он все равно убежит,— говорил Виталька.— Там лучше в тысячу раз, чем тут. Я сам бы туда убежал...



Работал Сарычев в зиму стропалем на железной дороге. Он затемно уходил из дому и затемно возвращался, промерзший, в замызганном ватнике, в шапке с подвязанными ушами и с каплей под носом. С ним вместе приходили грузчики и кондуктора. Пили водку и говсрили о паровозах, контейнерах, кранах и автокарах. Ирина Федоровна подавала закуску и уходила к себе на кушетку.

Когда компания разбредалась, муж говорил ей, что если не выпить с кондукторами, то не разыщешь нужный контейнер... Контейнеров — тыщи...

— У Чехова сказано в одном месте, — говорила Ирина Федоровна, — что водка чернит репутацию и красит нос. Ты погляди, у тебя нос совсем стал пунцовым...

Сарычев разводил руками, просительно улыбался, как виноватый мальчик на материнский урок. Наутро, затемно, он отправлялся через весь непомерно обширный город — к себе на товарную станцию.

Когда весною пришла бумага из Главохоты, Сарычев сказал жене:

— Я поеду, Ирина. Здесь мне невозможно — ты видишь сама. Полдня я грузу контейнеры, да еще полдня уходит на тряску в трамваях. Вот и все. Вроде мы вместе живем, а посчитай, сколько мы пробыли вместе... Как будто еще дальше разъехались. Так у нас не получится ничего. Давай-ка решайся — и едем вместе на Кундорожь...

— Да, да, поезжай, — сказала Ирина Федоровна. — Я тебя понимаю. Тебе лучше — там. Вот мы отправим наших заводских ребятишек в пионерские лагеря, и я приеду к тебе. Я ведь, ты знаешь, всю жизнь председатель лагерной комиссии. Так что дай бог к середине июня я соберусь...

— А раньше у нас и нечего делать, — сказал Сарычев. — У нас бывает — и в мае снег упадет.

## ПОБЕДИТЕЛЬ

Снова суд, снова: «Сарычев Евгений Васильевич — истец. Ответчик — Алехин. Суд решил: Сарычева в должности егеря восстановить и выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул из бюджета охотхозяйства».

...В Гумборице Сарычев получил компенсацию, взял в магазине хлеба, масла, сахару, чаю, бутылку водки и колбасы. Он дожидался на пирсе попутной лодки. Котомка его была легка. И на душе он чувствовал легкость. Ни теплая печка, ни пес, ни голодный кролик не ждали его на Кундорожи. Уезжая, Сарычев подарил своих кроликов начальнику Гумборицкой милиции Сподобаеву. Тот как раз в ту пору женился и начал строительство дома окнами на канал.

Пяльинских лодок не видно было у причала, но Сарычев не спешил. Он стоял, опершись о перила, поглядывал по сторонам. Все было то же в Гумборице, что год назад: сипели буксиры в затоне, стучали весла на переправе, и мужики заворачивали на пирс, пожимали егерю руку. Сарычев не был тут зиму, но будто он постарел, помудрел, будто отбыл долгие годы изгнания; неторопкая деревянная здешняя жизнь являлась ему, как детство.

«Ну что же, Евгений Васильевич,— говорил себе Сарычев,— пригодилось тебе твое высшее юридическое образование. Представилась наконец возможность выступать в судах. И обвинителем был и сам себе адвокатом. Год жизни... Можно целый роман написать...»

Он думал, что нынче не будет возиться с большим огородом — зачем? Что станет завтра? Посадит мешок картошки — и ладно...

Он постоял за себя, победил, но начальник охотинспекции Рогаль после суда у себя в кабинете сказал ему:

— Смотри, Сарычев! Мы тебя трогать не будем, но предупреждаем, не подымай газетной шумихи вокруг своей личности. Не мешай нам работать.

Сарычев улыбнулся тогда на эти слова начальника. Он устал от судов. Он улыбнулся начальнику мягко и виновато, словно пообещал, что больше не будет. Он одержал победу над Рогалем, теперь предстояла жизнь, такая, как до победы...

Сарычев прохаживался по пирсу, раскланивался и шутил с мужиками. Он думал, что скоро приедет к нему жена. Иначе бы он не вернулся. Она приедет в июне, с первым теплом.

«Она задохнется в городе,— говорил себе Сарычев,— а здесь будем брать у Птахина молоко, здесь она оживет, отдышится... В одиночку мне больше нельзя...»

К пирсу подчалил Володя Ладьин, издалека уже расслаился, тиснул Сарычеву руку своей заскорузлой пястью. Побежал в магазин и быстро управился там. Сели в лодку, побежали навстречу низкие берега, серые избы без палисадников, низкие белые северные облака. Пахнуло пресной, стоялой, большой водой, мазутом, рыбой и древесиной. Избы скоро отстали.

Сарычев достал из котомки бутылку, поставил ее на лодочную банку.

— Давай, Володя, выпьем за возвращение. Не так-то просто мне было сюда возвратиться. Большого я дал кругаля...

— За возвращение стоит, — сказал Володя. — Помыкался ты. А все же свое доказал. Что значит образование... У нас доведись с кем такое, любой бы отступился, хотя бы и сознавал, что прав.

— Ну, давай.

Они сели рядом и выпили. Стучал мотор Л-3, вез их каналом. В обгрызенных глинистых берегах чернели лазы ласточкиных поселений. Уже стрекотали над ними сороки, готовясь к разбою. Роились скворцы.

Пока допили бутылку, открылась и Кундорожь. Повернули в нее. Причалили лодку к бону и попрощались. Володя уплыл, а Сарычев поднялся по лестнице к базе. Первое, что увидел: упала ограда. Ее повалило ветром. Упали шесты со скворечнями, их крепили к ограде. Поздно было теперь подымать. Скворцы нанизались гирляндой на проводах.

Вдруг селезень налетел, низко, низко кружил. Егерь покликнул: «Сенька, Сенька!» И селезень сел на крышу сарая, как голубь, и крикал. Сарычев достал из котомки хлеба и крошил. Селезень опустился на землю, все подобрал...

Сарычев вставил ключ в заржавевший замок, повернул и вошел. В доме холодно было и затхло. Он отворил окошки, нашел под плитой две чурки, нацепал лучины, завел огонь. Сел к столу и вынул транзистор, но не включил. Дневник егеря так и лежал, как был им оставлен в день отъезда. Лежала и книга: Генри Торо «Уолден, или жизнь в лесу».

Сарычев полистал дневник, прочитал последнюю записку: «23 октября. Утром ходил в губу. Намерзли забереги. Летит махровая чернеть и сауки. К полудню разогрело солнцем, ледок подтаял. Прощался с губой.

Вчера получил выписку из приказа о моем увольнении. Желаю удачи тому, кто заступит на это место после меня. Здесь можно охотиться и рыбачить. Можно жить. Только не надо верить здешней тишине. Капканы на ондатру мною оставлены на чердаке. Картошка есть еще в погребе. Воду из дебаркадера нужно выкачивать ежедневно, по часу, до ледостава. Иначе он может затонуть.

Бывший егерь Е. Сарычев».

«...Ну что же, Евгений Васильевич,— сказал он себе,— надо исполнять наказ бывшего егеря».

Вышел, спустился на дебаркадер. Стал к помпе. Качнул. Заскрипело, зачавкало, застонало. Большая крыса сбежала по сходне на берег и скрылась в кустах. Егерь качал, налегал. Вода выхлестывалась из чрева плавучего дома и падала в Кундорожь. Работа согревала его, успокаивала, исчезло несносное чувство легкости. «Будем жить,— говорил себе егерь.— Приедет жена — будем жить. Будем жить».

## ВЫРУБКА



По реке Вяльниге можно плыть на белом маленьком пароходе. Впрочем, какой пароход? Ни пару в нем, ни котла, ни трубы, ни дыму. По Вяльниге ходит речной трамвай. Но трамвай здесь не к месту. Место здешнее, если плыть вниз по реке, низко, болотисто, берега ровень с водой, избы в селах высоко подняты над землей, чтоб не достала вода; ни леса тут, ни прохожего на дороге, да и дорогу не сыщешь: хляби. Пусто, ровно, чайки летят, чибисы жалуются, играют на флейтах кроншнепы. Для чего здесь трамвай, хотя бы даже речной? Трамвай — для толпы, для сутолоки, для Москвы-реки, для Невы, для Средней и Малой Невки.

Плыву по Вяльниге. Чего тут много, так это неба. Когда идешь, то его и не видишь: надо глядеть под ноги, куда ступить. Когда плывешь на палубе парохода, погружаешься в небо. То есть не погружаешься, а возносишься. Никакого груза в тебе, одна легкость, невесомость. Небо начинается у самой земли. Только церковь торчит над деревней Кондрашкино. Головка ее похилилась набок, словно в бабьей горести.

Пароходик потрется бортом о деревянную стенку в Кондрашкине, потом в Рыбине. В Гумборице его надолго привяжут к причалу канатом.

Из Гумборицы в Пялье иду пешком — берегом канала, кромкой берега. Канал прорыли округ озера более ста лет назад. Скорость судов-пароходов утроилась за столетие или учетверилась. Волна от гребного винта бьет в берега, берега обламываются, падают в воду. Натопчут тропу, через год приезжаешь — и нету ее. Пред-

вижу то время, когда размочит земляные валы вдоль канала, уровень воды сравняется с уровнем болотистого луга, канала не станет. Может быть, впрочем, канал углубят. Возле Гумборицы уже хлюпает землечерпалка...

Берегом можно дойти до речки Кундорожи. Тут надо свистнуть, крикнуть — на лодке приедет егерь Сарычев, перевезет к себе, на охотничью базу.

Владения Сарычева — губа: утиное государство, камышовая чаща, плавни. Весною он охраняет губу от выстрела, осенью принимает стрелков, выводит их на линию огня.

— За губой есть глухариный ток, — говорит егерь. — В прошлом году я был вечером, слушал прилет. Три глухаря — сам слышал, как сели. Если зимой сплавная контора ток не вырубил, значит, порядок. Выстрелов не было там, я бы слышал. Сам я вообще не охочусь, моя должность диспетчерская. Я тебя свезу, а там посмотрим, какой ты охотник. Глухариная охота — царская, экстракласс...

— Неужто подняли руку на ток? Какая в этом нужда-то? Лесники знают тока, отводили лесосеку, могли бы сказать... Тока существуют веками. Зачем их рубить? Из-за двух десятков деревьев рушить целое глухариное государство...

— Да ну, чего захотел... Им-то жалко, что ли...

Мы еще поговорили немножко с егерем, перекусили, сошли к губе, сели в лодку — я на весла, егерь в корму. Упираюсь веслами в воду и ощущаю инертность, упрямую волю воды к покою. Поднимаю лицо к небу и нахожу в нем тренькающего, лепечущего жаворонка.

— Ну-ка, правым давай, — командует егерь. — Вот же сукины дети, сеть поставили...

Сети ставить в губе нельзя. Тут нерестилище, рыбий заказник, вольные воды. Егерь вынимает браконьерскую сеть, в ней запутались щучки, язи, налимы, плотицы, судак расщеперил колючий плавник... Егерь кидает сеть комьями в лодку. Его загорелое, светлоглазое, безмятежное лицо меняется, лицо искажает азарт. Движения становятся порывисты, мелки, поспешны. Хотя и законное дело — конфисковать браконьерскую сеть, а все же... Добро-то чужое...

Я смеюсь:

— Что, Евгений Васильевич, награбленное грабь — так, что ли?

Смеюсь-то я смеюсь, а не до смеха: сеть дорогая. Может статься, ее хозяин сейчас затаился в прошлогодней тресте, взял нас на мушку.

— Да я знаю их всех тут как облупленных, — успокаивает меня Евгений Васильевич. — Сами как миленькие явятся за сетью.

— Ну и что же, отдашь?

— Отдам. Помурюжу немножко... Пускай почувствуют. Им нельзя показать слабину. Пяльинские мужички ушлые. Знают, где сетку бросить. Они вообще губу считают своим огородом. Мне угрожали не раз. С ними нужно характер показывать... А то они сядут верхом на тебя. Ты же и виноватый окажешься.

Переплыли губу, подтянули голенища сапог, побрели, как лоси, по брюхо в воде. Сеть с рыбой егерь спрятал в кусты. Он наказал браконьеров, но в том, как прятал рыбу, взятую без труда, тоже виделась мне браконьерская хватка. Да и вообще охота, рыбная ловля — разбой, вторжение в пределы суверенных, мирных, птичьих, рыбьих владений...

Из болота мы выбрались на свежую вырубку. Лес весь свели, только кое-где торчали неразвившиеся деревья, болотные сосенки-подростки.

— Срубили ток, сукины дети, — сказал Сарычев. — Вообще-то я бы запретил охоту на глухарей: все же глухарь — царь птиц, самый древний житель лесов, реликтовое явление. И тебя бы на ток не повел...

На песчаном пригорке мы обустроили ночлег, нарубили еловых лап для пышных постелей, наготовили дров. Пошли на подслух, то есть в такое место, где можно послушать вечерний прилет глухарей. Впрочем, без надежды услышать. Чего прилетать-то на голое место? Но что-то такое послышалось мне. Егерь сказал, вот так:

— Один вроде сел, хлопал крыльями...

На самом краешке ночи, в канун рассвета, на вырубке будто послышалась глухариня песня. Пропала. Всю зорю мы шлялись по вырубке зря. Сойдясь у нашего бивуака, разживили костер, спекли картошки. Егерь Сарычев стал собираться... Я сказал, что останусь еще на сутки. Что-то тут все-таки есть...

— Ну смотри,— сказал егерь.— У меня база брошена, собаки не кормлены. И приехать за тобой едва ли выберусь. Придется тебе пёхом идти. Пойдешь — держись берегом озера. Иначе в болоте утонешь. До Бережно дойдешь — там есть дорога на Пялье. Но учти, это километров, наверное, сорок...

— Дойду. Не впервой.

— Дойдешь, конечно. Ноги длинные. Я-то бы ни за что не пошел, даже за большие деньги. Ты в городе засиделся. Тебе полезно.

Сарычев высыпал из котомки десятков картошин. Хлеба у нас не осталось, соль вышла вся, чай мы выдули ночью. И курева не осталось.

Когда егерь ушел и стихло чавканье его сапог по болоту, я сел на валежину, принялся смотреть вокруг, слушать...

Когда-то, лет двадцать пять назад, насыпали вал вдоль берега озера, тут выросли елки, березы — над болотом возникла грива. Сквозь гриву виднеется озеро, над ним другого цвета небо, другие птицы, ветер, запахнутый горизонт, русая солома тресты, лилово-синий дым, тухленье моторов. Утки резвятся в тресте, любят, кричат, гоняются друг за дружкой. Они не боятся меня.

Сивые камыши, и озеро гудит, как завод. Проплывают над камышами белые рубки лихтеров...

Налетел, сел на сосну орлан белохвостый, огласил лес и озеро клокотаньем. Горло зычное у него — орланье.

Я сижу, но как будто плыву, дремлю, как серая крачка на крыше ондатровой хаты, растворяюсь в лилово-синем дыму, в устойчивом жаре солнца. Время утратило протяженность, мир — материальность; не стало леса, берез и елей, только волны колышат меня...

Вечером глухари прилетают на токовище точно в назначенный кем-то час — в двадцать один ноль-ноль. К этому часу я прибыл на вырубку, на бывшее токовище, прислонился спиной к корявой болотной сосенке — ей никак не вырасти из своей отроческой тонкомерности. Весь лес на болоте — подростки. Я ждал, поглядывал на часы. Чем ближе подвигалась стрелка к урочному часу, тем больше я верил в непременность



прилета. Я прожил сутки в лесу, что-то понял, услышал какие-то вести. Глухарь уже вылетел, подавал мне сигналы. Он сядет вон там, на суку...

Он прилетел низом, шумно хлопая крыльями, в девять часов три минуты, сел, квыкнул, щелкнул клювом, поперхнулся, в тревоге присел на суку, готовый взлететь...

Вечер был ясный, а в ночь разыгрался бурян. Снег густо ложился и таял, к утру превратился в ливень. Пока я дошел берегом озера до охотничьей базы, чувство вины в убийстве реликтовой царственной птицы вымерзло, вымокло, стекло с меня струями снежной воды.

Вот так же и лесорубы: пришли на делянку по стуже, утаптывали снег округ каждого дерева; зубья моторных пил остервенело грызли мерзлую древесину; обрубщики сучьев махали топорами до седьмого пота. Рычал трелевочный трактор, торил колеи по зимнику лесовоз. И высоко вздымалось пламя большого кострища, сложенного из хвойных лап. И если нашелся среди лесорубов радатель леса, с печалью глядевший на гибель сосновой куртины — исконного токовища, то печаль его растворилась в жаркой работе, вымерзла в дальнем пути с делянки домой.

Егерь Сарычев повесил моего глухаря на гвоздь в сенях, сказал:

— Вот же насколько сильный у птицы инстинкт. Ток вырубил, а все равно тянет... И ничего не попишешь.



Лучшие наши охотничьи уголья, камышовые плавни в устье большой реки, то есть в речной губе, объявили заказником сроком на десять лет. Если за десять лет утиное стадо не умножится в должной мере, то и запрет охоты, надо думать, продлят. Прежде здесь помещалась охотничья база, жил егерь, теперь — смотритель заказника, охотовед или, вернее сказать, птицевед, зверовед, рыбовед. Должность эту, как мне сообщили на пристани в Вяльниге, занял Игорь Лубнин, мужик молодой, но ученый, чуть ли не кандидат. Помощником у него работает Люда, жена.

В прежние годы я ехал сюда с ружьем и с путевкой в кармане, нынче приехал безо всего, просто так — с весной повидаться. Сначала на автобусе до Вяльниги, потом на парходике, на речном трамвае, потом вдоль канала по берегу, по рушащейся, подмытой тропе... Уперся в речку-протоку Кундорожь и кричу, как бывало:

— Эге-гей!

На той стороне спускается к лодке новый в этих местах, незнакомый мне малый. Перевозит меня на свой берег. Кое-как объясняю ему, для чего я, зачем. Смотритель заказника не выявляет каких-либо чувств. Я надеюсь на время, на соль. Конечно, о пуде соли, которую надобно съесть нам с птицеведом, чтобы нашелся общий язык, не может быть речи... Но нужно выдержать время. Пусть хозяин привыкнет ко мне.

Гостеприимство, открытость, патриархальная простота жителей уединенных избушек на берегах тихих вод стали ныне преданием. Нынешние лесовики

разборчивы, приметливы; они не торопятся привечать забредших на огонек путников. Впрочем, и сами путники изменились..

Я спустился знакомой тропой к губе, в камыши, устроился в еще не спущенной на воду лодке — в этой лодке мы плавали с егерем на охоту. Пусть смотритель заказника Игорь сообщит своей жене Люде обо мне, пусть посоветуются, как со мной поступить. Благо в лодке сухая лавочка...

Чайки кричат, вороны... Промелькнул белой спиной заяц. Клок зимы. Белеют почки-пуховки на ивах. Нависли барашки на ольхе. Чайки кричат надтреснуто, жадно. Проблеял бекас. Печет солнце.

С базы доносится голос женщины, Люды. Кое-что я узнал про нее. Она родилась на Амуре. Кончила физкультурный техникум. Работала егерем в Ольховском охотхозяйстве.

Теперь Люда помощник птицеведа, птицеведова жена.

Я слышу, на дворе бывшей охотничьей базы стучит мотор, гонит в избу электричество. Егерь тут прозябал с керосиновой лампой. Слышу, моторчик вращает диск пилы. Моторчику не хватает мочи зараз перегрызть целую чурку. Но все же — перегрызает.

Смотритель заказника, Игорь, — плотный, с широкой грудью, с большим, отнесенным назад затылком.

Из камышей мне виден и слышен Игорев двор. Игорь приказывает собаке:

— Сайда! Поваляйся!

Сайда валяется.

Тишина на губе. Двое общественных инспекторов приплыли на лодке из Сонгостроя. Пришли ко мне, предвидя во мне браконьера с ружьем. Сказали: «Не стрелять — значит всем не стрелять». Охота закрыта.

Рядом со мною плавают черные утки с белыми головами.

Помню, зимой рубили лес за губой — лесную гриву-кулису, выросшую на бывшей линии обороны, на озерном валу. Из-под одной из сваленных елей вдруг показалась звериная лапа. Вальщик крикнул свою бригаду. Бригада сбежалась. Разрыли берлогу. Под пнем лежала медведица. Она посмотрела на бригаду и отвернулась. Нервически подергивались ее лапы. И спина. Из-под медвежьей туши высунули носы два

крохотных медвежонка. Иные шумели, что надо бежать за ружьем, убивать. Иные считали, что надо давить медведицу трелевочным трактором. Но были в бригаде женщины. Они увидели в этой медведице мать. И воспротивились убийству. Мужики согласились с ними. Позвонили главному лесничему, просили оставить пук леса, кулису вокруг берлоги. Лесничий согласовал с директором сплавной конторы — и разрешил...

Время к полдню. Пролетели девять лебедей. Птицевед Игорь бродил по колону в губе. Принес, показал мне щуку с крючком во рту. Он привык ко мне, потерпелся. Рассказал две истории — про сорочонка Пика и про лосенка Витьку.

...Весной сорочонок упал из гнезда. Люда его подобрала, назвала Пикой, потому что он первое время пищал. Сорочонок жил в дружбе с котенком. Дети не знают вражды. Сорочонок любил принести ягодку малины и положить Люде в рот. Потом вынуть. Если Люда проглатывала малинину, сорочонок сердился и верещал.

Однажды на базу приехал из города главный охотовед. Он устал и уснул. Пика прилетел и клюнул его в нос. Главный охотовед вскочил, испуганный, нервный, и долго не мог обрести равновесие духа.

Прошлым летом пяльинский егерь Ванюшка Птахин нашел лосенка в лесу. Он принес его на Кундорожь, и Люда назвала лосенка Витькой. Витька любил сидеть на руках у Люды, лизать ее в нос. Он таскал со стола стурцы, соленую рыбу и колбасу. Все это было ему по нутру. Витька пристаивал к собакам, бил лайку Сайду копытом. Сайде уже восемь лет. Она немножко рычала на Витьку. У Витьки была длинная, тонкая мордочка. Он был губастый и лопаухий...

Снуют меж кочек ондатры.

Пришел пяльинский рыбак...

— Ицу,— говорит,— сорочьи гнезда. Когда птенцы вылупятся, чтобы забрать.

— А зачем?

— А так...

Вечером сидим с Игорем и Людой на кухне. Люде хочется вместе с нами выпить и покурить, но Игорь ей

запрещает. Он поет баритоном: «Когда мне невмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний, случайный...» Я думаю, как далеко Игорю до этого утоления беды в синем троллейбусе: вначале надо сесть на паром, потом в красный автобус, затем уже в синий троллейбус...

— Я не понимаю горожанок,— сказала Люда,— они меня все убеждают, что я живу как-то не так. Что нужно стремиться чего-то достигнуть, что-то приобретать, жить на уровне достижений, тянуться. А мне это не надо. Я шестьдесят получаю, и Игорь — восемьдесят. Он еще платит двадцать рублей алиментов. Нам хватает. Я природу люблю. Здесь живешь и обо всем забываешь. Все чисто здесь. И люди другие. Мы по два месяца не уезжаем никуда отсюда...

У Люды короткие рыжие волосы, длинные, тонкие в голених ноги, серые с желтизной и прозеленью глаза, рецительный излом светлых бровей, крепкие скулы, высокая грудь.

— Как егеря она меня устраивает,— сказал о своей жене, ухмыляясь, Игорь.

Игорю надо писать диссертацию о жуке-короеде. Он закончил аспирантуру, но диссертация все еще не написана.

— Я не понимаю, зачем это нужно тебе,— отговаривает Люда Игоря.— Зачем тебе эта диссертация? Какой-то ты педант...

— Это не помешает,— говорит Игорь,— статья специалистом в какой-нибудь области.

Утром приплыл на лодке пяльинский егеря Ванюшка Птахин. Разговор пошел о той самой зимней медведице с медвежатами.

— ...Он снег разгребает, а она его лапой. Он палку взял, думал, енот,— рассказывал Ванюшка.

Вспоминали, кто как вел себя. Оказалось, что Люда подходила к медведице ближе всех.

Ночевал я в той же комнате, что и прежде,— в охотничьей комнате, а Люда с Игорем — в егерской.

Утром сели в лодку, поплыли каналом — хоронить утонувшего лося. Лось провалился на тонком весеннем льду. Взяли с собой лопаты, веревки, топор.

Однако лося стащило водой на середину канала. Только ухо его торчало из воды. Отбуксировать к берегу разбухшую тушу мы не смогли. Привязали к лосиной шее камень-валун, похоронили лося хотя и в пресной воде, но по морскому обычаю.

Крохотный пароходик тянул по каналу огромное тело баржи. Берега канала высоки и сухи; береза, сосна, высокие штабеля леса лежали на берегах. Лес отражался в воде канала, и синее небо отражалось, и солнце. Почему-то я думал о белой ночи и соловьях. Это здесь обязательно будет: соловьи белой ночью...

И кто-нибудь должен кого-нибудь полюбить в соловиную ночь. Иначе зачем соловьи? И белая ночь для чего? Я посматривал на молодоженов, прикидывал, и казалось мне, птицевед чересчур уж деловит, что ли, для белой ночи и соловьев. Или, может быть, я завидовал птицеведу...

Мы вышли лесом на берег озера, песок здесь отмыт добела, на песке косачи начертили крыльями — токовали. Слева синеют лесные мысы и справа мысы. Лосиный рог лежит на песке. В лесу краснеет брусника, будто созрела под снегом.

Вдруг возникла в озере лодка. Ближе, ближе затахтела. Прошуршала днищем по песку. Из лодки выпрыгнул весь посиневший от ветра и сырости малый в ватнике, в резиновых сапогах с поднятыми голенищами.

Игорь с Людой не стали его дожидаться, ушли по урезу воды. Я заметил, Люде хотелось бы повстречаться с лодчиком-незнакомцем, поглядеть, кто таков. Но Игорь прибавил шагу.

Малый, хотя и промерз на воде, поглядывал весело, глаз у него веселый. Это Феликс, мой давний знакомый, лесник.

— Ты чего? Какими судьбами? — приветствовал он меня. — На охоту, что ли?

— Ну какая охота? Про охоту надо забыть.

— Зачем забывать? Забывать не надо. Забудешь, дак и не вспомнишь...

— А ты чего?

— На работу. Мы тут кулису клеймим. Сплавная контора будет кулису рубить... По дороге в озеро завернул, уток, думаю, попугаю...

— Прямо на утиног сторожа и напал...

Мы поглядели вслед Игорю и Люде. Люда знала, что мы глядим, обернулась.

— Пусть сторож свой огород сторожит,— сказал Феликс,— а на озере мы как-нибудь ходы-выходы знаем...— Сам все смотрел на идущих по берегу женщину и мужчину.

Лесник Феликс Нимберг известен в округе как лучший охотник, неутомимый ходок по лесам и болотам. Феликс Нимберг — эстонец. Впрочем, какой эстонец? Дед его был эстонец, мать Феликса родилась в здешних местах, на Вяльниге, отец Феликса работает в сплавной конторе завскладом. Феликс после десятого класса и армии пошел в лесники. Он ходит, как лось, впробежку — поддернет голенища резиновых сапог и пошел: вода ему нипочем. Какая-то в нем есть легкость, летучесть. Он ростом высок, тонок лицом, глаза у него голубые. У всех коренных вяльнижских жителей голубые глаза. Это — признак природный, так сказать, географический. В обрисовке портрета важны оттенки, тона. Сказать «голубые» глаза — ничего не сказать. Голубизна глаз у озерных, вяльнижских жителей размытая, акварельная. Цвет глаз у Феликса отличается морской, лазурной яркостью, унаследованной от прибалтийского предка.

На счету у Феликса четыре медведя. Двух он убил в овсах, одного взял в берлоге. Тут я должен оговориться: медведей Феликс брал в те времена, когда стрелять их дозволялось невозбранно, как бекасов, бей — не хочу. Теперь медведи подорожали в цене, на отстрел их выдаются лицензии. Не всякому выдаются.

Однажды на Вяльнигу прибыли с лицензией на медведя городские охотники. Как говорит директор сплавной конторы — тузы. Директор и распорядился охотой. Охотников привели к берлоге, расставили по номерам. Пустили собак, те разбудили, подняли, выдворили зверя. Мишка прорвался сквозь цепь охотников: цепь оказалась непрочной. Он выскочил, рывкал, ближайший к нему охотник уклонился от боя, дрогнул. Опыта встречи с медведем лицом к лицу, то есть с оскаленной пастью медвежьей, у охотника не было. Он уступил дорогу медведю без выстрела, хотя был отмен-

но вобружен и за спиной у него имелась подстраховка. Страховал Феликс Нимберг, лесник. Пуля Феликса остановила медведя, зверь ткнулся в снег носом. Второй пулей Феликс кончил его. Пир удался, увенчала его медвежья печенка.

В доме Феликса на стене висит пятнистая шкура огромной рыси. Это его последний охотничий подвиг, трофей — Феликс выследил рысь на задах своего огорода, поставил капкан и поймал...

Но мой рассказ о другом — о любви, занявшейся на головешках прежних любовей, о жестоком праве влюбленных творить свое счастье, не соболезнуя отверженным.

В том, что Феликс полюбил жену Игоря Люду, есть некая закономерность, неизбежность. В летнее время Люда имела обыкновение ходить в плавках-бикини, в полосатой майке-тельняшке и в резиновых сапогах с поднятыми голенищами и с большими ушами, посредством которых крепят голенища сапог к поясу. На голове Люда носила белую талкинскую фуражечку. Пяльинские бабы, дай им волю, отклестали бы Люду ремнем за такое распутство. И откуда она взялась, нелегкая занесла...

Бабы чуяли в Люде опасность, тревогу, разруху, беду. Бабы свирепели, беленились, рычали, как деревенские псы на чужака, когда Люда являлась в своем непотребном виде в пяльинский магазин за хлебом и тушенкой. Конечно, идя в магазин, Люда надевала брюки; в плавках она щеголяла на Кундорожи. Но это не меняло дела. Перед бабами Люда не тушевалась, язык ее был остер. Мужики сползались взглянуть, когда Люда швартовала к плоту свою казанку. Лица у мужиков расплывались в мечтательной ухмылке, рты произвольно приоткрывались...

Люда по-мужски резко дергала шнур. Казанка приседала на корму, разваливала воду в канале. Лодки у берегов, бревна в плотах оживали, терлись друг о дружку, разговаривали. И пяльинские жители разговаривали, глядели на белую Людину фуражку, пока она не растаивала в солнечном мареве. Откуда взялась? Что-то будет?

Бабы осуждали Люду, мужики похваливали: «Смелая девка, медведя не испугалась. Влет умеет стрелять. Ванюшка Птахин шапку кидал, дак охотовед прома-



зал, а она в пух рассадила... Да-а-а... Девка — бой... Она, говорят, в Ольховском егерем служила, начальство на охоту сопровождала... Охотовед ее оттуда вывез, подальше от глаз людских. Желу-то с ребенком бросил... Да...»

Вяльнижский лесник Феликс Нимберг до тридцати лет гулял холостым. То он сосенки сажает на вырубке, то лес клеймит под делянку, то ведет санитарную рубку, то ловит на хатках ондатр, то караулит пролетных гусей на сяргинских болотах. Сверх оклада и приработка сдавал еще беличьих, куничьих, ондатровых, лисьих шкур рублей на четыреста в год. Парень он видный, красивый, а главное, чистый да скромный, совсем как дитя.

Невесту Феликс не встретил в лесу, гулял в женихах. Все его школьные сверстницы замуж повыходили. Однажды он плыл на лодке по Кундорожи. Увидел на бону базы Люду, сбросил обороты в моторе. Лодка зарыскала носом. Люда чистила большую щуку. В руках у нее посверкивал нож, чешуя так и брызгала. Люда была в резиновых сапогах с поднятыми голенищами, в плавках. Там, где кончался черный глянец мокрых сапог, начиналось нечто белое — кипень. Загар не приставал к Людиной коже. Феликс близко проплыл мимо Люды и ничего не сказал. Что тут скажешь? Тут нечего говорить, надо причаливать...

Городские, сонгостроевские рыбаки все причаливали, отирались на базе, покуда не появлялся Игорь. Своим сумеречным глазом он косил то вправо, то влево. Широко простирались Игоревы плечи. Игорь выдвигал вперед подбородок. Осознав неприступность этой крепости, посетители отваливали от бона.

Феликс прошлыл мимо Люды на малых оборотах, в каком-то затмении, не решился причалить, не нашел что сказать. Он направлялся в озеро половить щук на дорожку, доехал до места, до своего верного места, кинул пару блесен, ходил кругами, но щуки не брали. У Феликса они брали всегда, сегодня не брали. Сегодня Феликс не чуял в себе той страсти, азарта, с которыми он отдавался охоте, рыбалке и прочим, главным в жизни делам. У других рыбаков и охотников спиннинги были дороже и ружья дороже, но охотничье счастье валило к Феликсу, потому что, когда он охотился, сам становился ястребом-тетереватником, щукой-хищни-

цей, слышал птичью и рыбью жизнь, умел затаиться и ждать — и подсесть, закогтить...

Сегодня блесны волочились за его лодкой, он словно забывал о них. Постукивал мотор на малых оборотах, лодка кружила ни шатко ни валко. Феликс не чувствовал в себе обычного желания, воли — поймать. Он смотрел на синее небо и на зеленый берег, но видел Люду — в тельняшке, в резиновых мокрых сапогах. В руках у Люды нож блещет, порскает крупная чешуя. Люда взглянула на плывущего мимо рыбака, Феликс встретился с ней глазами, и показалось ему, в глазах ее плещется озеро — буйные воды, вольные воды; ничьи они, плыви, коль умеешь.

Так ему показалось, так посмотрела Люда, жена птицеведа, словно прискучило ей чистить щуку на бону и захотелось ей уплыть хоть куда на рыбацьем челне. Глаза у Люды желты, зелены, как у рыси, которую Феликс поймал на своем огороде, ноги у Люды белы...

Феликс плывал на лодке, таскал за собой две блесны, но щуки не трогали их, ни единой поклевки. Феликс думал о Люде. Он знал про нее, был наслышан: на Вьяльниге, на канале, на Кундорожи все знают про всех. Ему интересно, конечно, было увидеть охотника-бабу, но не представлялось такого случая. И вот увидел...

Полдня проболтался на озере с двумя дорожками, безо всякого интереса к рыбалке, смотал спиннинги и поплыл на Кундорожь, еще не зная зачем. Вот разве договориться с охотоведом насчет повязки. Зимой Феликс искал за губой енота, со своей восточносибирской лайкой Пыжом. В лесу попался ему охотовед, объяснял насчет того, что нужна лицензия на енота. Феликс ответил, что в этих лесах он родился и вырос. Охотоведов и звероведов он навидался на своем веку. Охотоведы приезжают и уезжают. Живут в лесу местные люди, они и хозяева лесу. Феликс высказал это без драчливого задора и запала, спокойно, даже с улыбкой. Вообще он легкого нрава, врагов себе не завел. И ссоры с охотоведом не получилось. Лубнин поглаживал на собаку Феликса, Пыжа, приманивал его, поглаживал. Пыж интересовался собакой охотоведа Сайдой, тоже восточносибирской лайкой. Игорь спросил у Феликса о родословной Пыжа, но Феликс про это не знал. Он купил Пыжа у геолога, приезжавшего на

охоту. Геолог привез Пыжа откуда-то из Якутии. Лубнин завел разговор о повязке, дескать, нельзя ли повязать его Сайду с Пыжом. Феликс ответил, что можно. Почему же нельзя? Никакой корысти он не собирался иметь от этих собачьих дел. Дал охотоведу свой адрес, чтобы тот приводил собаку, когда она войдет в пору.

Игорь не приехал. Феликс уже позабыл о том сговоре, ему-то какая забота? Но тут, правя лодку с озера на Кундорожь, через губу, он вспомнил... «Спрошу, чего ж не приехал». Этот повод казался ему достаточным для визита. К базе подчаливал всякий рыбак, с тех пор как тут поставили дом. Для путника или плавателя дом, стоящий отдельно — в лесу ли, на берегу, — это как корчма у дороги... Правда, причаливали дальние, сонгострsevские, городские. Вяльничжские обычно спешили домой.

Феликс вовсе не собирался в гости к охотоведу. Хотя он и не поссорился с ним в лесу, но запомнил надменность охотоведа, его брезгливо выпяченную нижнюю губу. «Тоже мне инспектор нашелся, бумажку в лесу спрашивать... Бюрократ...»

Однако Феликс пришвартовался к бону кундорожской базы, легко взбежал по лесенке наверх, постучал в дверь. За дверью играла музыка, пел Сличенко: «Под окном стою я с гита-а-ро-ю...» Феликс открыл дверь и вошел, громко стуча сапогами, воскликнул:

— Есть кто живой?

Сапогами он стучал только в сенях, войдя в дом, сразу заметил, что полы недавно мыты, всюду настелены половики. Тут он осторожно пошел, застенчиво, вроде даже на цыпочках. Люда мыла пол в комнате-боксовухе. На столе стоял магнитофон, крутились бо-бины...

Люда отжала тряпку в ведро, распрямилась, убрала со лба за ухо прядь волос. Очень бабье было это ее движение, и сама она показалась Феликсу проще, чем рисовалась в воображении: на широкоскулом лице веснушки, застиранное ситцевое платьишко, босые ноги сунуты в драные, видимо, мужнины кеды. И эта Людина простота, бабья обыденность, домашность понравились Феликсу. Как разговаривать с Людой, когда она одета в тельняшку, плавки и белую фуражку, он не знал.

С этой домашней, сельской, такой, как все, Людой

начинать разговор было легче. Даже и начинать-то не надо. Феликс посмотрел Люде в глаза, прочитал в них, что она помнит его, как утром он захотел причалить и не решился. Приход его не был неожиданным для Люды; она, конечно, знала, кто он таков.

— Хозяин-то дома?— спросил Феликс, словно хозяин сам и назначил ему прийти в эту пору и должен быть тут.

— Он уплыл за губу,— сказала Люда.— На весь день. А у вас что, дело к нему?

— Да скорей у него ко мне,— сказал Феликс.— По собачьим делам. Ваша Сайда моим кавалером интересовалась, Пыжом. Был такой разговор, чтобы поближе их познакомить...

— А он уже Сайду в город свозил,— сказала Люда.— Там у одного его знакомого профессора есть кобель. Не знаю уж, чем он хорош, но — профессорский, с высшим образованием.

— Ну, где уж нам,— сказал Феликс,— с профессорскими тягаться...

— Да я ему говорила,— сказала Люда,— брось ты за званиями гоняться. Он, может быть, и породистый, профессорский кобель, а толку-то что? Он уже все свои качества потерял, раз в городской квартире живет. Его пять раз за год вывезут в лес — разве же может быть он настоящей охотничьей лайкой? Он сибаритом стал, выродился... Так Игорь ни за что, ему все по науке надо. Он говорит, что генетическое вещество остается неизменным, хоть в городе пес живет, хоть в лесу. А я так не верю...

— У нас тоже в Вьяльниге один чудак есть,— сказал Феликс,— в больнице хирургом работает. У него легавая сучка. Так он ее на повязку в Москву возил, там какой-то есть легаш необыкновенный. На дорогу сколько потратил, да там еще жил, водил на свидания свою сучку. А легаш на все ноль внимания. Он приучен к столичному, избранному обществу, а тут вдруг ему провинциалку привезли... И ни в какую. Так ничем у них и кончилось...

Легко было Феликсу разговаривать с Людой, будто знакомы они много лет. Да и вообще, как всякий истый, азартный охотник, любил он побаять, позаливать.

— Я утром еще собирался заехать, поговорить с вашим мужем,— привирал чуть-чуть Феликс,— а

потом вижу, вы щуку чистите, думаю, неудобно с утра пораньше лезть в чужой дом... Вот, думаю, порыбачу, может, хоть рыбки привезу...— Ничего такого Феликс не думал, но, говоря, сам верил себе. Люда знала, что он привирает, но тоже будто бы верила. Кроме того, что они говорили друг другу, меж ними сразу же завязался еще другой разговор — бессловесный, подспудный. Что-то читали они в глазах друг у дружки, интересно было читать... Феликс старался меньше глядеть на Люду. Она извинилась, сказала, что надо домыть полы. Немножко осталось... Из этой ее оговорки, что осталось немного, Феликс понял, что можно ему не уезжать, побыть еще тут. И показалось ему, что Люда рада случайному гостю. «Что, в самом деле, целыми днями одна,— подумал Феликс.— Такая девка, она привыкла быть в центре внимания, раз егершей работала, значит, всегда среди мужиков...» К чему привыкла егерша Люда, Феликс не стал додумывать и гадать. В этой девке и нравилось-то ему, что она решилась поселиться в лесу, не убоилась одиночества. В этом чуялась ему некая родственность душ: и сам он решился, лучшее в жизни находил в одиноком лесном бродяжестве.

Он дожидался Люду на дворе, осматривал моторы и сознавал превосходство охотоведа над собой. В моторах он мало что понимал, только знал, как отрегулировать лодочный мотор «Л-6» да как установить на мотоцикле зажигание. В хозяйстве охотоведа все было моторизовано. Бензиновый мотор вращал динамо-машину, по вечерам на базе горело свое электричество. Другой мотор вращал диск пилы. И это действовало на Феликса, несколько подавляло его. Тут он не мог сравняться, соперничать с охотоведом. Когда он думал о Лубнине, то ставил себя рядом с ним и сравнивал. Да где уж, Лубнин закончил аспирантуру, пишет диссертацию, станет ученым. Об этом все знали на Вяльниге. Каждому, кто побывал на Кундорожи, Игорь об этом сообщил...

Люда вышла в брюках, перепоясанных широким ремнем. Под ремень она заправила свитерок. Феликс увидел, как высока она, и стройна, и тонка в талии. И бедра ее тоже заметил. Плечи у Люды были прямые, широкие — сильные плечи, годные для всякой, мужской и бабьей, работы.

Долго рассматривать Люду Феликс не стал, сразу заговорил, продолжил начатую беседу:

— ...Щука совсем не берет на блесну. Поздно. Кончился жор. Полдня прокружил по озеру — и ни одной поклевки.

— А вчера, Ванюшка Птахин говорил, трех поймал.

— Ну, одна-то, может, и была, если Ванюшка говорил — трех...

Люда сняла с веревки белье, унесла в дом. Потом вымела сени, крылечко. Сбегала на реку с ведром. Все время она что-то делала по хозяйству. И успевала при этом разговаривать с Феликсом.

— ...Ой, — вспомнила Люда, — Игорь сказал, чтобы сеть в губе похожать, вторые сутки мы не были, там уж, наверно, язей набралось. Я не люблю с язями возиться, в них одни кости... А Игорь вообще рыбоед, это способствует умственной деятельности...

Феликс вызвался помочь Люде похожать сеть. Она сказала:

— Пошли, если делать вам нечего. А то я и одна управлюсь. Игорь меня научил. Я только не люблю рыб из сети выпутывать, у меня терпения не хватает...

Так они жили вдвоем этот день. Хотя день был воскресный, никто не причаливал к бону. Пяльинские косили в губе поднявшуюся тресту: мужики косили, бабы жали серпами. В сеть попало с десятков язей и еще караси.

— Эта сеть у нас как скатерть-самобранка, — говорила Люда, — всегда хоть что-нибудь в ней болтается. На уху да на жареху хватает. Мы с Игорем наедемся и Сайду накормим. Я шестьдесят получаю, Игорь — восемьдесят. Двадцать рублей он алиментов платит. Нам больше и не надо. Зачем? Одежды здесь самый минимум требуется...

Феликс посмотрел на Люду и засмеялся:

— Да...

На рыбалку Люда опять переделалась — только плавки были на ней, тельняшка и резиновые сапоги.

— Ты что, осуждаешь меня за этот костюм? — Люда первая сказала Феликсу «ты». — Пяльинские бабы шипят, а мне наплевать...

— Они еще не привыкли к современной моде. Темнота. Демострой.

Он пихался пропешкой, Люда тащила сеть из воды, вместе они выпутывали из ячей снулых, толстых рыбин. Перемазали руки в рыбьей слизи, в крови. Рыскала лодка. Рыбы вдруг просыпались, прыгали. Из травы выплыла на чистую воду пятак желтых вербных пуховок — утят... Чайки в небе кричали. Нагретый воздух зыбко струился. Так тихо было кругом, что словно и нет на земле, на воде ни единого человека. Только лодка и два рыбака: рыбак да рыбацка.

Люда жарила на летней кухне карасей в сметане. Феликс колот дрова, зажег огонь под плитой. К чаю они нарвали себе земляники, над рекой на береговом увале. Ягода созрела крупная, сладкая. Феликс рассказывал Люде о бобрах, о лосях, о лисах и барсуках, о медведях, о разных потешных охотничьих передрагах. Люда слушала его, как умеют слушать только мальчишки лет семи — девяти. Она глядела во все глаза на него, подперев щеку кулачком, переживала, и рассмешить ее было так же легко, как зажечь сухую бересту.

Люда тоже рассказывала — про сорочонка Пику, про медведицу, про пяльинских рыбаков. И про лютых своих врагов — пяльинских бабок — она рассказывала без всякого зла. Феликс слушал ее, как ровня, ровесник, приятель.

— Люди здесь какие-то открытые, — говорила Люда, — чистые. Все у них на виду, ничего они не прячут, не строят из себя, не выпендриваются. Если к ним подойдешь по-доброму, и они тебе отплатят добром. Злому человеку с темной душой здесь вообще не ужиться. Почва не та. Здешние люди — как дети, бесхитростные, бескорыстные. Вот Ванюшка Птахин. Жена у него учительница в Пялье — она его пилит, пилит, хочет в люди вывести, чтобы у него зарплата была, как у людей, и все другое... А это ему не нужно. Он какой-то блаженный, мечтатель. Ему нравится на лодке по воде плавать. Или вот Сашка, механик с лесозащитки. Прекрасный мастер, золотые руки. Он Игорю помогал моторы монтировать. Собственно, Игорь ему помогал, а он был главный конструктор... — Эта Людина оговорка понравилась Феликсу: «На пару с Сашкой и я мог бы смонтировать любой агрегат». Поминая мужа, Люда чуточку принижала его, будто ставила на место. Вид-

но, шел у них в семье спор — противостояние индивидов... И это давало Феликсу некую надежду.

— ...Сашка — философ, — говорила Люда, — они могут с Игорем часами спорить. Игорь бросил курить и мне не дает, а Сашка смолит без передыха, причем махорку... Игорь считает, что в жизни все зависит от воли человека, — если сильная воля, то человек может построить жизнь такую, какую ему хочется. А Сашка говорит, что жизнь человека, так же как и вообще жизнь на земле, складывается из миллионов разных обстоятельств, независимых от воли. И семейная жизнь тоже... Каждая случайность или там поступок какой-нибудь, слово имеют последствия. Ты хочешь одного, а получается другое. Я слушаю, слушаю их, вообще-то интересно, потом лягу спать — мне все равно слышно. Один раз пол-литра выпили и вот разошлись... Сашка говорит Игорю: «Ты бросил жену и ребенка, причинил им горе, зло. Теперь ты думаешь, что счастлив, а все равно из зла вырастет зло, и оно обернется против тебя...» — Люда посмотрела на Феликса, будто ждала от него ответа. Феликс не знал, что сказать, то есть ему больше нравилась Сашкина точка зрения, но он чувствовал, что вступать в эти Людины с Игорем дела ему нельзя.

— Я раз с Сашкой охотился весной на Сяргинских болотах, — сказал Феликс, — он всю ночь у костра доказывал мужикам, что жизни на других планетах не может быть. По науке доказывал...

— Да, он такой, — сказала Люда без выражения, думая о другом. Посидела в задумчивости и продолжила: — Я в Ольховском работала, в охотхозяйстве номер один, — там все другое, не то что здесь. Интересно, конечно, крупные люди приезжали. Вообще-то большие люди простые, а вокруг них разная мелкая сошка увивается... Противно... Здесь этого нет. Здесь мне нравятся люди...

— Тоже всякие есть, — сказал Феликс.

Разговор стал затухать. Да и день пошел на убыль. Люда опять переоделась в то самое платишко, в котором Феликс застал ее утром. Принялась мыть окна. Что-то в ней изменилось. Она теперь не глядела на Феликса. Завела магнитофон: «Под окном стою я с гитара-ро-ю...» Феликс послонялся по двору. Люда выбежала с ведром и словно удивилась, увидев его, сказала:



— Игорь скоро должен быть. Вы можете его подождать. — Так сказала, что будто и не было этого дня — ни лодки на озере в камышах, ни гуда в крови под тяжестью солнца, ни карасей в сметане.

— Да к нему по собачьему делу, — сказал, улыбаясь, Феликс. — А дело-то уже сделано...

— Всего вам доброго, — сказала Люда, глядя мимо Феликса, вообще никуда не глядя, затворилась, задернула шторку. — Спасибо, что навестили. Заезжайте еще. Можете позвонить по телефону, договориться с Игорем, чтобы зря не приезжать.

— Ну, пока! — сказал Феликс. — Счастливо!

Прыгнул в лодку, оттолкнулся от бона, завел мотор... Смотрел на окошки базы, видел Люду, но она не обернулась к нему. Уплыл он в каком-то раздумье, недоумении.

Люда сказала Игорю, что был Феликс Нимберг — насчет Сайды с Пыжом... Сколько он пробыл, как они поехали сеть, как жарили карасей и болтали — про это она не сказала.

Игорь хмыкнул:

— Была забота... Пес у него ублюдочный... — Вопросы он никаких не задал жене. Ходил по дому босой, в тельняшке, высоко держа массивные плечи, и напевал густым баритоном: «Последний троллейбус по улицам мчит. Вершит по бульварам круженье. Чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушенье...»

Люде не нравилось, что Игорь вот так похаживает, с неприступным видом, не попрекая ни в чем, но будто бы осуждая самым фактом своей недосыгаемой выскоты. Люда злилась на мужа. Она не собиралась этого говорить, само сказалось:

— Мы с Феликсом сеть поехали. Карасей нажарили. Поболтали. Он парень хороший, естественный, на Ванюшку Птахина чем-то похож...

— Я знаю, — сказал Игорь усталым, медленным, скучным голосом.

— Откуда ты знаешь? — не поверила Люда.

— Акустика на воде превосходная, — сказал Игорь. — И видимость тоже. — Он постелил на пол одеяло, лег на спину. Люда знала, что это он расслабился, по системе йогов принял позу «шавасана» и мысленно

видит чистое небо, теряет чувство веса, земного тяготения, взлетает, парит... Люда тоже пробовала лежать в позе «шавасана», но оторваться от земли, взлететь, парить в небе не получалось у нее. Игорь говорил, что у него получается...

Он лежал с закрытыми глазами, отвалив набок голову, распутив все мышцы и сухожилия, думал, что это он плавает на спине, видел мысленным взором небесный свод, но взлететь в этот раз почему-то не мог, переключиться из круга земных забот и тягот в сферу небесной безмятежности, невесомости не удавалось ему. Он испытывал не то чтобы ревность к Феликсу Нимбергу, но некую, что ли, обиду. Чужак нарушил границу его владений, не доложившись ему. Причина визита казалась Игорю неосновательной, странной. Но главное, что уязвило его самолюбие, это Людина скрытность. На обратном пути из лесу Игорь завернул в Пялье на почту, и пяльинские рыбаки сообщили ему, что видели его бабу, когда шли губой. Она сеть похажала вдвоем с мужиком. Они думали, что это Игорь, хозяин, а Игорь — вот он, плывет с другой стороны. Мужик показался им вроде похожим на Фельку Нимберга. Фелька бегал с утра с дорожкой на озере — это тоже они видели. Скрыться негде на здешних тихих и ровных водах, все видно.

Игорь думал, что Люда сразу все скажет ему, а она про Сайду с Пыжом... Какая-то чушь, ахинея...

До ревности Игорь, конечно, не мог опуститься. В их отношениях с Людой было нечто помимо чувства, страстей. Он понимал любовь Люды к нему как непрременную обязанность, долг; слишком неравны были затраты: Игорь расстался с научной карьерой в институте, прошел всю муку и унижение развода, оставил квартиру в городе прежней семье, ему достало воли резко переломить всю жизнь и возвести ее заново умением и силой своих рук... Он сделал это, смог — ради Люды. Кем Люда была? Разве это профессия для девушки — егерь? Охотники, конечно, баловали ее, приучили к похвалам, комплиентам. Но что ждало Люду, если б не он...

Игорь, конечно, не мог подумать, что Люда благодетельствована им. Но что-то было такое в его отношении к Люде, как в старых романах, где благородный джентльмен женился на падшем создании и поднял

это создание до своего круга. Не только любви хотел Игорь от Люды — это само собою, тут Игорь себя почитал таким молодцом, каких мало, кого же еще и любить? — но еще хотелось ему благодарности, что ли. Мысль об измене, неверности Люды даже не приходила ему...

Игорь полежал на полу в положении «шавасана», посмотрел сквозь потолок на ясное синее небо, мало-помалу забылся, переключился, переместился в иную сферу, увидел машущих крыльями чаек, мысленно, силой воображения сам оделся в чайчи перья и полетел... Поднялся с полу просветленным и обновленным, с легкой душой. Позвал жену:

— Людоед, пойдём поплаваем!

Игорь плавал крелем и баттерфляем, Люда — саженками. Они брызгались, бултыкались, играли в воде — белые, голые, сильные, молодые. Люда вылезла первой на берег. Игорь смотрел на нее из воды, как Адам, вкусивший яблока и открывший, внове обретший свою подругу, Еву. Он любовался Людой и чувствовал гордость мастера, который нашел в бесформице природы перл красоты, совершенства — запечатлел его, обрамил. Никто не видит, не знает, ему одному владеть этим дивом...

Люда попрыгала, вытряхивая воду из ушей, она и не думала что-либо надевать на себя. Игорь видел ее снизу, с реки: нагая женщина исполняла ритуальный танец на берегу, на фоне темной насыщенной зелени, кустов, под заревым, багровеющим небом. Картина была хороша, но близко шлепал мотор, кто-то свернул с канала на Кундорожь, не мешало бы Люде прикрыть свои прелести. Вообще бесстыдство подруги порой озадачивало охотоведа. Люде нравилось жить вовсе голой. Игорь звал ее «обнаженная маха» и попрекал: «Откуда это в тебе? Ты ведь русская баба. Они по природе своей стыдливы». — «А я вообще забываю здесь — баба я или кто, — отвечала Люда. — Я чувствую себя природой». — «Ну-ну, — хмыкал Игорь, — смотри, пяльинские бабы псымают тебя да вымажут дегтем». — «А я не боюсь, — отвечала Люда, — за меня участковый заступится. Мы с ним друзья...»

После купания пили чай с земляничкой на летней кухне. Вскоре приплыл на лодке пяльинский механик Сашка. Вначале мужчины занялись моторами, потом

вернулись к столу. С непонятым одушевлением, впрочем постоянно свойственным ему, Сашка продолжил речь, начатую когда-то прежде:

— ...Ты вот мне скажи, для чего в Кондозере всю рыбу отравили и пелядь в него запустили? Какая такая пелядь, хотел бы я знать? И слово-то непотребное. Таким словом добрую рыбу позорить не станут. Что-то здесь не то...

— Пелядь — вкусная рыба, — сказал Игорь, — пальчики оближешь.

— Да, может, она вкусная для тамошних рыбоедов, откуда ее к нам доставляют. А по мне лучше рыбы и нет, чем кондозерский налим. В марте, бывало, под лед мережу сунешь, налимы в нее набьются — каждый по полену. Ночь они на морозе полежат, настрогаешь их, солью посыплешь — царская еда, деликатес. Не-ет, что-то тут не так. Какой-то закон в природе переступают, а природа насчет закона строга.

— Для меня самая вкусная рыба — это сиг озерный, горячего копчения, на ольховом дыму, — сказала Люда.

— Вот я про что и говорю, — подхватил Сашка, — в нашем озере сиг обитает, а на берегу ольха растет. Все одно к одному. Может, где-нибудь в Африке, на озере Чад, вообще рыбы навалом. А посади там нашу ольху, сна не будет расти, зачахнет, потому что не нужна там. Какой-нибудь баобаб срубят на дрова и рыбу коптят на баобабовом дыму. А привези к нам этот баобаб — он если и выживет, дак на кой он нам шут? Наша рыбка хороша, когда ее на нашеньском, на ольховом дыму проваляешь...

— Ты же чай гоняешь, Александр Ефремович, — начинал сердиться Игорь, — и не задумываешься над тем, что растение это — чай — произрастает в субтропическом климате. Однако твой кондозерский северный организм требует чаю, усваивает его...

— Это другое, — возразил Александр Ефремович, — это во все века люди друг другу гостинец посылали. Это торговля, обмен. Все равно, что Фелька Нимберг куниц добудет на Вондеге, сдаст в заготовку, мех на пушном аукционе продадут, какая-нибудь дамочка где-нибудь в Рио-де-Жанейро из него себе шубу сошьет. А мы на вырученные денежки в Рио-де-Жанейро анапасов купим...

— Феликс рысь у себя в огороде в капкан поймал,— сказала Люда.

— Это как понимать огород,— Игорь выпятил нижнюю губу более, чем обычно.— Феликс вообще весь лес понимает как собственный огород. Браконьер заядлый. Сам хищник, почище любой рыси.

— Да брось,— сказала Люда,— какой он хищник? Он лес чувствует, понимает. Он просто поэт.

— Знаем мы этих поэтов.— Игорь поднялся, вышел вон из летней кухни, скомандовал псу: — Сайда, поваляйся!

Сайда, видимо, повалялась.

— ...Ну-ка, плесни мне, Саша, чуток,— попросила Люда.— Игорь не позволяет, он меня все воспитывает. Он вообще всех готов воспитывать.

— Вон чашку-то подай, в ней незаметно будет... Ну, давай, пока хозяина нет.

Люда с Сашей чокнулись и выпили.

Тут пришел Игорь, Саша обратился к нему со своими идеями, которые всегда у него имелись, лишь бы было кому сказать:

— Вот ты говоришь, человек — царь природы и так далее... Царь-то царь, а надо с природой ему жить в мире... Особо царствовать над ней — еще неизвестно, как обернется...

— Я ему то же самое говорю,— вставила Люда,— а он меня ругает.

— Дак ругай не ругай, а никуда от этого не денешься,— продолжал Саша.— От местных людей вреда природе не будет. Мы если чего и возьмем от нее, дак по потребности. Мы — как кулики на болоте: нам без болота нашего нельзя, и болото без нас жизни лишится. Весной на болоте мы уток пролетных караулим. Убьем-то всего ничего, зато музыки этой наслушаемся и сами наговоримся всласть у костров. Бабы наши клюкву подснежную берут. Потом тресту жнем на корм скоту, летом морошка, рыба в озерах, в осень опять же клюква, гусь полетит. Городской человек будет два часа в очереди у ресторана ошиваться, пока его швейцар в дверь пустит, а нашего брата хлебом не корми, только дай ему болото помесить сапогами... Всякому свое... Теперь что же получается? В губу нам доступ закрыли. Ладно, хорошо, мы понимаем: об утках, об лещах заботятся... Теперь Сяргинские болота

Сонгострой своим охотхозяйством объявил. Егерей поставил, нашего брата гоняют, как диверсантов каких. Нам-то, болотным людям, куда податься? В город, что ли, лыжи наострять? Это мы можем. Наш пяльинский мужик — как кошка: его кинь хоть с пятого этажа, он на лапки приземлится... А вот кто на нашем болоте жить станет?

— Местные, неместные — это не разговор, — сказал Игорь. — Это — понятия пережиточные, из феодального строя. Современный человек не принадлежит никакому месту.

— Это конечно, — согласился Александр Ефремович. — Но я тебе о другом толкую. Вот возьми у нас в Пялье Володя Ладьин — мужик здоровый, перед войной он на сейнере плавал на Балтике. В войну их судно немцы захватили, команду интернировали. Дак он из плену бежал, линию фронта перешел, воевал, брал Берлин. Потом опять же рыбачил на Балтике, дошел до старшего помощника капитана... И деньги зашибал хорошие, и квартиру имел в Усть-Нарве и все такое прочее... В общем, живи — не хочу... Так нет, он все бросил, вернулся к себе на болото, в Пялье. Рядовым рыбаком в бригаде, мережи трясет... Стало быть, что-то тут есть. Вот же лебедь — покантуется зиму на Каспии и все равно тянет в нашу тундру...

— Володя Ладьин — большой мастер в губе поживиться рыбкой, — сказал Игорь.

— Да это ладно, это дело второе. Я не о том... Вот до тебя тут жил егерь Сарычев. Хороший мужик. Простой, работающий. С ним можно было договориться. И огород он тут развел, понимал крестьянскую работу, хотя и из города. Вообще хозяйственный человек, основательный. И выпить был не дурак. И пьяным его не видели. Умный, толковый мужик. Видать, хотелось ему тут как следует окопаться. Не гастролер. Кроликов развел... И вот же — не вышло. То одна у него неурядица, то другая. Собака была у него, зверовая лайка — ее убили. Жена у него в городе оставалась, звал он ее, она приедет, поживет, да здесь ей не климат. Кролики его поездом съели, только успевал косой махать, траву им таскал... Старался мужик, не ленился. И ничего не вышло. Уехал в город. Там у него, видать, корень глубоко пущенный...

— Он с охотинспекцией не ладил, — заметил Игорь.

— А ты что думаешь, Саша,— сказала, сощурясь, Люда,— и мы тут тоже не приживемся, что ли, ничего у нас не получится?

— Живите себе на здоровье, ваше дело молодоженское...

Еще поговорили о том и о сем. Вскоре Сашка уплыл. Пока был, звался Сашей и Александром Ефремовичем, как уплыл, то стал Сашкой. Сделалось тихо на Кундорожи. Ничего не осталось от сказанных слов. Только стрижи все выше, выше взмывали, не в силах достичь потолка. Да и не было потолка. Стрижиные голоса доносились из выси на одной дискантовой ноте, будто морзянка...

Иногда пролетали, свистя, шелестя крылами, чирки и кряковые селезни. Над губой играли на флейтах кроншнепы...

— Хорошо-то как, когда нет никого,— вслух подумала Люда.

Они сидели на крылечке дома с Игорем, с мужем.

— Стрижи высоко летают,— сказал Игорь,— это к вёдру.

День кончился, вечер продолжался, медленно тек; пора быть и ночи. Но рдела вода в губе и в реке. Не могли уснуть, успокоиться птицы, плюхали рыбы. Тарахтели вдали моторы: кто-то куда-то плыл. Ночь наступила уже, но не было мрака, потемок — ночь раннего лета на севере названа белой. Впрочем, белыми в этих ночах бывают разве что стены городских зданий. В городе белых ночей. Ночь над тихими водами, над камышовыми плавнями выдалась смутно-дымчатой, сизой, чуть лиловатой. В ней не было сна. Соловей попробовал горло в кусту над рекой. Проблеял где-то никому не видимый козодой...

Игорь приобнял Люду. Рука вначале мягко, грузно легла ей на плечи. Стала крепнуть, твердеть... Игорь поцеловал Люду. И утром, и днем они целовались, но это был главный, самый долгий, решительный поцелуй, без оглядки,— окончание дня, пришествие ночи...

— Пойдем,— сказал Игорь.

— Пойдем,— тихо, готовно откликнулась Люда.

Они легли на пол, на свежее хрусткое сено, которое Игорь косил, Люда сушила — для ложа. Сено Люда укрыла сперва одеялом, потом простыней. Окошко они отворили, соловей пел для них. Когда он умолк, Игорь

включил транзистор. Музыка звучала здесь, над тихими водами, без помех. Молоды они были, Игорь и Люда, но не первой, исполненной жажды познания, робости и сомнений молодостью. Чего им нужно, знали они — вот этой любви; и любили не только друг друга, любили всю любовь, ее сладость и плоть. Весь день они жили под солнцем, среди луговых трав и цветов, трудились, купались в реке. Некая сила накапливалась, настаивалась в них; теперь они тратили ее, любя...

Когда же не стало ее, Игорю вдруг показалось, что все разомкнулось, исчезло. И что же? Что же еще?.. Эта изба, сено на полу и женщина, лежащая рядом, — откуда она, для чего? Игорю почудились те мужчины, что были рядом с ней, вот так же, в ночи. Все было уже. Все было... И миновало. И нет ничего... Игорь вдруг вспомнил о недописанной диссертации, ужаснулась: «Позор, позор... На месте захряс... Все она, она... Тоже мне пылкий любовник нашелся... Ученый муж...» Ему захотелось обидеть Люду. Он сквозь зубы сказал:

— Какой-то в тебе есть профессионализм...

Люда перестала дышать, затихла...

— Дурак ты... — Она заплакала.

Игорь взял раскладушку, ушел ночевать под открытое небо.

Утром они помирились. Ночью опять поссорились. И много у них было ночей, но чтоб заодно, нераздельно, чтоб слиться и позабыть о себе — такого больше не получалось. словно кто-то стоял над их ложем, смотрел равнодушным, насмешливым взглядом: «Все это было уже, все было...»

Обычно свой отпуск в августе — сентябре Феликс Нимберг проводил на боровой охоте, уезжал на мотоцикле в Кыжню, Вондегу, жил неделями в бараках бывших, брошенных лесоучастков, стрелял молодых петушков-косачей, свистел в манок, приманивал рябчиков по берегам лесных ручьев. Приглядывал, наблюдал, где бобры подпилили лесину, где мишка ходил, где рысь, где глухариные выводки. И сам он, как тетерев, кормился брусникой на вырубках, как мишка, лакомился малиной, жарил себе на ужин грибы — белых грибов полно в глухой корбе за Вяльнигой. В речках он



ловил на удочку хариуса, форель. По вечерам сидел со свечой за столом в бараке, писал в тетрадку стихи: «Ничего мне на свете не надо. Я всю жизнь пройду налегке. Только двадцать четыре заряда. И краюха хлеба в мешке...»

Этим летом в отпуск Феликс отправился в необычное для себя место — на берег озера, по ту сторону губы, на мыс Еремин Камень. Там имелась построенная рыбаками избушка, часто в ней гостевала приезжая публика, ободрали избу, крылечко сожгли. На Кыжне и Вондеге Феликс с легкой душой оставлял свое имущество в лесных домах, уходил, куда нужно ему, — никто ничего не трогал, не брал. Здесь, у Еремина Камня, он не мог понадеяться на сохранность имущества; идучи в лес, нужно было все тащить с собой на горбу. Да и лес тут худой, только прибрежная грива, за нею сразу болото: дупелишки да бекасишки. Незавидное место, но если подняться на этот самый Еремин Камень, на поросший белым мохом и брусничником увал, если очень сощуриться, долго-долго смотреть, то можно увидеть в лиловой дымке, в солнечном мареве над зеленью тростников белый прямоугольник — шиферную крышу кундорожской базы. Музыка чудилась ему, как телефонный провод, доносила песню вода: «Ми-ла-я, ты услышь ме-ня...» Можно сесть в лодку и дуть прямоком через губу, за час будешь там...

Стола в избе не было, лавки тоже пошли на растопку. Окна Феликс затянул от комаров полиэтиленовой пленкой, пол вымыл, лежал по вечерам на еловых лапах, застеленных брезентом, свеча горела в изголовье. Стихи сочинял: «Между нами вода. Ты сидишь у окошка... Ничего, не беда, только грустно немножко. Свет погаснет в окне. Ночь большая настанет. Без тебя плохо мне; поболит — перестанет».

Летом Феликс сошелся поближе с Игорем-охотоведом. Такой вышел случай: с Игоря потребовали отчет о поголовье зверя и птицы на берегах губы. По своей педантической честности Игорь решил исполнить задание без туфты, без гадательных, округленных цифр. С фотоаппаратом и магнитофоном, с егерем Людой он отправился в экспедицию, дневал, ночевал на болоте, на радость мошкам и комарам. Игорь себя не щадил и помощника не щадил, но лоси все запропали куда-то,

утиные выводки затаились в тресте, к ондатровым хаткам не подобраться по трясине.

Феликс в ту пору клеймил лес под делянку в береговой гриве. Повстречал звериных, птичьих бухгалтеров — Игоря и Люду, изъеденных комарами, несчастных. Он им помог. Он знал на губе все гнездовья, все лежки лосей на болоте. Эту книгу он начал читать мальчишкой, выучил наизусть. Игорь вначале все проверял «визуально», но вскоре понял, что здешних болот ему не облазить, всех комаров своей кровушкой не напоить... Он доверился Феликсу, помощника своего, егеря Люду, отпустил с богом домой.

Люда украдкой взглянула тогда на Феликса, даже кивнула ему чуть-чуть, подмигнула — дескать, спасибо, милый, за избавление.

Феликс помог Игорю написать отчет. Он прижился, приобвык в доме Игоря, так же как пяльинский механик Сашка. Понял, что Игорь, при всем его гоноре и образованности, мужик бестолковый в лесных, озерных, хозяйственных делах, а прежде всего в делах житейских, человеческих. Отношения с пяльинскими рыбаками Игорь изрядно подпортил, и вовсе трудно бы ему пришлось жить особицей, с Людой на пару, если бы не Сашка. Сашка ему помогал. Сашка взял на себя, что ли, обязанности посредника между охотоведом и пяльинским миром. И Феликс тоже стал помогать, убеждать рыбаков, что Игорь в общем-то парень простой, только малость переучился...

Рыбаки говорили Феликсу, чтобы он передал «птицееду» — так они величали Игоря: «птицеед», — что если будет акты в милицию подавать за ловлю рыбы на губе, то пусть на себя пеняет. Воды много, есть куда спрятать концы. До Игоря был Сарычев егерь, тот хоть сети в губе снимал, но клязурами не занимался. С тем можно было договориться. А так не пойдет.

Феликс передавал Игорю пожелания рыбаков, конечно, в смягченной форме.

Он понял также, что между Игорем и Людой царят не только любовь да союз, но есть и что-то другое. С внезапным ожесточением они кидались друг на друга по пустякам. Однажды Люда собиралась в Гумборицу по каким-то делам, покрасила губы и подчернила глаза.

Игорь сказал, не глядя ни на кого, в пространство: — Птицы выражаются в яркие перья только в

брачный период. А у баб круглый год брачный период...

— Ты, Лубнин, приляг на спинку, — сказала Люда с такой ненавистью, что даже губы ее задергались. — Ты ведь у нас йог, полежи, отключись...

Феликс не любил раздоров, злобы между людьми. Он старался помирить Игоря с Людой; что-то ненастоящее и непрочное, вымученное было в их жизни, такой завидной, прекрасной снаружи, с фасада. «Хорошие люди, жалко. Пусть бы жили себе», — думал Феликс. Страстное волнение, которое он испытал, впервые увидев Люду, на бону, со щукой в руках, вроде бы и прошло, улеглось.

Феликс частенько бывал теперь с Людой вдвоем, то сеть похажали, то плавали по грибы — Феликс знал за губой одно такое местечко, — то жарили рыбу на летней кухне. Игорь смотрел на эту их дружбу с достойным индийского йога философическим спокойствием, ничуть не ревнуя. Даже не пел про синий троллейбус. Он целые дни пропадал на губе, караулил свой большой огород...

Однажды Люда сказала Феликсу, как она говорила мужу:

— Фелька, пойдём поплаваем.

Но плавать, купаться в холодной здешней воде Феликс не любил и не умел.

— У меня нет купального костюма, — улыбнулся Феликс, — дома забыл, на рояле...

— А зачем? — сказала Люда, как бы не понимая Фелькиной шутки, играя изжелта-зелеными своими кошачьими глазами. — Я вообще здесь не признаю никаких костюмов. Отойдём подальше друг от дружки. Ведь мы же люди свои...

— Да нет уж, иди одна плавай, — сказал Фелька, чувствуя, как подымается, бултыхается сердце.

— Только ты не подглядывай.

— Да не буду, — сказал Феликс, охрипнув, теряя голос.

Люда сбежала к реке, разделась. Феликс видел в окошко. Люда знала, что видит...

Она пришла, натянув платё на мокрое тело. От нее пахло речной водой, свежестью, тиной.

— Ну, ты не смотрел? — спросила она.

— Смотрел, — сказал Феликс.

— Фу, как не стыдно. Такой скромный мальчик, а за чужими женщинами подглядываешь.

И правда, мальчик. Ничего не мог понять Феликс в этой бабе. Играла она с ним. Но зачем? И что нужно делать ему? Феликс неловко обнял Люду, и вся она, вся потянулась к нему, будто ждала, приникла, сказала близко, в самые губы:

— Ну что ты? Ну что, дурачок?..

Она хотела, чтоб он ей ответил — что. А что? Дурачок дурачком. Феликс прижался к Людиным губам, губы раскрылись, смялись, жадные губы — чтобы любить, целовать. Кого целовать?

— Сумасшедший,— сказала Люда и откачнулась.— Задушишь меня. Жениться тебе пора. Такой жених пропадает.

— Уже пропал,— сказал Феликс.— Весь вышел.

— Бедняжка... Пропавший жених.

Так они разговаривали, будто не было ничего. Это Люде хотелось, чтоб не было. Но было же, было. Феликс думал, что надо решиться и все разрубить: или так, или так.

— Я, знаешь, однолюб,— сказал Феликс,— как лебедь...

— Весной лебеди пролетали,— сказала Люда,— какая-то сволочь стреляла по ним с Еремина Камня. Один лебедь упал. Мы с Игорем видели. Игорь помчался туда на лодке, но уж никого не застал. И вот, знаешь, все улетели, вся стая, а один отстал — кружился и плакал. Мы сами с Игорем наплакались, пока слушали его...

— Я покружу вокруг тебя,— сказал Феликс,— и тоже заплачу.

— Фелечка, миленький, не плачь,— сказала Люда,— а то и я плакать буду. Тут воды хватит без наших слез... Я к тебе привыкла. Ты мне как брат. Игорь меня убьет, если что-нибудь заподозрит. Он бешеный. В нем разные звери сидят: и медведь-сладкоежка, и заяц-трусишка. И тигр бенгальский... Мне трудно с ним... Да и со мной тоже не мед... Я сама не знаю, что завтра выкину... Я на Амуре родилась, в тайге выросла. Дальневосточница я, таежница. Потом меня забросило в Корсунь-Шевченковский, знаешь, Корсунь-Шевченковская битва?.. Потом в Ольховском егерем... Теперь вот здесь...

— А завтра где будешь, таежница?

— Здесь буду. А где же еще?

— Ну, ладно. Тогда можно жить.

Феликс уплыл и больше не заворачивал в Кундорожь, хотя, случалось, писал круги по воде, тарахтел мотором — по озеру, по губе, по каналу. Раз встретился с Игорем в лесхозе. Игорь спросил, чего он давно не показывается. Феликс ответил, что много работы: «Лесосеки отведем, клеймовка, визиры рубим. Некогда».

В августе он пошел в отпуск, сложил пожитки в лодку да и махнул на Еремин Камень. Охоты путной не было там, жить в лесу просто так, гулять, прохладиться Феликс не умел. Поэтическая его натура была также натурой практической, хозяйственной, домовитой. Феликс охотился впрок, промышлял. Охота служила ему подспорьем для жизни, приработком. На Еремином Камне он занялся рыбалкой, ставил в озере переметы. Но попадала только плотва, лещ брался плохо. И Феликс уплыл бы с Камня в более добычливые места, но все глядел в ту сторону, где Людин дом за губой, ждал чего-то, пел: «Ми-лая, ты услышь ме-ня...» Отпуск его пропал без охоты и без рыбалки.

Однажды к Еремину Камню завернула с озера рыбацкая, пяльинская мотоёла. Феликс встретил ее, принял конец, привязал к березе. На берег спрыгнул бригадир Высоцкий, крепенький мужичок, в маленьких, хорошо промазанных дегтем кожаных сапогах, в серой, с расстегнутым воротом рубашке, в пиджаке, с малиновой от солнца шеей, в кепке с большим козырьком.

— Мы ставник похожаем, видим, — сказал Высоцкий, — кто-то живет на Камне. Надо узнать, кто таков. Сей год ставника не тронули, поучили дак... В прошлом году два героя насмелились попользоваться... Два «вихря» поставили на казанку, если что, дак, думали, уйдут... С перепугу, видно, ни один не завелся у них... Ребята их в мотоёлу втащили, отволохали да в озеро кинули прохладиться... Под ноябрьские уж праздники дело было... Сей год тихо, никто не сунулся... А мы глядим, дым над избой, печку топют... Кто таков?

Бригадир разговаривал, а бригада его на борту мотоёлы слушала.

Будки у всех здоровые, красные от солнца, ветра и от других причин. Плечам, рукам, шеям тесно в одеж-

ке. Феликс подумал о тех двоих злосчастных ворюгах, польстившихся на даровую рыбу в ставном неводе. Ничтожна была их пожива в сравнении с расплатой.

— Дак, а ты-то здесь чо? — спросил бригадир. — По делу или так, порыбачить?

— Переметы поставил, да не берет ни шиша, — скавал Феликс.

Рыбаки улыбнулись, сыто, лениво, сознавая несравненное свое превосходство над бедным рыбарем, который цепляет червяков на крючки, сутками ждет, когда клюнет плотица или ерш.

— С нами пойдем, — сказал шкипер мотоёлы Володя Ладьин, — мой брательник Паша сегодня тресту жнет в губе... Работа найдется — веревку ташшить...

Феликс припрятал в кусту свое имущество да и прыгнул в мотоёлу. За ним следом прыгнул пес его, Пыж. Феликс облачился в оранжевый, тяжелый, грохочущий, водонепроницаемый рыбачий костюм, тянул веревку. Похожали сети, кинутые посередине озера, в самых глубоких местах, где держатся в эту пору сиги. Опрятные, как веретена, серебристые, с маленькими ртами, сиги попадали негусто, но попадали. К вечеру их набралось на дне мотоёлы с центнер. Пяток сижков бригадир Высоцкий выдал Феликсу за труды и леща килограмма на два. Окуньков и плотиц — густеру, которую не считали за рыбу, Феликс всю обобрал, сгреб в мешок.

Возле избы он наладил коптильню: прикатил с берега ржавую железную бочку, вырубил в ней оба днища, проделал дыру для топки; врыл полую бочку в землю, внутри натянул проволочную сетку. Развел в коптильне огонь, когда накопилось довольно жару, подкинул в топку ольховых веток с листьями. Вычищенных, посоленных, смазанных постным маслом сижков и леща перевязал бечевкой, уложил на сетку. Сверху укрыл жаровню крышкой, пусть рыба томится в ольховом чаду. Окуней и плотиц он тоже вычистил, посолил, распер палочками, продел им в жабры бечеву и натянул ее меж двух осинок — пусть вялятся.

Дотемна Феликс сидел у коптильни, прорыл поддувало, поддерживал ровный, в меру, жар, а главное — нещипкий, духмяный ольховый дым. Рыба нарумянилась, у сижков полопалась кожа, они сомлели в собственном соку. Одного сига горячего копчения Феликс

съел, сига́вая белая плоть без костей растаяла во рту; Феликс облизал пальцы. Подумал, что надо поехать на Кундорожь, угостить Люду с Игорем. Так он подумал: «Люду с Игорем». Отдельно о Люде он сегодня не вспоминал, не пел у воды цыганскую песню: «Ты услышь меня...»

Феликс быстро, легко заснул, довольный прожитым днем, с надеждой, что завтра опять пойдет в озеро с рыбаками и день трудов вознаградится прибытком. Завтра рыбаки похожат невод, в нем, должно быть, полно судаков и, конечно, попала лососка, форель. Густеры вообще завались... Засыпая, Феликс думал, что рыбакам выгодно брать его с собой: работает он не хуже любого, пая ему не нужно платить, а пять рыбин — это ничто для бригады. К тому же рыбаки — молчаливый народ, языки у них толстые, неповоротливые. Феликс, как жаворонок, заливался день-деньской. Рыбакам это любо, развесили уши...

Назавтра Феликс ждал мотоёлу, она еще шла каналом, а он уже слышал ее дизель. Но мотоёла не повернула к Еремину Камню, только пущенная ею волна пошлапала в берег. Феликс сказал себе: «Хватит. Завтра подамся на Вондегу». Он спрятал в кусту имущество, копченых сегов и леца, окушков и плотиц оставил висеть — бог с ними. Свистнул Пыжа. Пошел на болото. Вернулся за полдень с двумя молоденькими чернышами, со связкой дупелей и бекасов, с кряквой и чирком.

Спустился к озеру, разделся, зашел по щиколотку в воду, мылся, брызгался, фыркал. Вдруг возникла на озере белая лодка, промчалась в ту сторону, куда шла утром мотоёла, — к ставным неводам. Лодку Феликс узнал, это главного лесничего лодка. Главный лесничий сидел за рулем, и кто-то еще был в лодке, в белой фуражке...

Феликс опять натянул сапсги, поплыл посмотреть переметы. Больше суток он их не смотрел. Едва взялся за шнур, как почувствовал тягу, бисение сильной рыбы. Сердце закультыхало в нем, предчувствуя охоту, добычу. Когда тащил с рыбаками веревку из озера, сеть, — этого не было ничего, только работа... Феликс поводил сначала одного большого окуня, поигрался с ним, потом второго. Поддел сачком. Полубовался, порадовался. И еще кто-то дергал за шнур, упирался. Проблеснул в воде медный бок леца. Лещ плюхнул в

лодку, часто задышал жабрами, натужился, прынул вверх, затих. Феликс тоже часто дышал, готов был прыгнуть от радости. Подумал: «Пускай они там свои центнеры берут. Не наше дело артелью веревку тащить...»

В избе валялся с незапамятных пор большой ржавый чугунок. Феликс надраил его. Разделал рыбу. Начистил картошки, луку. Развел огонь на улице под таганом. Поставил вариться уху. Сидеть просто так не терпелось ему, не могло. Он взял топор, нарубил березовых жердей, обтесал их, забил в землю ивовые рога-тули, соорудил без гвоздя стол, две скамьи. Ждал гостей Феликс Нимберг, знал, что гости придут, чуял. И самый среди них долгожданный, самый нужный ему человек — в белой фуражке...

Уха сварилась, Феликс поставил вариться картошку, принес на стол копченых сигов. Что еще сделать? Достал из мешка поллитровку, отнес ее на болото, сунул в булькающий родничок.

Скоро возникла в сиреневой, синей озерной дымке белая лодка, миглом примчалась, высоко неся нос, прошуршала днищем по песчаному берегу. Феликс принял швартовы, привязал лодку к березе. Подал руку пассажиру в белой фуражке, Люда спрыгнула к нему, на Еремин Камень. С чемоданчиком-магнитофоном в руке.

Была она вся новая, с нарисованными черно-зелеными глазами, с обведенными карандашом губами, в джинсах, перепоясанных широким ремнем с медной пряжкой, в тоненьком свитере. Люда сказала:

— Ой, как здесь хорошо у тебя. Ты что же, совсем здесь один? Вот благодать-то.

Сошел на берег главный лесничий, в лесническом мундире, в фуражке с дубовыми листьями на кокарде. Перевалил за борт свое маленькое, крепенькое тело бригадир Высоцкий. Снял кепку и обнаружил совершенно лысую, круглую маковку. От кепки остался розовый обод, ниже обода росли волосы, а выше нет. Бригадир держал в руках котел, из него торчал хвост лосося. Он сказал:

— Сейчас уху заделаем, нашу, рыбацкую.

— Уха уж готова,— сказал Феликс.

Высоцкий взглянул в чугунок, сложил губы в усмешку, причмокнул:

— Это, по-нашему, не уха, это — пол-ухи...



Он быстро разделал свою красную рыбу, поместил ее в чугунок с Феликсовой ухой, расшуровал огонь под таганом. Новая, двойная уха, с красной рыбицей, вскорости закипела. Феликс предложил пока вышить, под копченого сига. Все согласились. Главный лесничий принес бутылки, но Феликс сбегал за своей, запотевшей в студеном ключе, и все хвалили его:

— Вот устроился парень. Вот житуха ему...

Принялись разливать, и, как всегда бывает, не хватило посуды, но все устроилось: бригадиру дали консервную банку, в которой хранилась соль, главному лесничему и Феликсу — по кружке, а Люде — стакан. Озеро чуть плескалось, взблескивало на солнце, ровно, просторно дышало всей грудью. Пахло рыбой, водой, хвоей, грибами, спелой, повядшей болотной травой — кухней осенней.

— За грибами надо было сбегать, — сказал Феликс, — белых-то нет, обабков да моховиков полно, можно бы нажарить.

— Обабки не хуже, а может, еще и получше белых, — сказал Высоцкий, опорожнивший свою банку. — Обабок солить можно — это раз, супешник из него получается наваристый, сушить можно, жарить. У моей хозяйки обабок — это первое дело...

— Да ну, зачем еще грибы? — сказала Люда. — И так стол ломится от яств. — Она по-мужскихватила полстакана водки. Главный лесничий ее угостил сигаретой «Опал». Люда сладко курила, глотала дым, часто стряхивала пальчиком пепел. Все на нее смотрели — трое мужчин — и как могли услужали. Феликс принес ей воды из ключа, чтобы водку запить, главный лесничий чиркал спичками, зажигал сигареты. Первой Люде Высоцкий подал миску с ухой. Уха загустела. Красная рыбина разварилась, заполнила весь чугунок до краев. Люде только и дали миску, мужчины хлебали из чугуна деревянными ложками. Глаза у них масленели, языки развязывались мало-помалу.

Мужчины рассказывали случаи, эпизоды из жизни. Бригадир рассказал, как поймали большую рыбу — на двадцать один килограмм. Главный лесничий — как ехал на «Москвиче», на собственном «Москвиче», за рулем и доехал до самого Петрозаводска. Феликс Нимберг, всегдашний завзятый рассказчик, звонил, помалкивал в этот раз. Лицо его выделялось среди других

лиц в застолье — сиянием, веселой, подвижной игрою света, будто солнечный зайчик на нем, будто кто-то сидит с зеркальцем на сосне и пускает, пускает солнечный зайчик в лицо. Луч преломляется тут и тянется дальше, к Люде, тревожит, щекочет ее лицо.

— Ух, жарко стало от твоей ухи, — сказала Люда, улыбаясь Феликсу.

— Да-а уха-то не моя, вон его, — отвечал Феликс скорым своим, приветно журчащим говорком.

— Все равно в ухе основа твоя. И сиг у тебя — просто пальчики оближешь. Игорь меня ругает, что у нас стол однообразный. Он хочет, чтобы, как в лучших домах, ему дупелей подавали под белым соусом. А я не люблю со стряпней возиться...

Они смотрели друг на дружку, Феликс и Люда, щурились от невидимого другим света. Прилетела сорока, раскачивалась на рябиновой ветке, вместе с пунцовеющими гроздьями ягод, трещала, предвидя свой, сорочий пир возле пира людского. Прилетела сойка и тоже заявила о себе, о своей доле в пиру — нахальным, скрипучим криком.

— ...А я иду по Кундорожи, — сказал главный лесничий, поигрывая глазами, — гляжу, на берегу Люда стоит одна, как сирота казанская. Дай-ка, думаю, подверну, не случилось ли что...

— Игорь уехал в город отчет сдавать, а я в окошко вижу, казанка идет, думала, может, он, вышла встретить... — Люда посмотрела на Феликса, так, невзначай. — Он вообще-то дня на три вчера утром уехал...

Феликс запомнил: осталось два дня, полтора теперь уж...

Люда включила магнитофон, он стоял на столе, среди еще несъеденных рыб и рыбьих оглодков. Сличенко запел: «Ми-ла-я, ты услышь ме-ня...»

— Мне, когда тихо, слышно, — сказал Феликс, — как он у тебя поет. Это когда вон они идут невод похаживать — на шумят, навселяют на всю губу. А вечером тихо. Я послушаю, послушаю и сам петь начинаю...

— Мне тоже слышно, — сказала Люда и посмотрела на бригадира и на лесничего с каким-то вызовом.

— Для кого поешь, тот и слышит, — сказал бригадир. Лицо его, плечи, руки сделались пьяными, разболтались. Не потому, что запьянел он больше других, а

потому, что позволил себе запьянеть. Для того и пил, чтобы стать пьяным. Иначе пить для чего?

— Телепатия... — сказал со значением главный лесничий.

Опять приложились, допили, доели. Пир кончился вдруг. Так много, казалось, всего, так лакомо, вкусно, так долго можно сидеть, тешить себя чревоугодием, сладострастием пира. И нет ничего. Нетерпеливо, сердито кричали сорока и сойка. Наступало их время.

— Ой, до чего же я пьяная, — сказала Люда, прижимая к щекам тыльной стороной ладонки. — Как я по озеру-то поплыву? Хорошо, еще ветра нет, не качает.

— А чего тебе плыть? — сказал бригадир. — Дети у тебя не плачут. Изба вон у Феликса большая. Мужик он смирный. Ты девка смелая, медведей не боишься, не то что нашего брата. Живи, отдыхай.

— Я-то не боюсь, — сказала Люда. — Только мне нельзя. Я женщина замужня.

— Мы по Кундорожи пойдём, твоему мужу посигналим, что баба в надёжном месте находится, — сказал бригадир.

— Можно найти и получше местечко, — опять играл глазами, кокетничал главный лесничий, оглядывал Люду как бы с высоты и в то же время искательно, с некоей тайной надеждой. — На Шондиге, на Кызже у нас, как в Швейцарии: горы, в речках форель... Будет желание — можно съездить... Машина на ходу...

— Я бы с удовольствием, — отвечала Люда.

Феликс слушал этот послеобеденный разговор, не участвуя в нём. На лице его все светился, подрагивал кем-то пущенный солнечный зайчик. Как сорока, как сойка, он ждал, когда схлынут ненужные ему теперь гости с их двусмысленным разговором, и начнется тогда его, главный пир. Ни хмеля не чувствовал он в голове, ни сытости в теле, нетерпеливое ожидание счастья и вера в его непременность владели Феликсом. Он почти не смотрел на Люду, но стоило обратиться к ней глаза, как тотчас она отвечала ему, и что-то вспыхивало тогда, слепило.

— Дай-ка я хоть посуду помою, — сказала Люда. — Ты где её моешь?

— Да вон в озере сполосну — и ладно, — радостно

откликнулся Феликс.— Пойдешь мыть — окуни, как поросята, сбегаются, чуть за пальцы не хватают...

Люда собрала со стола и пошла, запинаясь, вниз по тропе. Феликс добрал, что осталось, и пошел за ней следом. Бригадир и главный лесничий смотрели на них, пока они скрылись за камнем, за сосняком.

Когда они остались вдвоем на узком галечном берегу, Люда поворотилась к Феликсу, он обнял ее, миски и кружки брякнули оземь, те, что были в руках у Люды. Свои Феликс поставил на гальку без звука, отстранился на мгновение от Люды — и сразу вернулся, приник, целовал без роздыху, долго. Он не чуял земли под собой, он любил, и любовь подымала его, туманила голову не горьким похмельем, а сладостным хмелем, желанием, силой своей. Люда тоже любила его. Руки, губы, тело ее говорили ему о любви, обещали любовь...

Люда села на камень, закрыла глаза, раскачивалась, приговаривала:

— Ой, я совсем, совсем окосела...

И Феликс опять не знал, что поделать ему со своей любовью. Он ополоснул кружки и миски в холодной озерной воде и сам поостыл, совладал с собою. Его подвижная, привычная к непрестанному действию натура не могла больше мириться с неопределенностью. Он сказал Люде, без искательства и робости, как о решенном, о непременно деле:

— Я к тебе сегодня приду.

Люда не удивилась, словно знала, что так и будет. Она только сказала:

— Как бы Игорь не появился.

— Он на своей лодке? — спросил Феликс.

— Нет, Сашка его в Гумборицу отвез.

— Разве что засветло, — сказал Феликс. — В потемках навряд ли кто из гумборицких на Кундорожь пойдет. Пяльинские — те и вообще не ходят...

Так говорили они, вполголоса, в укромном месте, у самой воды, за поросшим соснами большим камнем.

— ...Не знаю, — сомневалась, мучилась Люда. — Он может и берегом прибежать. — Она говорила о муже своем, как о ночной опасности, о враге.

— Последний пароходик из Вяльниги на Гумборицу идет в шесть часов, — прикидывал Феликс. — В Гумборице он в четверть восьмого... К десяти так и так можно добраться... Ты часов в одиннадцать дай мне знать...

— А как я дам знать?

— Выдь на берег и позови меня,— улыбнулся Феликс.— Я услышу.

— Я лучше знаешь что сделаю? Я фонарь возьму «летучую мышь» и на берегу повешу, там столб есть... В одиннадцать, да?

— А хоть когда,— сказал Феликс,— я за тобой круглосуточное наблюдение веду.

Казанка главного лесничего умчалась. Феликс снял, смотал переметы. Прибрался в избе, вымел пол новым березовым веником. Наколот высушенных под плитой дров, сложил их у топки. Насыпал в миску соли, поставил ее на плиту. Тут же поместил спички, остатки круп, чай и сахар. Все это делал он не потому, что надо было ему исполнить рыбацкий, охотничий, страннический обычай, закон: позаботиться об идущем следом собрате. Он знал, на завтра сюда может явиться гуляка-турист и спалить весь дом. Но все-таки Феликс оставил спичек и наготовил дровец, хотя бы и для туриста. Так нравилось ему, так хотелось.

Свое имущество он уложил в лодку, поковырялся в моторе, но времени все равно еще оставалось много до одиннадцати часов. Что-то сломалось в моторе, движущем время, время еле ползло. Солнце зависло над озером, Феликс глядел на него, мерил глазом, сколько еще осталось ему до воды. Но тут принесло низом лиловато-багровую тучу, задернуло солнце, оно исчезло как мера времени, дня и ночи, света и тьмы.

Приплыли два мужика из Сонгостроя, интересовались не той рыбой, которая ловится на крючок, на дорожку, на перемет, а той, что в рыбацких мережах, в сетях, в ставных неводах.

Феликс сказал мужикам:

— Не советую вам, ребята, соваться туда. В прошлом году двое сунулись, дак рыбацки их прихватили. Рыбацки сильно не любят, когда у них сети щупают.

— А ты что, сам из ихней артели, за сторожа тут? — осведомились мужики.

— Да нет,— сказал Феликс,— я не из артели, я сам от себя.

Мужики не поверили ему и уплыли куда-то, искать в большом озере своего форта.

Оставаться дольше на берегу, на Еремином Камне, Феликс не мог. Страстное волнение охватывало его, а ночь все не наступала. Пыжа он привязал в избе. Обиженный пес выл, плакал, стонал. С собою взять его Феликс не решился, не зная, что ждет его за губой, зажжется ли там фонарик в назначенный час. Он столкнул с берега лодку, прыгнул в нее, пустил мотор и поплыл. Сразу ветер задул, посвежело, брызги омыли, охолонули лицо. Феликс направил лодку в устье губы, плыл вверх по реке, по фарватеру. Когда зажглись фонари на бакенах и смазались контуры берегов, он заглушил мотор. Лодка еще пробежала немного, прошелестела, потом ее стало сносить, поворачивать. Река подхватила лодку, Феликс помогал веслом. Не слышимая никем, лодка плыла по зарезому плесу. В траве у берега плюхали щуки. Прошлепала самоходка, неся копну света.

Феликс смотрел на часы и погонял лодку веслом, налегал. В губе он свернул с фарватера в заросль тресты, еще приналег. Идти под мотором он не хотел: слышно в Пялье. Греб стоя. Так шибко гнал большую тяжелую лодку, что подымалась волна, шуршала треста, с заполошным кряком слетали утки.

Он правил на чуть брезживший впереди, отраженный водой отсвет кундорожской базы. На базе горел огонь — для кого, что он значил? Ближе к берегу Феликс бросил весло, взял пропешку — еловый шест. Когда совсем стало мелко, подтянул голенища, шагнул за борт, побрел осторожно, без шума ступая по не слишком вязкому торфяному дну.

Взойдя на берег, сел в Игореву лодку — на этой лодке они первый раз поехали с Людой вон там, под берегом, сеть. Базы с губы не видать, ее заслонили ивы, березы, ольха. Феликс сидел, как ночная птица, нахоться, не шевелился. Слушал. Ближе, громче всего ему слышалось собственное сердце, стучало, ломилось в ребра. И в горле похрипывало, свистело дыхание, Феликс хотел унять сердце, остыть, но не мог. Ему чудились голоса, лай собачий, смех, стук мотора. Он порывался встать и уплыть. Делалось стыдно ему, нехорошо, что он, как вор, собрался поехать в ночи чужой невод. Могут за это его и прибить. Феликс смотрел на часы, дело уже шло к полночи...

Как вдруг кто-то прибежал к нему, хлюпая по

болоту, по мокрой траве. Феликс мгновенно обернулся на этот звук, увидел собаку, лохматую, с белой грудью лайку Сайду. Сайда смотрела на него без малейшей опаски, с приветом, как на знаконца, на друга. Вильнула хвостом.

Низко в кустах, на тропе завиднелся, задвигался фонарь. Сайда коротко твякнула, позвала, сообщила: «Вот я здесь. Все в порядке, сюда!» Люда вышла на берег. Лица ее свет не достигал, блестели мокрые голенища резиновых сапог. Феликс встал ей навстречу. Она вскинула фонарь, защищаясь. Феликс сказал:

— Это я. Я уже тут.

Люда опустила фонарь на траву:

— О, господи. Так и помереть можно со страху. Ты давно ждешь? Я не могла раньше. Никак от мужиков не отвязаться было.

— Какие мужики-то? — спросил Феликс.

— Все те же самые, лесничий да бригадир.

Феликс не понял сразу — какой лесничий, какой бригадир? И спрашивать не хотелось ему. Он долго-долго плыл на лодке к своей любимой, в ночи, по озеру, по реке, по заводи среди камышей. Если надо, еще бы поплыл — и без мотора, без весла, без пропешки достиг бы желанного берега. Он думал, что Люда ждет его одна-одинешенька у края пустынных вод, засветила фонарь... Он забыл, что еще есть на свете лесничие, бригадиры. Про Игоря он тоже забыл...

— Пойдем, — сказала Люда. — Лодка-то где твоя?

— А я так, без лодки, как Христос пришел по воде.

— Ну, молодец, — сказала Люда, — пойдем.

Люда пошла с фонарем впереди, в сапогах с поднятыми голенищами, в кургузом ватнике, походила она на мужика. И походка была у нее мужичья. Феликсу вдруг показалось, что это не тот человек его встретил, к которому он плыл, — чужой. Куда он приплыл, для чего? Люда остановилась, обернулась к нему, подалась навстречу. Феликс поцеловал ее, долго не отрывался, пока удостоверился: приплыл, куда нужно ему. Краем глаза он видел Сайду: в фонарном свете блестел собачий внимательный, понимающий глаз. Сайда сбежала с тропинки, укромно села под куст, наблюдала...

Феликс вышел из дому на берег, когда проснулся туман над рекой, полетел, вспугнутый неведомо каким

дуновением. Мокро всюду: в воздухе, на земле. Люда куталась в ватник и отводила глаза.

— Ты можешь ко мне прийти,— сказал Феликс.— Совсем прийти. Я буду тебя всегда ждать... Так престо у нас не выйдет...

— Игорь, если узнает, меня убьет,— сказала Люда.— И над собой что-нибудь сделает...

Туман полетел над водой еще шибче, в испуге, в смятении... Они обнялись на прощанье. Сайда пришла посмотреть. Она провожала Феликса, глядела, как он бредет по воде, достает из тресты свою лодку.

Губу Феликс прошел на весле, на пропешке. На реке тишину уже распороли моторы рыбацких лодок. Выше тумана проплыл трехпалубный белый, рейсом до Ярославля или до Астрахани, пароход. Феликс сплавился немножко по течению и завел мотор. Сразу сделалось ему лучше, уверенней: шесть лошадиных моторных сил повиновались ему — плыви куда хочешь, на все четыре стороны. Он повернул к Еремину Камню, вышел на берег, отвязал Пыжа. Тот не выказал радости, настолько измучился за ночь, перегорел. Взглянул с укоризной на хозяина, сразу забрался в лодку, улегся в носу, уши его, шкуру подергивало нервным тиком.

Феликс развел огонь под таганом, напился чаю. Когда показалась на озере мотоёла рыбацкой артели, он пошел ей навстречу, помахал рукой бригадиру Высоцкому. Тот стоял у штурвала, чуть поднял руку и опустил. Что-то сказал рыбакам. Те посмотрели на Феликса. На лицах, хмурых спросонья, не отразилось каких-либо чувств.

Феликс думал, что о ночной его одиссее неведомо никому. И все же в замкнутых, утренних, сизых рыбацких лицах, в нелюдимой позе бригадира Высоцкого померещилось ему осуждение, что ли. Когда он шел по каналу, Пяльем, полоскавшие на плотках белье бабы разгибали спины — взглянуть на него. И тоже, казалось ему, что-то знали они, не прощали. У входа в Кундорожь, на излучке канала, попался навстречу буксир с длинной гонкой леса. Буксир прижимался тут к левому берегу. Проскочить Феликс не успел. Концевая сплотка в гонке упиралась в другой берег, чертила по нему. Волей-неволей пришлось поворачивать в Кундорожь, переждать. На дом, где был этой ночью, Феликс старался даже и не глядеть. Медленно, несконча-



емо долго ползла мимо гонка. Проволоклась-таки. Феликс вышел в канал и сразу увидел лодку, идущую сверху из Гумборицы. В носу ее сидел Игорь Лубнин, охотовед, птицевед, рыбовед, последователь индийских йогов, без пяти минут или, скажем для верности, без десяти минут кандидат наук, молодожен. Был он широк в плечах, лицом бел, в блестящей синей куртке с «молниями». Его непокрытые, густые, вьющиеся, русые волосы развевались на встречном ветру, летели. На руле у мотора, нахохлившись, втянув голову в плечи, как серая крачка, примостился Сашка Бугров, механик Пяльинского лесоучастка. Во рту у него, раздуваемая ветром, искрила папираса. Лодка шла правым берегом. Феликсу не хотелось встречаться глазами с охотоведом, но некуда было податься. Не приготовился Феликс, не ждал этой встречи. Судорожная ухмылка перекосила его лицо. Он внутренне замер, аршин проглотил. Притвориться, роль сыграть Феликс не умел. Да и какую роль нужно было ему играть? Игорь каменно твердо сидел и смотрел тяжело, ничто в нем не шевельнулось. Он не поздоровался с Феликсом, Феликс тоже не смог поздороваться с ним. Сашка махнул рукой, что-то крикнул, за двумя моторами не слышать.

Если бы мог, Феликс прибавил бы скорость. Но у мотора не было силы. Лодки поравнялись и разминулись. Феликс поплыл дальше, и судорога души, лица все не отпускала, не ослабевала. Стыдно, гадко было ему.

Зло возникло из счастья, после самой лучшей, самой сладкой, самой главной в жизни Феликса ночи, оно родилось из его любви. Феликс думал об Игоре и ужасался той муке, какая ждала теперь Игоря. Ему мерещилось Игореве остановившееся, будто от нестерпимой боли, лицо. О Люде Феликс не думал сейчас. То есть думал, конечно, он думал о ней всегда. Но Люда — для счастья, для радости, для любви. Ее не могут коснуться ни зло, ни беда, ни вина...

Феликс пробовал взять всю вину на себя: «Не надо было мне лезть. Отступить... Пусть бы жили себе...» Он вспоминал, как, с чего началось, как шел на весле, на пропешке — через губу, как в потемках сидел на берегу, обмирая от отчаяния и надежды, как появился в кустах, прикатился к нему ком света... Как жарко Люда шептала ему, в самые губы: «Никогда, никогда еще

не было так хорошо... Никогда...» Феликс строго себя судил, но память, живая, телесная память минувшей ночи, давала ему оправдание. Он спрашивал у себя: «Если б не было ничего, если б опять все сначала, поплыл бы через губу?» — и отвечал: «Да, поплыл...»

Почему, как Игорь прознал о случившихся в его доме ночных делах — об этом Феликс не думал. Ночью он позабыл про Игоря, а когда утром увидел его, то сразу и выдал себя. Был уверен, что выдал. И Люда выдаст. Как скрыть-то? Как обмануть? И зачем обманывать?

Гумборицкие собаки скатывались по лесенкам к воде, лаяли на Пыжа, опять забирались наверх, бежали до следующей лесенки, рушились вниз, заливались. В гумборицкой чайной Феликс взял котлету, но есть ее не смог. С жадностью выпил стакан горячего крепкого чая. В чайной сидели капитаны, помощники капитанов, механики, боцманы буксиров и самоходок — все в белых нейлоновых рубашках, при галстуках, с золотом на рукавах, как моряки больших плаваний. Котлету Феликс отдал Пыжу, тот долго брезгливо ее мусолил, будто это кость, месталыга.

Накрапывал дождь. Вскоре он разошелся. Феликс с Пыжом промокли, продрогли, пока по Вяльниге плыли. Дома мать поила Феликса чаем с малиновым вареньем. Он забрался под одеяло, не мог согреться, озноб его бил. Отец принес маленькую, потчевал пуншем. Но и это не помогало. Ночью Феликс не спал, все слушал, чудились ему шаги, голоса. Он ждал, что Люда придет к нему, прибежит. Укорял себя тем, что не остался, не привез Люду с собой. Каково ей там с нелюбимым и страшным в своей ревности человеком?

Ночь кончилась. Люда не прибежала. Утром Феликс ходил на пристань встречать пароходик из Гумборицы. Люды не было на нем. Феликс поднялся к мосту, откуда виднелась Вяльнига — до излучины, до села Кондрашкина, с похилившейся церковкой над ним. Вяльнигу прохватило мозглой стужей, туманом, дождем. Феликс вглядывался в каждую лодку, идущую снизу. Люды не было в них. С дневным пароходом прибыл рыбак из бригады Высоцкого. Феликс спросил у него:

— Ты на Кундорожи вчера был?

— С озера идешь — Кундорожь не минуешь, — сказал рыбак. — Вчера невода похажали...

— Ну, как там, тихо?

— Выпили малость, дак Пашка Ладьин песни пел. А так ничо, тихо, — сказал рыбак.

С вечерним пароходом Люда тоже не приплыла, по берегу не прибежала, в лодке ее никто не привез.

У Феликса оставалась еще неделя отпуска. Назавтра он собрал котомку, повесил за спину ружье, привязал к багажнику мотоцикла корзину. Пыж сам прыгнул в корзину, покрутился и лег. В Островенском Феликс оставил мотоцикл у лесника, переплыл Вьяльнигу и углубился в корбу — глухие леса, не слыжавшие пока что визга моторной пилы и рева трелевочного трактора. В лесах этих белые грибы доживали до старости, помирали дряхлыми дедами. С елей свисали бороды лишайников. На кварталных просеках рдели рясные гроздья брусники. Грохоча крыльями, с ягодных кочек слетали глухари.

За неделю Феликс оброс белесой щетиной, пропитался костерным дымом, запахом хвои, грибов. Однажды вечером у костра он написал в своей тетрадке: «Все, что было, то было. Все, что сбудется, будет. Лед меня не согреет, жар меня не остудит». Он успокоился, освежился, как пишут в книгах, нравственно обновился в лесу. Пошел работать — и тоже в лесу. Директор лесхоза послал его на делянку — грузить хлысты на машины. Феликс эту работу не мог терпеть, но теперь согласился. Она утомляла, выматывала — и ладно, и хорошо.

Совесть больше не донимала Феликса, дух его уравновесился, вошел в согласие с телом. Никаких вестей с Кундорожи не поступало, словно жизнь там остановилась тем утром, кончилась, развеялась, как сновидение. Феликсу казалось, что и не было ничего, пригрезилось это: дом на берегу тихих вод и женщина шепчет: «Милый, так не было никогда, никогда...» Днем казалось, а ночами женщина приходила к нему, он протягивал руки и чувствовал ее плоть, желанную, жаркую... Феликс метался на холостяцкой постели и думал, что жить без Люды ему нельзя, а днем, в осенней прохладе и ясности, в тяжких трудах трезвость сознания брала верх над томлением духа и тела: «Если что-нибудь было, то сама ведь тоже она должна хоть

какой-нибудь сделать шаг, знак подать... Все, что было, то было. Все, что сбудется, будет. Лед меня не согреет, жар меня не остудит...»

Между тем полетел с севера гусь, потянула морская черная утка. Однажды под воскресенье Феликс погрузил в лодку канистру бензина и отправился вниз по Вяльниге — в озеро. Идучи мимо Кундорожи, поглядел на Людин дом — дом стоял как всегда. Феликс пересек губу, речной фарватер, вошел в Лисью протоку — тут у самой воды мышковала лиса. Феликс вскинул ружье и выстрелил в воду. Лиса с испугу прыгнула, взвилась в воздух всполохом пламени. Феликс всю ее — рыжую, золотую, оранжевую, багряную, с подпалинками — увидел на фоне синего неба и обрадовался такой нечаянной встрече, такой красоте. Никто этого никогда не видел и не увидит...

Радость, удача сопутствовали ему весь день. День солнечный выдался, теплый. На заболоченной старице он подстрелил двух гусей, и утка сама шла под выстрел...

Доверяясь своей удаче, своему лучезарному настроению, безмятежной ясности и покою осеннего дня, Феликс направил лодку в Кундорожь, заходя улыбаясь, неся в руке серого гуся, назначенного в подарок.

Игорь, по своему обыкновению, ковырялся в моторе. Он поздоровался с Феликсом со свойственной ему величавой небрежностью, не выразив удивления, радости, дружелюбия, неприязни или других каких-либо чувств. Он поздоровался и опять углубился в мотор. Феликс сказал:

— Я вон двух гусей взял, дуплетом бил, двое и выпали из стаи. Мне-то одного хватит. Дай, думаю, завезу на Кундорожь, тут второго и сварим...— Он положил гуся наземь, недалеко от Игоревых ног.

Игорь на гуся не посмотрел, а взглянул как-то странно на Феликса и сказал:

— Бойтесь данайцев, дары приносящих...— Потом он еще ковырялся в моторе, молчал. Наконец промямлил, выпятив нижнюю губу: — Сбегай в Пялье за поллитрой. Денег могу дать.

— Зачем,— сказал Феликс,— найдется.

Он спустился к лодке; пока шел до Пялья, запас его добрых чувств иссяк. Люда не вышла из дому, хотя не видеть его, не знать, что он прибыл, она не могла.

«Может, куда уехала?» Феликсу не хотелось возвращаться на Кундорожь, не хотелось ему пить с Игорем водку. Но теперь он не волен распорядиться собой. Несвободу почувствовал Феликс, какую-то связанность, затосковал: «Вообще не надо было туда заходить».

...На Кундорожи никто не встретил его, никто не вышел из дому. Феликс постучал сапогами о порог. Игорь сидел за столом, покручивал транзистор. Люда стояла за плитой, в углу на газете высилась грудка гусиных перьев и пуха.

— Давненько что-то тебя не видать,— сказала Люда, глядя мимо Феликса, вскользь.

Игорь поймал какую-то громкую музыку, джаз,— и ушел с транзистором в комнату.

Феликс присел у кухонного стола. Люда не оборачивалась к нему, занималась стряпней. Она сказала:

— Была бы капуста, гуся бы с капустой стушить. Ладно еще лавровый лист да перец нашелся. Мы с Игорем последнее время совсем никуда не ездим. Запасы все истощились...

— Гусь жирный, осенний,— сказал Феликс.— Ничего к нему и не надо. Свой сок даст...— Он посидел еще, не зная, что говорить, и поднялся: — Пойду дровец принесу.

Напиленных чурок всегда довольно валялось у Игоря на дворе. Пилить дрова Игорь любил мотором, а колоть не любил. Феликс натешился вволю, намахался колуном, успокоил себя этой привычной работой. Люда позвала:

— Иди, уварился твой гусь.

Уже смеркалось, и Феликс подумал, что самое лучшее — это сесть бы в лодку, бог с ним и с гусем, и с Игорем... Но что-то мешало ему распорядиться собой, некая неволя, обязанность довлела над ним.

Игорь пошел во двор, завел движок. Люда молчала, и Феликс молчал. Водка не помогла им. Феликс делал попытки заговорить с обычным своим рыбацким, охотничьим воодушевлением, но Игорь будто не слышал его, а Люда норовила уйти из-за стола к плите.

— ...А я тот раз иду с Еремина Камня домой,— сыпал скорым своим говорком Феликс,— аккурат против Кундорожи гонка навстречу. Буксир к самому левому берегу прижался, а хвост по правому волочится. Мне куда податься? Я — шмыг в Кундорожь, еле успел...

На дворе надсадно, с хрипом стучал, задыхался движок. Лампочка над столом то разгоралась, то угасала.

— Пса-то зачем одного оставляешь на ночь на Еремином Камне? — Игорь в упор посмотрел на Феликса. Нижняя губа его задрожала. — Человека можно обидеть, а пса-то за что?

Феликс не знал, что сказать, жарко стало ему. Тут движок поперхнулся, лампочка потлела и погасла. Зарделись угли под плитой. Люда ушла с кухни...

— Почему одного? — пробормотал Феликс.

— При хозяине Пыж гавкать не станет, — сказал Игорь. — Даже в Пялье слышали, как он надрывался...

— В Пялье своих брехунов хватит, — сказал Феликс. — Рыбачить ночью идешь, ясно, что пса оставляешь. На Еремином Камне полно туристов шляется, вот он и лает...

Игорь встал и пошел на улицу. Феликс слышал, как он приказал своей Сайде:

— Сайда, поваляйся!

Потом Игорь запел песню про синий троллейбус: «Последний троллейбус по улицам мчит, вершит по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушенье...»

Феликс не знал, что делать теперь. То есть он знал, что делать ему, но что тогда станется с Людой? Люда затихла, исчезла, словно и нету ее...

Игорь прошел мимо, не поглядев, прикрыл за собой дверь в комнату и щелкнул задвижкой.

Феликс усмехнулся:

— Так. Заперлись. Хорошо. — В нем поднялась вдруг гордость, что ли, или же злость — освобождение от неволи. Из комнаты слышались голоса и вроде бы смех...

Феликс вышел на волю и плюнул. Сел в лодку, поплыл и думал, что с этим кончено навсегда. Плыть было кромешно темно, только чуть угадывались берега, кусты на берегах. Звезды высыпали на небо, были они по-ненастному тусклы, малы.

На выходе из канала в Вяльнигу под лодку попало бревно, погнулся винт. Феликс еле добрался до дому к утру. Он лег, но не заснул, а мучился, разбирал, как проигравший шахматист, ход за ходом вчерашний свой вечер, свидание с Игорем... Кто-то постучался чуть слышно в дверь. Мать открыла и позвала его:

— Феликс, к тебе!

Феликс натянул брюки, вышел в майке, босой. У порога стояла Люда, простоволосая, в ватнике, с большим багровеющим синяком под глазом. Следом за ней вошел Сашка Бугров, стал рядом с Людой, сказал:

— Доброе здоровье, хозяйева! Своей у вас вяльничской грязи мало, дак мы еще нашей пяльинской привезли. Наша гушше.

Мать Феликса прислонилась к печи, скрестила руки на груди, тревожно разглядывала незваных гостей.

Феликс заметался немножко:

— Проходите, садитесь... Да вы раздевайтесь...

— Рассиживать некогда, — сказал Сашка. — Дела серьезные, видишь сам.

— Ты, мама, поди к себе, — сказал Феликс.

Старушка, тяжело вздохнув, ушла.

— Ну, раздевайтесь, чего, — сказал Феликс. — Вы с пароходом или на лодке? — Он подошел к Люде, растегнул ее ватник, снял, повесил. Люда взглянула на него, и главное, что прочел Феликс в ее глазах, — это покорность, Люда вверяла себя ему. Вдруг почувствовал Феликс, понял, что победил он, выиграл у Игоря-охотоведа...

— Нам зачем пароход? — говорил Сашка. — В своей лодке сам себе капитан...

Феликс не слушал его. Он смотрел на Люду, усаживал ее, прикасался к ней, уже чувствуя ответственность, право, счастье свое, победу...

— Вот доставил тебе невесту, — сказал Сашка, — почти что в полной сохранности. С самым маленьким уроном... Ну, это ничего, заживет до свадьбы...

Люда сидела, уронив плечи, руки. Слезы часто, как березовый сок, катились по щекам.

— Ночью она прибежала ко мне, — Сашка повернулся к Феликсу, — дак слова сказать не могла. И индийский йог следом пожаловал, рычал аки тигра... Ну, и его тоже понять можно... Да я знал, что так получится, и ему говорил.

— Теперь чего плакать? — говорил Сашка Люде. — Теперь вон у тебя защита — первый парень на Вяльниге.

— Он меня мог убить, — всхлинула Люда. — Потом сам побежал топиться...

— А ты чего же хочешь, чтобы он цветы тебе преподнес? Ну ладно, мне хоть с полдня в мастерских показаться надо...

Феликс пошел проводить Сашку, и тот сказал ему:

— С тебя поллитра приходится. Я уж давно вижу, что мается парень. И парень вроде нашенский. А для кандидата наук оно, может, так и лучше...

Феликс пожал Сашке руку, но словно бы он и не видел его. Куда-то он смотрел в дальнюю свою даль. Глаза его яркие сделались, лазоревые.

Через год, весной, я опять приехал на Вяльнигу, шел с автобуса на пристань, думал сплавать на Кундорожь, поглядеть, что там теперь и как. Мотоцикл попался навстречу. Двое ехали на нем, в ватниках, в красных касках-горшках. Остановились. Феликса я узнал, а Люда сильно переменилась. Лицо ее как-то опростилось, увяло, шире сделались скулы. Такие бабьи лица можно увидеть в селениях и поселках — на Амуре или на Вяльниге, на больших или маленьких реках. Мы поздоровались, но не знали, о чем говорить. Первой заговорила Люда:

— Мы с Феликсом, как свободное время, так едем в лес, куда-нибудь на лужайку. В лесу сейчас благодать: фиалки, подснежники. — Люда сказала это, но будто еще спросила о чем-то меня. Или себя...

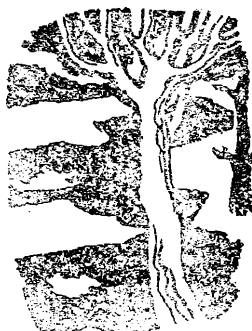
Я сказал, что это самое милое дело — в лес, на лужайку.

— А Игорь новую жену привез из города на Кундорожь, — сказала Люда.

Феликс повернул рукоятку газа — мотоцикл зарычал.



## ОСТРОВЕНСКИЙ ВЕРМУТ



Весной никто не ездит по этой дороге. Только ездит Коля Савельев, на «ЗИЛе-сто-полсотни-первом». Утром Коля везет на делянку рабочих — из Сигожно, Островенского, Кыжни. Вечером отвозит их по домам. Живет Коля на лесоучастке в Кыжне, в щитовом сборном доме; дом на две семьи. Семья у Коли три человека: сам Коля — глава, жена Капитолина и сын Володька, четырех с половиной лет. У Володьки имеется только одна игрушка — старый карбюратор, папа принес. Игрушки в Кыжне не продаются. Съездить в город у Коли нет времени. Володька возит по полу карбюратор, урчит, как папин автомобиль.

Поселок назван по имени речки — Кыжня; речка сплавная, в зиму ее берега обрастают штабелями бревен, высотой в трехэтажные дома. В Кыжне живут сплавщики. Весной они рушат штабеля — бревна с плеском, с брызгами падают в реку, ставят запони, переборы, разбирают заломы, подпихивают застрявшие бревна баграми. Кыжня впадает в Вяльнигу. Вяльнига — голубая весной, как небо, и белые льдины плывут по Вяльниге — облака. В Кыжне живут заготовители леса: вальщики, обрубщики сучьев, трелевщики, трактористы, шоферы лесовозов, учетчики, десятники, бригадиры. Есть мастерские, гараж, движок, восьмилетняя школа, детсад, столовая, красный уголок с библиотекой. До Островенского от Кыжни семь километров, до Сигожно тридцать, до станции Вяльнига сорок два.

Весной тут не ездит никто, только Коля Савельев каждое утро везет рабочих из Сигожно, по пути заби-

рает островенских, кыженских. Дорога идет берегом Вяльниги; берег сухой, высокий, увалистый, поросший сосной.

И Вяльнига тоже как дерево: ствол его — русло реки, а ветки — притоки, лесные речки; Сигожа, Шимокса, Воткуса, Вондега, Кыжня, Сярга. Слова эти — Вяльнига, Шондига, Кыжня — начинаются с ударного слога, как все слова в финно-угорских наречиях. Тут издавна жили карелы, вепсы, да и поныне живут. Словесные корешки остаются в названиях рек. Речными именами нарекают поселки. Поселки строят на скорую руку, на недолгую жизнь, покуда срубят весь лес.

Кыжня окружена глухими лесами — тайгой. По веснам я ездил сюда на охоту. До Вяльниги — автобусом, там ноги в руки да и пошел бережком — сорок два километра. Устанешь — зажжешь костер, черпнешь котелком из Вяльниги воды с ледышками, распиваешь чай, закусываешь хлебом и колбасой, лакомишься пряниками. Все вкусно, любая еда в охотку. Кукушки считают время, как метрономы. Поют дрозды.

Дорога пустая, никто не ездит по ней весной, а ходить разучились в наш-то машинный век. Разве встретится Коля Савельев, остановится, скажет:

— Начальник участка в Вяльнигу послал за нигролом. К вечеру обернусь. Если что, ты подожди. Подвезу. В ногах правды нет.

— Да ничего, пойду помаленьку, — скажу я Коле. — Догонишь, дак сяду.

Я стараюсь говорить, как говорят на Вяльниге: «дак»...

Кузов Колиного «ЗИЛ-а» набит народом: все знают, когда едет Коля. Лица у островенских баб напеклись, загорели, в глазах весенняя живость, голубизна. Бабы глядят на меня с лукавством:

— Дойдет, ноги длинные. Сразу видно, турист.

Я не хочу быть туристом. Хочу, как нынче принято говорить, вписаться в пейзаж. Но вот же не вписываюсь. Сколько лет хожу по этой дороге, а все турист. Ладно. Коля проехал, больше встречных не будет.

Коля — мой давний знакомый. Меня познакомил с ним директор сплавной конторы, тоже мой давний знакомый. Я — директорский протезе.

Иду бережком и слышу, как шурхают льдины и

бревна внизу на реке, считает время кукушка, вдыхаю запах ожившей сосны и весеннего снега — и знаю: настала весна. В городе можно ее не заметить, даром прожить...

В апреле пришло из Кыжни письмо от Коли Савельева: «В прошлом году не получилось у нас. Приезжайте нынче к 1 Мая. Можно поохотиться. В марте я ходил на тока. У глухарей начерчено. Птица есть. До Сигожно ходят машины. Из Сигожно можно будет уехать со мной. Я каждый день еду. Везу рабочих».

Если б не Коля, на время распутицы вся работа в лесу прекратилась, на Кыженском лесоучастке. Директор сплавной конторы любит Колю Савельева, в прошлом году наградил его именными часами. И в этом, наверное, чем-нибудь наградит. Как же не любить директору Колю? Любит ли Коля директора, я не знаю.

Иду пешком из Вяльниги в Кыжню — сорок два километра. Дошел до Островенского, значит, осталось десять. В Островенском захожу в магазин. Не потому, что истощились запасы в пути, а потому, что шагать да шагать — однообразная все же работа.

Какой в магазине запах, точно сказать не могу, это — смешанный запах огурцов в рассоле, керосина, халвы, резиновых сапог, дегтя, лежалого хлеба, одеколona, селедки, мятных пряников. И чего-то еще — запах сельского магазина. Внимательно разглядываю поставленные в углу два велосипеда, мопед, радиолу «Ригонда», потом переключаю внимание на зимние шапки с ушами, на косы, грабли, лопаты, топоры, фонари «летучая мышь». У прилавка стоят женщины, берут пшено, макароны, соль, сахар, скумбрию в масле, мыло, лавровый лист. Пока изучаю преискурант островенской лавки, бабки изучают меня: что за птица, в такую-то пору, по бездорожью...

Молчание воцаряется в магазине, женщины глядят на меня. У всех загорелые лица. Я изучаю названия вин. Тут открывается дверь, бабка в жакетке, в платке веселым, весенним голосом сообщает:

— Сейчас по радио передавали — не то в Индии, не то в Индонезии, не поняла, у одной сразу семь ребятишек родилось.

Это известие всеми в лавке принимается близко к сердцу. Обсуждают судьбу семерых близнецов:

— А что же, девчонки или мальчишки?.. Вот как надо: без малого мать-героиня... У нас бы такое — сразу бы дали квартиру... Так то же в Индии, я слыхала по радио, там в каждой семье не меньше семерых ребят. У них климат другой, одежды им нужно самую малость, и финики растут, сами с деревьев падают, только собирай... Да... У нас на такую ораву одних валенок сколько надо... Вон у меня в зиму две пары стоптали...

Интерес ко мне пропал, есть события любопытней. Я беру бутылку вермута. Уйти из лавочки, ничего не купив, неловко — ладно, бог с ним...

Коля Савельев догоняет меня, когда до Кыжни остается всего ничего. Влезаю в кузов, в фургон. Еду последние полкилометра. Завернуть домой недосуг Коле Савельеву: его ждут рабочие — сигоженские, островенские, кыженские. Надо увести их домой.

— Когда приедешь-то, Коля? — спрашиваю я, спрыгнув с кузова у околицы Кыжни.

— Два часа уходит на езду до Сигожно. Если только на сяргинском болоте не закукую. Так-то не должно. Обычно проскакиваю... Вы у меня пока отдыхайте. Капа дома, наверно. Прилягте, поспите с дороги.

Коля зовет меня то на «вы», то на «ты». Времени у нас не нашлось познакомиться ближе. Коля едет, едет. Больше никто не может проехать в распутицу, в лучшем случае доезжают до сяргинского болота — буксуют, рычат моторы, пока не зароятся по уши. Ждут, когда вытянет трактор. Однажды Коля слег с язвой двенадцатиперстной кишки, отдали его «ЗИЛ» другому шоферу. Тот чуть отъехал от Кыжни и увязил машину на первом же пльвуне. До чего добуксовался — сцепление полетело. После этого случая директор сплавной конторы распорядился никому Колин «ЗИЛ» не давать. Когда Коли нет, «ЗИЛ» запирают в «бокс», чтобы никто и не смотрел на него косым оком. «Машина, как баба, — сказал директор, — пойдет по рукам — значит, рассыплется, по деталям не соберешь. Пуцай при одном хозяине будет...»

Я потоптался на крыльчке савельевского дома, поскребся в дверь, никто не вышел ко мне. Как оказалось, выйти было нельзя: Володька сидел на горшке и требовал к себе внимания. Капитолина извинилась передо мной, управилась с Володькой и стала меня привечать,

потчевать чаем с брусничным вареньем. Я объяснял про себя, кто я, откуда, зачем. Капитолина могла повабыть обо мне, о моем прошлогоднем визите. Но она все помнила, знала. Она работала нянькой в детском саду, в эту зиму Володька много болел, пришлось сидеть дома.

Говорила она о муже с горестным выражением на лице:

— Коля мается животом, исхудал, в чем душа держится. Будто больше всех ему надо, каждый день по двенадцать часов из машины не вылазит. Только придет к ночи, сунется поспать, затемно опять надо ехать. Горячей пицци совсем не видит — как же тут не заболеть?

Капитолина дала мне валяные опорки, чтобы отдыхали ноги. Мы сидели с ней у стола, пили чай из согретого на углях, на шишках самовара. Володька возил по полу папин карбюратор, жужжал: вжжж. Капитолине было, наверное, тридцать, или чуть больше того, или меньше. Когда я вошел, то на ней был халат, ноги впробоску сунуты в тапочки. Она убежала в другую комнату, переделалась в шерстяной джемперок. Волосы заплела в косу. Ее большая грудь вольготно обрета-лась под одеждой. Тонкие в лодыжках ноги розовели.

Капитолина смотрела серьезно. Глаза в ее облике составляли главное, некий центр, как глаза божьих матерей на фресках старых иконописцев; не знавшие никаких подкрасок, косметики, ресницы были густы, темны, загнуты кверху, как в юности, а глаза обметаны тенью давней, привычной усталости.

— Вообще-то мы каждый год собираемся уехать отсюда, — говорила Капитолина. — Коля зарабатывает хорошо, но зачем нам тут эти деньги? Ведь мы ничего не видим. Кино показывают, и то не можем сходить, у Коли времени не бывает. Он как все равно ненормальный работает. Вернется из ездки, и вот под машиной бы только ему и сидеть. Как чушка грязный придет, с ног валится, даже помыться путем не может. Не знаю... Мы из Рязанской области с Колей. С одной деревни. Он в армию ушел, я ждала. Потом вернулся, говорит, поехали куда, хоть свет посмотрим, пока молодые. Объявление он прочитал, что на лесозаготовки берут. Шофер он первого класса, мог бы везде устроиться. Ну вот, поехали. Седьмой уж год. Не знаю... В

отпуск приедем к себе в деревню, у него там мать бедует одна и мои родители старики. Зовут: приезжайте, живите. Теперь там совхоз, и заработки, и все... У его матери дом, и у моих тоже дом. Как соберемся ехать, директор узнает, вызовет Колю, премию даст или что... Без Коли-то тут в распутицу вообще остановится жизнь. Никто не ездит. Никому неохота уродоваться. Только мой Коля грязь месит. В нем уж и тела-то не осталось совсем, как воробей, ей-богу... А директор знает, как к нему подойти. Коля добрый у нас. Такой уж добрый, что и не знаю. Директор просит: останься еще хоть на год. Коля отказать не умеет... Вот дали полдома. А что этот дом? Зимой как засвищет — его сквозь продувает...

Не зная, чем утешить Колину хозяйку, я достал из мешка бутылку островенского вермута и предложил выпить. Капитолина сказала:

— Вам самим пригодится. В лесу-то с устатку... Коля мой в рот не берет. А я и вкусу его не знаю.

Колю ждать оставалось долго еще. Я сказал, что пойду поохочусь на рябчиков. Ноги мои гудели, конечно, после длинной дороги из Вяльниги в Кыжню. Я вышел на берег. Солнце грело. Отыскал посреди штабелей закуток. Приладил пару осиновых плах, сел, прикорнул. То ли спал, то ли нет. Река бежала, крутилась, толкалась в берега, что-то невнятное лопотала. То есть невнятное для меня. Говор бегущей воды был исполнен какого-то смысла. И в свете низкого солнца, в рдяной окраске сосен на том берегу тоже значился некий образ. Настраивали свои кларнеты и флейты дрозды. Будто действо вершилось в природе, акт сотворения красоты; каждый звук, отголосок, соразмерность света и тени, темный глянец воды и размытая голубизна неба, зеленая сутемь елового леса и белые струи берез — все было ладно, уместно и чудно.

Я думал, что вот за этим приехал сюда — увидеть, услышать, что это выше всех зрелищ, музеев, театров и кинофильмов. Я думал так, однако слушал не только певчих дроздов и журчащую речку. Где-то рычал на срывке леса бульдозер. Я слушал, не едет ли Коля Савельев. Хорошо бы, поскорее приехал, пошли бы на ток. Глухаря бы домой привезти, стушить его в духовке, подать с брусникой, кого-нибудь угощать — хорошего человека...

Солнце, коснувшись холодной земли, остыло, побагровело, растеклось в зарю. Запахло морозом. Я возвратился в савельевский дом, опять угостился чаем.

— Да вы прилягте, поспите, — сказала Капитолина, — кто же его знает, когда он придет. Правда, если он что пообещает, то обязательно сделает. Но могли его и в Вяльнигу послать или еще что. Он у нас безотказный. Такой уж он Коля и есть — безответный. Вон там я вам постелю, на диване. Если хотите, приемник можете слушать...

Я лег и тотчас пошел, пошел по дороге. Грибы увиделись мне на хвойной подстилке — сморчки и строчки. Сморчки вкусно пахли белым грибом, то есть летом и ранней осенью, спелостью, кухней лесной. В полусне я услышал, что кто-то склонился ко мне. Открыв глаза, увидел Капитолину. Она укрыла меня одеялом и подоткнула края... Я зажмурился, будто и нет меня. Тихо ступая, Капитолина вышла из комнаты.

Я проснулся внезапно, как и заснул: в щели под дверью виднелся свет. Я вышел, Капитолина гладила на столе детское белье. Стенные часы, ходики с гирькой, показывали половину двенадцатого.

— Да вы спите, спите, — сказала Капитолина. — Запропастился наш Коля. Вот же, позвал человека, человек такую дорогу ломал... Спите, чего уж теперь.

Я послушался и снова лег. Заснул, теперь, быть может, надолго. Но тут меня разбудили. Коля стоял надо мной:

— Пойдемте. Половина второго. Тут рядом, за Кызней, есть небольшой точок. Как раз успеем.

Я стал собирать пожитки, плохо соображая, что где.

— Да вы не торопитесь, — говорил Коля, — время есть. Раньше трех часов на току нечего делать. Они в три запоют. Тут рядом...

Капитолина молча глядела на наши сборы. Глаза ее выражали не то чтобы осуждение, скорее печаль. На детской кровати в углу посапывал Володька.

— Завтра-то как поедешь? — тихо сказала Коле жена. — Ведь тебе же к шести подыматься.

Коля ничего не ответил. На темном его, закоптелом лице светлели глаза. Волосы сваялись. Видно было, что человек долгое время не снимал кепку.

— Я бы раньше приехал, — сказал Коля, — дирек-

тор меня послал из Сигожно в Вяльнигу за тросами съездить. Да там пока завсклада искали...

— Ты к каждой дырке затычка,— сказала Капитолина.— Другие восемь часов за те же деньги работают, а ты все двенадцать.

— Сверхурочные оформят, потом отгуляю,— сказал Коля Савельев, кротно улыбаясь.

— Делаю-то краю не будет. Отгуливать-то когда? Гуляка нашелся.— Капитолина укоряла своего мужика, но не было в ее укоризне надсадной неутолимой женской обиженности. Будто пеняла она не мужу, а мальчику, сыну.

Коля надел ватник и кепку, закинул за плечо одноствольную «ижевку». Мы вышли в кромешную тьму. Только звездочки чуть мерцали в немыслимой выси. Свет их не доходил до нас. Я еще не совсем проснулся. Меня пошатывало, я видел только Колину спину. Куда, сколько мы шли, не знаю. Коля остановился, я ткнулся в его спину.

— Вот здесь,— прошептал Коля.— Один-то точно поет. Может, еще есть. Вы идите вот так, в канаву упретесь, в осушитель. Там можно слушать.

Я пошел и уперся в канаву. Присел на корягу. Продрог. Забылся. Не верил, что может запеть глухарь вот тут, за околицей Кыжни.

Вскоре стали попискивать птицы, прохоркал вальдшнеп, протрубили журавли. И глухарь вдруг послышался или пригрезился мне — это щелканье клювом, шипенье, фырчанье — глухариная песня... Я запрыгал под песню, проваливаясь в снег и в воду; песня терялась, блуждала, перемещалась в сонме все более звучных лесных голосов. Я опять ее находил, сближался с нею...

Протяжный, долгий разнесся над лесом выстрел, и лес замолчал. Коля вышел ко мне, неся в руках глухаря. Глухарь волочился клювом и крыльями по земле. Кровь сочилась из клюва, кроваво рдела набухшая повесенному глухариная бровь.

— А я ждал, ждал,— сказал Коля,— когда ты к нему подойдешь. Нет, слышу, в другую сторону попер. Ну что ж, думаю, раз уж так вышло, надо взять глухаря. Ребята кыженские этот ток знают. Не убили бы, дак спугнули.— Коля Савельев вроде как извинился передо мной, но лицо его выражало теперь азарт, воз-



буждение, радость пережитой победной охоты. Ко мне он обращался на «ты».

Я оправдывался перед Колей:

— Там еще один пел, я совсем уже подошел к нему... Тут ты и выстрелил.

— Возможно, — сказал Коля, — я за осушителем не бывал.

Мы возвратились домой на заре, лужи все подморозило утренником. Завтракать Коля не стал, торопился, и умываться не стал. Глухарь лежал на столе, глаз его затянуло пленкой. Мы с Колей взглядывали на глухаря, потом друг на дружку.

— За делянкой в болоте должны токовать, — неуверенно, как-то раздумчиво сказал Коля. — Я в марте, по насту, на лыжах ходил, там все у них исчерчено. Время бы было, можно сходить... Сегодня мне опять, наверное, в Вяльнигу ехать... Вот на будущий год давай-те. Я вам напишу...

Мы опять посмотрели на глухаря. Коля надел кепку и ватник, но замешкался. Что-то ему не давало уйти. Глухарь лежал на столе. Мы стояли над ним. Капитолина тоже стояла. Минута молчания воцарилась над телом большой, краснобровой, лилово-черной с подпалинами, убиенной невинно птицы. Наконец Коля сделал движение шеей, будто стараясь высвободиться из тесного ворота, шагнул к порогу:

— Ну, ладно. Рабочие дожидаются...

— Коля! — промолвил я с мукой, с надеждой, с мольбой. — Дай мне этого глухаря. Возьми мой патронташ, в нем двадцать четыре патрона. У тебя тоже шестнадцатый калибр. Скажи, чего надо, я из города вышлю. Игрушек Володьке пришлю. Ты выберешь время, еще убьешь, я уж два года впустую езжу...

Коля сказал:

— Ничего не надо. Бери.

Капитолина сказала:

— Конечно, берите. Да он и так ваш. Вы такую проделали дорогу, не все ли равно, кто его подстрелил.

Коля ушел. Мне бы тоже лучше уйти, но той силы, которая двигала Колей, я не мог в себе отыскать. Капитолина укрыла меня одеялом и приласкала своей заботливой, материнской, женской рукой. Только и сказала мне:

— Спите.

Я улыбнулся ей и тут же уснул.

...Когда я прошел дорогу от Кыжни до Вяльниги, то позабыл, что глухарь у меня в мешке за спиной не мой, а Колин. Глухарь стал моим, как ружье, сапоги. С каждым километром глухарь тяжелел. Чем тяжелее он становился, тем больше я уставал, тем все более утверждался в праве владения этой добычей.

Из Кыжни в Вяльнигу я шел значительно дольше, чем из Вяльниги в Кыжню. Километрах уже, наверное, в трех от Вяльниги, против лесозавода, в потемках, силы оставили меня. Я сошел с дороги. У ограды лесозавода дыбились груды опилок. Я лег на опилки и тотчас забылся, помер. И, может быть, через мгновение воскрес. Поднялся. По дороге шел поздний прохожий. Увидев восставшего из земли человека, меня, он подхватился бежать без оглядки. Быть может, и до сих пор в тех краях бытует легенда о ночном упыре, блуждающем около лесозавода.

Здесь бы можно закончить рассказ. Но в нем есть продолжение, как бы вторая глава. Рассказ вначале пройден, отмерен шагами.

На будущий год, в апреле, пришло письмо от Коли Савельева: «...Приезжайте. За делянкой в болоте у глухарей начерчено, в марте я ходил, смотрел. Выезжать будете — сообщите письмом, когда. Чтобы я выбрал свободное время».

Снова: Вяльнига, Сигожно, Островенское, Кыжня. Капитолина напоила нас с Колей чаем. Машина Колина, «ЗИЛ-сто-полсотни-первый», стояла пед окном. Когда мы садились в машину, Капитолина вынесла бутылку островенского вермута:

— Вот возьмите. С прошлого года у нас стоит. Вы позабыли. В лесу с устатку выпьете.

Проехали мы километров, может, двенадцать. Коля то разгонялся, ходом проскакивал лужи, озера глиняной жижи, то цеплялся за грунт цепями. Нигде ни разу он не застрял, не забуксовал. Дорога шла лесом, уперлась в вырубку и прекратилась.

— Прошлый год тут рубили, — сказал Коля, — я как привезу рабочих — сбегая в лес. Ток нашел на болоте. Помету полно накидано, и весной глухари по насту чертили. Правда, нынче тут еще дорубали последние. Кто-нибудь мог разнюхать. Не знаю. Вроде бы не должно...

Мы спустились по вырубке на болото. Тут росли только ели, обвитые лишаями. Безжизненно, глухо стало кругом, потемнело. Ноги проваливались в глубокий, рыхлый снег, под ним настоялась вода. Местами вода проступала наружу, приходилось шупать, промеривать глубину. Мы искали хотя бы какой островок твердой почвы, бугор, чтобы стать на ночлег. Шли по колено в снегу и воде, пока совсем не стемнело. Тогда нарубили еловых лап, настелили на снег, умяли. Наготовили дров, запалили костер. Хорошо поработав, согрелись. Костер получился в меру, без спешки спорый, веселый. Мы вскипятили чаю и пили его пополам с островенским вермутом. И так вышло вкусно да сладко, что лучше и не бывает. Тепло, возникнув в гортани, проникало до пяток, до самых кончиков пальцев. И хмель овеял нам головы — легкий, душистый, как ветерок в июле над полем цветов.

Коля полулежал на лапнике, против меня, за костром. Глаза его заблестели от вермута с чаем. Коля — молчун, бездорожный ездок, плаватель по вечно тряским протокам-проселкам — вдруг заговорил певуче, раздумчиво, складно, как говорят одинокие жители леса в избушках-кордонах. Как в старину говорили — теперь уже этих избушек и нету нигде, лесовики все живут по поселкам.

— Вот я все еду, еду, — сказал Коля Савельев, — даже дома сижу за столом — все равно вроде еду. В семнадцать лет сел за руль, теперь уже мне тридцать четвертый, когда я не еду, то будто бы и сам не свой, не у дел, чего-то мне не хватает. Жена меня попрекает, что я поддаюсь, куда пошлют, я и еду. Начальство хвалит: никто не может, а Коля Савельев может. Будто особенный я какой. А мне ехать просто. Чем лучше работу делать, тем проще она...

Когда остановишься, тут уже сложно. Надо что-то еще уметь. Одни хозяйство заводят, курей, поросят, хворобу разную приобретают. К этому у меня душа не лежит. Другие водкой себя одуряют... Можно книжки читать. Я книжки любил читать. Помню, Романа Роллана читал, «Жан-Кристоф». Еще когда в десятом классе учился. Работал и учился. Только начинал еще ездить на машине. И ездить мне нравилось, и книжки читать. Еще не знал, что лучше...

— Теперь знаешь? — спросил я у Коли.

— Вот мы ехали с тобой, — сказал Коля, — заметил, я все норовил из колеи выбраться, на бровку? А все равно в колею затягивает, как ни крути. Чем лучше ты накатал свою колею, тем легче доехать до места... Конечно, на бровку хочется вылезти, свернуть куда-нибудь за кювет.

У меня как выпадает день свободный, — рассказывал Коля Савельев, — или хотя бы час — так я в лес. Это тоже как книгу читать: про себя забываешь, будто и нету тебя. Я мурашей люблю наблюдать, вот интересные звери. Один с другим встретится и давай лобызаться. Родня, стало быть, или дружки, кореша. Иные, как встретятся, подерутся — значит, вражда у них тоже, как у людей. И все-то они спешат, все заняты. Иной, глядишь, жука майского подцепил — жук его тяжелее в сто раз, а он все равно волочет...

Или вот глухари. Я их редко когда стреляю. Прошлый год так уж вышло, директор мне наказал: «Своди, говорит, на ток писателя»... Ну, я не знал, что за птица такая, писатель все же... Неловко, если с пустыми руками с тока придет... Я долго ждал, думал, сам песню услышишь. Потом гляжу, совсем в другую сторону ломишься... Интересная птица — глухарь. Я в марте лыжи с собой прихватчу, рабочих сведу на делянку... Утречком рано наст крепкий. Сбегаю посмотреть, как они крыльями чертят, танцуют. Снег чистый, все можно прочесть. Тоже целая книга... Или возьми — турухтаны. В мае, как в Кыжне спадает вода, они на косах играют, на песке. Это у них такие любовные игры, представления, почище любого балета... На Вондеге бобры поселились, плотину построили. Значит, что-то соображают. Не просто так... Я мог бы стать лесником, — сказал Коля Савельев, — мне нравится это дело. Но вот — стал шофером. Жена обижается: редко дома бываю. И правда, так-то посмотришь, дом как все равно полустанок, короткая остановка. Погреешься чутком, чайком побалуешься, перекусишь — и дальше. Дома всегда забота, какой-нибудь недостаток: то капусту солить, то валенок нет у Володьки, то болезнь, то Капитолина в Вяльнигу собралась, Володьку не с кем оставить. И слезы тут тебе и обиды. И ты всегда виноватый выходишь: глава семьи. Я дома как-то теряюсь, хозяин я, видать, никудышный. Я лучше лишнюю езду сделаю — устану, и ладно, можно поспать...

Мне, знаешь, последнее время стал сниться остров. На нем эстонцы живут. Тоже у них колхозы, как у нас, а деревень — раз, два и обчелся. В наших деревнях каждый избу ставит впритык к соседу да чтобы поближе к дороге, окошки вылупит на улицу, все ему надо видеть, пыли досыта наглотаться. И чтобы его все видели. У эстонцев совсем по-другому. Они свои мызы построили так, чтоб никто их не видел. По хуторам прятались, с дороги их вообще не разглядишь. Вокруг хуторов липы высадили, клены, дубы. А сирень у них в июне цветет — дак это целое море цветов. Как у нас льняное поле в цвету, так у них, если сверху посмотреть, с пограничной вышки, все сиренью застлано... Я на погранзаставе служил на острове. Тоже шофером, на машине ездил, «ГАЗ-51». Ну, и так приходилось всякую службу нести, наравне со всеми: и в дозоры ходил, на вышках дежурил. Рыба у нас на заставе всегда своя, сами ловили: салаки там полно было, и окунь крупный, а осенью — угорь... И вот однажды, в июле, послали меня с машиной помочь колхозу эстонскому, на сенокос. В командировку, значит, на целый месяц. На другой конец острова, в дальний район. Ну, дальность у них там не то, что наша: весь остров проедешь за полдня, хоть вдоль, хоть поперек. Начальник заставы на карте мне показал, как ехать. Дороги у них там везде дай боже, не нашим чета. Я бочку горючего погрузил и поехал. Кое-как отыскал пункт моего назначения. В правление колхоза пришел, представился: мол, прибыл. Они по-своему там балакают, по-эстонски, разглядывают меня, зубы скалят. Один, председатель, что ли, по-русски мало-мало знает, а так больше никто. Он говорит мне: поехали. Дорогу показывает. Ну я, что же, еду. Привез он меня на какую-то мызу. Хозяйка вышла, старуха, и молодая девка, рослая такая, крепкая — эстонки вообще все здоровые — показала и скрылась. Председатель поговорил со старухой и мне объясняет, что здесь я буду жить. На постой меня, значит, определили. Сирень как раз уже отцветала, простая сирень опала, а на персидской еще были цветы... Ладно, думаю. Место понравилось мне, но вида я не подаю. Наше дело — солдатское. Отвез я председателя в правление, он мне говорит: «Отдыхай. Надо будет — мы позовем». Ладно. Что же? Приехал я к старухе. Машину поставил. Старуха по-русски ни в зуб

ногой. И дочка ее тоже ни слова не знает. Чего-то лопочут и улыбаются. Показали мне, где помыться, под липой у них умывальник повешен. Старуха полотенце вынесла. Помылся, меня приглашают в избу. К столу сажают. Ставят миску с картошкой — картошка у них чистая, крупная, белая. Яичницу подают, на сале жаренная, шипит. Салаку копченую, лук со сметаной. И ставят кружку металлическую, литра так на полтора. В ней пиво темное, густое. Я объясняю, что пусть и хозяйки тоже выпьют со мной. Они присели, и старая и молодая. Тоже пива себе налили, кружки поменьше у них. От пива тепло мне сделалось, весело. Я выпил, откусал, спасибо, говорю. Молодайка меня зовет: пойдём. На двор меня вывела. Голова у меня вроде ясная, а ноги плохо идут, тяжелые. Она смеется, зубы так и сверкают. Показывает мне — вон туда иди. Наверх мне надо идти по лесенке, на сеновал забираться. Я полез, а молодайка зубы все скалит. Ну, думаю, попал солдат к богу в рай. Вида не подаю... Сено свежее, на сене кошма войлочная постелена, простыня, подушка пуховая в розовой наволочке, одеяло с пододеяльником. В общем, стал я там жить...

Утром чуть свет вскочил, машину приготовил, заправил, старуха уже на ногах, завтракать меня приглашает. Я отказался. Все же неловко как-то: вначале поработать надо, потом угощаться. Поехал в правление. Там они опять побалакали. Председатель мне говорит: «Отдыхай пока, солдат, позовем, когда надо». Я к старухе поехал. Куда деваться? Завтраком накормили меня от пуза: рыба, лепешки, кофе со сливками. Молодайка убежала, должно быть, на работу. Старуха литовку взяла, пошла на покос. Я косу отбил. Лужайку выкосил, сено сушил до обеда. Пообедали мы, делать нечего, я на сеновал забрался. Валялся до вечера. Так никто за мной и не пришел. Утром я опять в правление еду. Там мужики смеются, мне говорят: «Живи, солдат, отдыхай, женись; эстонки — хорошие жены, хозяйки хорошие». Ну мне неловко на дармовщину жить. Я говорю: работу давайте. Поставили меня сено возить, молоко, рыбу — у них рыбацкая бригада была... Старухе по хозяйству я кое-что помогал — и жил. Объясняться мы научились. С молодайкой общий язык нашли. Дояркой она в колхозе работала. Эрна ее звали. Вот так и жил целый месяц, как у Христа за пазухой.

Ни раньше такого не было, ни потом. Все ехал я, ехал, и вдруг — остановка. И дом и стол тебе приготовлен. И пива полная чаша. Десять лет прошло, и вот вдруг приснится... Все ясно вижу, кажется, наяву: синее море, сиреневые кусты, и тихо-тихо, нигде ни души, только пчелы жужжат. Как меня провожали, старуха с Эрной заплакали. Эрна села со мной в машину. Мы отдельно с ней попрощались...

Пока рассказывал Коля, ночь на убыль пошла. Костер наш сторел. Неохота нам было покидать наш бивак, но надо. Подтянули голенища сапог и захлюпали по снеговой хляби. Настолько мертвое было место, что даже и птиц не слышать. Только где-то ухнул филин, журавли протрубили зорю. Хотелось уйти отсюда, стать ногой на земную твердь. Но я все слушал, все ждал. Не дождался. Вышел на вырубку, там встретил Колю.

— Пусто, — сказал я ему. — Не поют.

— Должно быть, разнюхали, распугали. Ток здесь был верный. Я в марте ходил, проверял.

В дороге Коля молчал. Когда мы с ним расставались, сказал:

— За Кыжней, в корбе, есть ток. Туда не пройдешь, пока снег. Только числу к десятому мая. На будущий год захотите, приезжайте. Можем сходить. Ток там богатый...

На будущий год весеннюю охоту запретили. И ладно. Пускай глухари попоют.

## ВЕНЬКА АВДЮШКИН



Он вчера пришел ко мне, мужчина в синем пальто с поясом и меховым воротником, я говорил ему: Веня. А думал про него, как прежде: Венька. Возраст его почти такой же, как мой. Мы не виделись с Венькой двенадцать лет.

— Садитесь с нами пить чай,— сказала моя жена.

— Спасибо, я пил уж,— сказал Венька. Однако сед и принялся пить, не положив в чашку сахару и варенья.

Я подсластил Веньке чай, он остановил мою руку:

— Достаточно. Я позавтракал, пошел дак...

Лоб у Веньки нахмурен, а глаза малоохольные, будто парень вчера женился. Волосы у Веньки начинают густо расти мысочком над переносьем. Венька не смог их как следует причесать.

Ростом он хотя и не выше других мужчин, но ничуть и не меньше. Когда Венька идет по проспекту, все люди видят в нем зрелого человека.

Я смотрю на Венькино лицо, оно, в самом деле, не молодо, грубо, кожа помялась от возраста и увяла. Мы с Венькой одно поколение. Но я еще вижу Веньку-парнишку, и все годы нашего с ним знакомства теряют свою протяженность. Венька малость косноязычит, будто в детстве горячую картошину прикусил, обжег губы и десны, да так и не остудил. Губы у него чуть вывороченные. Скулы и подбородок окостенели, обозначились на лице — мужское лицо.

— Справочное бюро мне ваш адрес дало,— сказал Венька.— День рождения у меня. Тридцать лет испол-



нилось дак... Обязательно приезжайте. Я на станции Пелла живу. Как с поезда сойдете, так прямо и прямо, на правой руке третья улица будет, и тут аккурат наш дом на углу. Не наш он, снимаем пока... Как выстроят дом-от, в Ивановском пароходство строит на пятой линии, дак мне уж дадут квартиру. Я в списке четвертый стою. Кому давать, если так посмотреть, правда же? Я у них уже скоро семь лет как работаю... Летом на катере по Неве мотористом, и за капитана тоже могу. Через Ивановски пороги сильно опасно, когда идешь... Если че, уже знаешь, так и правишь на буй... Теперь ишшо в одно училище поступил. На моториста учился, теперь на морского механика выучусь, правда же? Не помешает... Только что в том училище, где на моториста, там немецкий учил, а тут английский. Буквы каки написаны по-английски, я могу прочитать, а слова у них все по-другому как-то выходят. Ничо не поймешь...

Венька говорил и немножко даже захлебывался этим рассказом о своей жизни — так нравилась ему жизнь.

Венькин говорок не изменился за двенадцать лет. Венькино образование не приучило его к правильным книжным словам и оборотам.

О своей городской взрослой жизни Венька говорил языком своего детства, своей деревни, сосновой, ольховой, болотной, близко прилегшей к набитой дровами сплавной реке.

— ...Навигация кончилась — я кочегаром могу на заводе. А лед сойдет — я опять на катере. Начальник смены, он знает, если че надо, я сделаю; я у него попрошу, он всегда меня подменяет. От перестановки слагаемых, говорит, сумма не изменяется. Вместо меня поставит кого-нибудь в день, а надо — я за него в ночь отработаю. Я утром в школу могу пойти, десятилетку кончить мне год остался. А вечером в училище. В школе там медленно все объясняют: первый закон Ньютона, второй закон Ньютона, трение — я все запишу, а в училище гонят программу. Я сижу на уроке — мне хорошо! Все уже утром слышал, дак... Ишшо раз послушаю, правда же? Тройка одна у меня по английскому, а так все четверки.

— ...У меня жена Кира на музыке играет, — рассказывал Венька, — училище кончила, в детском саду и в школе пение преподает. Сто десять рублей получают,

и я сто сорок — сто пятьдесят. Мне тешша говорит, чтобы мы с ними жили, у них свой дом в третьем Парголове, а я говорю: не пойду. Или так, или так, говорю. Я жить самостоятельно буду. Пока что квартиру снимаем, а дом пароходство строит, уже под крышу подведенный стоит. Кира в детсадишке музыке учит, а мне теперь хорошо, электричку до Мги пустили — хоть на завод, хоть в пароходство, куда надо, мигом свезет.

— Ну вот, получишь свою квартиру, — сказал я, — денег у вас хватает, купите гарнитур.

Венька засветился еще сильнее и как-то весь задвигался от застенчивого восторга. Его взволновало такое зазывное слово: гарнитур. Он сказал:

— Да кой-че и сейчас уже есть, куплено...

Он вынул из сетки-авоськи картонку, а из картонки — белый приемничек «Атмосфера». Покрутил колесико, и приемник громко запел полную оптимизма песню: «Здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня...»

Венька, я и моя жена послушали песню до конца, и Венька убрал приемник.

— Обязательно приезжайте, — сказал, — третья улица на правой руке — наша. У нас свои только будут. Да вот ишо вы. Без вас и за стол не сядем...

Мы повстречались первый раз с Венькой Авдюшкиным в Оятском Устье. Я сидел на крылечке лучшей в деревне избы — начальника рыбацкой артели Крякви-на, заряжал патроны. Составил все гильзы в рядок. Зачерпывал кружечкой-меркой порох из банки, сыпал, вапыживал и набирал в ту же кружечку дробь из мешка. Двинул неловко рукой, повалил все гильзы.

Венька как раз и вошел в калитку. Взмахнул руками, кинулся собирать живые дробинки. Так воробей слетает на брошенную голубям пшенку. Парень покряхтывал и приговаривал:

— Эва-то, эва-то, сколь их, в шшель закатились...

Он ползал по крылечку и по земле, выискивал дробины и урчал и после принес их мне — полную пястку. Он взглянул на меня, глаза его были мутно-голубоваты. Он сказал:

— Ты охотник, дак?

— Я охотник.

— Поехали на лодке в Кандошско озеро. Мне Кряквин велел с тобой быть или так если че надо... С охотником, говорил, пойдете. Я рабочим у них, на катере или так, че говорят, делаю...

Парнишка был крохотный мужичок — не по годам, а по недостатку какого-то вещества роста, как сосенка на болоте, — мужичок с ноготок. Сапоги его — детский размер — сшиты, должно быть, домашним, семейным сапожником, из яловой кожи, и заскорузли. Личико собрано в кулачок, землисто, одутловато. Только от-роческие глаза его, как промоины на недужном весен-нем льду, голубели.

Он еще поглядел на меня непристальным и размы-тым взглядом и гыкнул. Смешно ему показалось.

— Охотник... Всю дробь посеял... Чем стрелять-то бы стал? Гы!

...Мы сели с вожатым Венькой в ловкую лодку Кряквина, и Оять понесла нас мимо своих запоней и сос-новых гонок. Вода чернела, бурлила, вспоротая дере-вянной помехой, оранжево просвечивало дно. По низ-ким берегам чуть возвышались избы. Жидко-зеленые, зольно-серые, с песчаными косами берега прилегали к воде. Вода была тут главной стихией.

Нас вынесло в Свирь, вровень с небом из горизонта выплыл белый корабль.

Я греб, а Венька макал в воду кормовое весло. Оно было велико для Веньки и тяжело, но Венька старал-ся. Он спросил у меня:

— Ты рабочим али начальником работаешь?

Я учился в институте тогда, но не сказал Веньке: нельзя мне было разрушить его уверенность в том, что человечество все двухмерно, что только и есть в нем рабочие и начальники. Из книг, газет и кинофильмов я знал, что рабочие — соль земли, молодцы и герои. Назваться рабочим мне было неловко. Я сказал Веньке, что работаю начальником.

...Когда протянули над нами первые утки, Венька сунулся с кормового сиденья на днище, будто не утки это, а эскадрилья вражеских самолетов. Он зашипел на меня:

— Эва-то, эва-то утица... Ложись!

Я перестал грести, притаился над веслами... Утки улетели, и Венька смотрел на них, пока они не про-пали.

— Я тебе после дам ружье, постреляешь,— пообещался я Веньке, видя его волнение.

— Не-е-е,— ответил Венька,— отдача бывает дак... Прикладом как двинет. Из лодки выпасть можно. Я плавать не знаю как. Пробовал раз, потом вода в ушах булькат.

По Кандошскому озерку нам было трудно пробиться на лодке: там кочки, болото да камыш — речная старица. Венька шестом пихался, а я стрелял. Сполохнутые с ближних кочек утки летели, истошно крича...

Тогда начинался сентябрь, и последки тепла, не потраченного за лето, отпущены были разом. Теплом наполнился воздух от солнца до самой воды, и воду тоже пригрело. Я скинул кепку и куртку, расстегнул воротник. Стрелял, заряжал...

— Эва-то, эва-то! — придушенно вскрикивал Венька.— Эва-то утица кричат. А там ишшо сколь... Туда поедем, там хоть че-нибудь, мот, возьмем...

Мне все больше хотелось убить хотя бы какую утку, я торопился и мазал. Кряквы, словно поняв мою неспособность нанести им урон, подымались из камышей совсем уже близко. И одна — упала-таки! Венька свесился над водою, кряхтел, указывал носом, грудью, всем тщедушным своим существом:

— Эва куды она свалилась. Большушшая. Я видал...

Переступить лодочный борт Венька боялся, он взглядывал на меня и понуждал действовать, добросовестно исполнять работу. Я полез в камыши, все облазил, намок и озлился, но утку-подранка сыскать не сумел. Возвратившись, взял шест и молча стал выпихивать лодку на полую воду.

Свирь сразу же подхватила, и было счастьем отдаться ее заботливой силе. Вода бежала около самых бортов упруго, черно. Я скинул одежду и повалился из лодки в реку. Река омыла меня настоем сена, брусники и вереска и напугала немножко болотной знобью. Так сделалось мне свежо и молодо, я уплывал от брошенной лодки и Веньки, потом саженками догонял. Венька за весла не брался, его кепка виднелась чуть выше бортов. Он молча смотрел на меня. Я смеялся и зыбал лодку. Он вцеплялся руками в корму, не зная, бояться ему или вместе со мной веселиться. Я забрался в лодку...

Венька смотрел, и рот его с выпяченными губами был как утиный клюв. Было дико, необычайно ему видеть голого мужика на реке в рабочее время. Смешно. Он гыкнул:

— Купальщик...

Слово далеко прошуршало по воде.

Я сел за весла, погнал лодку по вечереющей реке и чувствовал свои руки, живот, и спину, и сердце — они наслаждались работой. Мне казалось, что я никогда не устану, чем пуще налягу на весла, тем сильнее, здоровей буду.

Венька ничком свернулся на доньшке лодки, прижал коленки к груди. Он спал — уморился, бедняга.

Я положил весла и услышал воркотанье воды под лодкой. Тепло ипряно дышал мне в лицо уставленный стогами берег. Напряженно-округлые облака-паруса чуть плыли на небе. Начиналась заря, Свирь вся оделась в тихое сияние. Далеко, на границе воды и неба, прорезался частокол — чернолесье.

Лодку несло течение. Я смотрел на спящего Веньку, оглядывал горизонт, трогал пальцами близко бегущую воду... Все ближе был мне этот сентябрьский вечер на Свири. Его покой становился моим покоем. Будто все решено, только жить мне да чуть пошевеливать веслами...

Я вспомнил, что не спущены курки в ружье, и потянулся достать. Нащупал правый курок и крепко притиснул его большим пальцем, чтобы он не сработал, а средним пальцем стал нажимать спусковую скобу. Все это я исполнял на моих охотах, все было заучено, безотчетно и безопасно. Дробь шматком ударила в борт и пробила щербатую дырку рядом с Венькиной головой... Я придерживал правый курок, а нажал спусковую скобу левого ствола...

После выстрела остро пахнуло сгоревшим порохом, но чуждый этот запах скоро разошелся, и снова сияла вода, розовела заря и топорщился на краю земли частокол зачерневшего леса. Венька спал у меня в ногах. Вода урчала.

Неласковый ко мне мир будто весь воспалился после выстрела. Он мне угрожал...

Щербатилась дырка в борту около Венькиной головы. Венька намаялся за день. Он спал. Ничего не услышал.

Я ему не сказал тогда. И до сих пор он не знает. Он отыскал меня через двенадцать лет, чтобы пригласить к себе на день рождения. Ему исполнилось тридцать. Он говорил счастливым голосом, топыря губы:

— Без вас и за стол садиться не будем...

...После нашей первой охоты мы ночевали с Венькой в рыбацкой избе на берегу Свири. Утром задуло с Ладоги и разогнало теплынь и растрепало воду. Солнце по-летнему пригревало, как накануне, но ветер брякал стекляшкой в оконце избы, и звук этот был осенний. Чайки выгибали под ветром крылья и тонко вопили, чуя большое ненастье и радуясь, должно быть, ему.

Я сказал Веньке, что нужно торопиться плыть, а то я опоздаю на ленинградский поезд.

— Парус поставим, дак... мигом доташишит,— ответил мне Венька.

Парусина комом лежала в лодке. Кряквин ее уложил и сказал: «Ветер будет, под парусом можете плыть». Меня пугала громоздкая сложность паруса, я не верил, что можно поставить его и он повезет... Мне были понятнее весла.

...Но Венька уже расстелил парусину на берегу. Он приволок жердь и еще разыскал где-то рейку. Он ползал на четвереньках, урчал, привязывал парусину к деревяшкам. Я стал помогать Веньке.

Мы подняли жердь и воткнули ее в паз посередине лодочной банки. Получилась хорошая мачта. Рейку мы привязали к парусу наискось, чтобы он был раскрытым для ветра на всю ширину. Венька звал эту рейку райной.

— ...Ты держи парус эва-то за веревку,— сказал мне Венька,— ты здоровуший, удержишь, а мне никак. Я в носу буду, если че, мне крикнешь...

Я оттолкнулся шестом от берега и тотчас взялся за парус, и лодка пошла. Я направил ее кормовым веслом на середину Свири. Подтягивал за веревку парус, поворачивал его к ветру. Ветер давался моим рукам, все шибче бежала лодка. Она подымала нос и легко забиралась на волны и переваливала через них. Корма отвесно соскальзывала с водных бугров. Я видел бронзовеющую на солнце воду вровень с бортами, но это было не страшно мне. Волны все отставали от лодки.

Мое лицо было мокро от брызг, я правил, лодка слушалась самого малого поворота весла. Я гарцевал,

мчался в прекрасном и яростном мире. Я думал, что надо всегда, всегда мне себя подставлять под ветер, под бурю, и шептал стихи Блока: «И вечный бой! Покой нам только снится... сквозь кровь и пыль... летит, летит степная кобылица и мнет ковыль...»

Веньки не было вовсе видно за парусом. Я забыл про него.

Направил лодку в Оятское Устье, и ветер задул в правый борт. Я отпустил немного веревку, и парус послушно повернулся к ветру, ничуть не увял. Я теперь свободно владел снастями, поигрывал парусом и веслом.

...Напротив своей избы на причальных мостках меня дожидался Кряквин. Завидел парус издалека. Вместе с ним к Ояти пришла и его молодая жена. Я проплыл мимо них. Потом уже стал заворачивать к берегу. Лодка охотно и чутко исполняла мою волю. Венька не подавал голоса, может быть, спал. Я еще ослабил веревку, чтобы парус помог моему повороту. И он помогал. Но вдруг парус рванулся и выхватил веревку из рук. Его захлестнуло на сторону. Райна ударила Веньку, и он закричал. Закричали в два голоса начальник рыбацкой артели Кряквин и его молодая жена.

Венька меня провожал на поезд, спросил:

— Ты узнай в Ленинграде, там есть ремесленное училище или че? На рабочего чтобы учиться. Четыре класса у меня кончены, сегодняшней год в пятый пойду, если че дак... В заводе мне нравится, чтобы работать... Ты узнай, у вас там должно такое училище быть. Ты мне напиши, я марку тебе обратно в конверте вышлю.

В Ленинграде я стал прочитывать на стенках все объявления о приеме в училища и на курсы. Объявлений таких было развешано полным-полно. Я написал Веньке, и он мне прислал письмо, сообщил, что придет сразу, как соберутся деньги на поездку, а деньги будут, когда заколют борова и продадут мясо.

Венька приехал вечером, за спиной у него был повешен на матерчатых лямках новенький, видно спитый в дорогу, из холстины мешок. Войдя, Венька снял

и уложил свой багаж на пол. Тут же он поместил кацавейку и шапку.

Мы усадили Веньку пить чай за нашим семейным столом, моя бабушка потчевала его вареньем, но он говорил: не надо. Попив немного, собрался куда-то идти. Удержать его было нельзя. Он сказал:

— Сходить нужно в одно место. Тут недалеко...

Вернулся Венька с бумажным кульком в руке. Кулек торжественно принес к столу:

— С вашим сахаром попили, теперь с моим по-пьем...

После чая Венька снова стал снаряжаться куда-то идти.

— Нужно дядьку проведать,— сказал,— мне мама велела гостинцы свезти...

— Адрес-то есть у тебя?

— Людей спросить, дак покажут,— сказал Венька.— Не доезжая Ленинграда он живет. Корову держит. Найду-у.

Я сказал Веньке, что он не найдет своего дядьку, как бы громко ни мычала дядькина корова.

— Че ли уж люди не покажут,— сказал Венька,— знать же должны, которые живут постоянно...

— Ну иди, иди,— махнул я рукой,— дуй, ищи! Только мой адрес не потеряй. А то ведь заблудишься, как котенок, в Ленинграде один пропадешь.

— Не-е,— сказал Венька,— сегодня ходил, дак все запомнил. Которы улицы так идут, а которы так... Просто найти.

Он вернулся поздно. На приготовленную ему постель не лег. Разложил на полу кацавейку, а в голову взял свой мешок, в нем, должно быть, хранился гостинец для дядьки...

Утром мы с Венькой пошли по записанным мною адресам ремесленных училищ, производственных курсов и школ. Из тихого переуллка, в котором я жил, мы попали на средней ширины улицу, а потом на проспект. По проспекту шел трамвай.

— Вот на трамвае,— сказал я Веньке,— мы с тобой и поедем.

Венька стремглав оторвался от моего локтя и побежал за уходящим трамваем. Он догнал его и толкнулся в задраенный красный борт... Веньку отбросило от трамвая... Тут я его догнал и схватил. Мне было



слышно, как трубят у меня за спиной троллейбусы и машины, как негодует и ненавидит нас с Венькой проспект. Мне было дурно от страха за Веньку, за неумелую его жизнь. Опять побывала рядышком с Венькой, в нескольких сантиметрах от бедовой его головушки, смерть. Опять я был виноватый... Я сгрел Веньку и потащил на панель. Он был ростом чуть повыше моего кармана.

— Куда ты поперся? Тебя ведь чудом не задавило... — сказал я Веньке тихим голосом. Громко кричать на него я не мог, до того утомился от страха.

Глаза у Веньки были такого цвета, будто их только помыли. Еще капли дрожали в глазах. Он посмотрел на меня и проорчал:

— Сам велел, дак... Эва на трамвае поедем, говорил... я и побег, а то бы уехал трамвай-от...

Я дал Веньке рукав моего пальто и сказал, чтобы он держался. И сам ухватил его за рукав кацавейки. Мы прошли по проспекту пешком, потом по мосту через Неву. Веньке было тогда восемнадцать лет. Мне было двадцать.

В училище, адрес которого был записан у меня первым, уже закрыли прием. В другое училище принимали только лиц до шестнадцати лет. Когда мы пришли на завод, где учили на металлостов от пятнадцати лет до тридцати, нам сказали, что Венька не подойдет по росту. «Он не сможет работать ни на токарном, ни на фрезерном, ни на каком станке, — сказали нам на заводе. — Он меньше ростом любого станка».

Весь день мы ходили с Венькой по Ленинграду, держа друг дружку за рукава. Нам отказали во всех училищах, в школах и на заводах. «Постарайся еще подрасти сантиметров хотя бы на десять, тогда приезжай, мы тебя с удовольствием примем — учись, Ленинграду нужны металлисты». Так нам сказали в управлении трудовых резервов.

Вечером моя семья потчевала Веньку ужином. Он не ел, говорил: спасибо. На завтра я купил ему билет до станции Оять и провожал на поезд. Было грустно смотреть, как он идет в толпе, крохотный мужичонка с холщовым мешком за спиной. Низенькая деревня в снегу и долгая, долгая стужа ждали Веньку в Оятском Устье... Я думал, что Веньке уже никогда не сумеет подрасти... Помочь ему было нельзя и нечем утешить...

— Ну, ты не падай духом,— сказал я Веньке.— Люди растут до двадцати пяти лет. И ты подрастешь. На завод поступишь.

Венька мне не ответил. Когда мы прощались, сказал:

— Если че, в леспромхозе буду... сучки обрубать или другую работу, кому-то надо ведь, правда же?..

— Правда.

Двенадцать лет мне некогда было съездить в Оятское Устье. Про Веньку я за эти годы ничего не слышал. Но мне все время помнился его хрипловатый голос и несуразные слова, и парус, который он поднял на лодке, и выстрел вечером на Свири.... Как будто время прошло, как белая ночь сквозь город, прозрачно, без копоты, шума и толчеи, а город остался, как был...

Венька явился ко мне через двенадцать лет — бравый малый, плечистый мужчина, я его сразу узнал. Прибавка в Венькином росте не изменила наших с ним отношений. Только Венька за эти годы стал очень счастливым. Он говорил, говорил, а я его слушал...

— Как в армию взяли,— рассказывал Венька,— в Дрезден сначала свезли, а после в Ростове-на-Дону ишо наша часть стояла... Потом в Тбилиси. Везде побывал. Че только не насмотрелся.

— Это все хорошо,— говорил я Веньке,— но главное — вырасти тебе армия помогла, какой вымахал здоровоило...

— На двенадцать сантиметров подрос,— хвастался Венька.— Сначала забраковали, как я в военкомат-то пришел по повестке, а там один майор был, гыт, армия за уши вытянет, пусть послужит...— Венька смеялся от счастья и даже всхлипывал, будто кто его щекотал.

Я поехал с женой на день рождения к Веньке. Добрались мы поздно, и гости все говорили, что нам надо выпить штрафную с дорожки. Нам налили водку в большие стопки, а Венька себе наливал в граненую рюмочку только портвейн. Курить он совсем никогда не курил. Жена его Кира — молчаливая, с крупным лицом и в очках.

Когда мы выпили наши штрафные чарки и закусили шпротами и салатом, Венька завел радиолу

«Арфа», и мы послушали все пластинки. Потом именинник принес показать мне свои дипломы. Из них явствовало, что Авдюшкин является кочегаром четвертого класса, мотористом и может ходить по Неве капитаном-дублером.

Венька был одет в рубашку с крахмальным воротником, на черном галстуке — блестящий зажим...

Он нас провожал на последний поезд. Не отпуская, говорил, что гулянье будет и завтра, завтра же воскресенье. Ночевать можно на кровати или на диване. Он держал меня за рукав. Это было похоже на давнее наше шествие по ленинградским проспектам. Только Венькина хватка была достойна теперь кочегара четвертого класса, моториста и капитана-дублера. Я изловчился и побежал от Веньки к вокзалу. Мне было тридцать два года, а Веньке тридцать. Он погнался за мной, пыхтел и гыкал. Наши жены отстали, но слышно было, что они бегут взапуски.

Венька настиг меня на платформе, и мы поборолись немножко. Послышался поезд, и Венька меня отпустил неохотно.

— Не удержишь, решил дак... Здоровый мужик.

Я радостно, с облегчением впрыгнул в отверстую для меня дверь вагона, электричка тонко, по-жеребьячьи заржала и понесла...

Прошло сколько-то лет, сколько-то весен, сколько-то осеней. Весны обещали что-то и огорчали своим кратким сроком, не успевали исполнить обещанного. Осени утешали, радовали золотом, багрецом, высотой и синевой небес. И все бесплатно, без очереди, без обязательной отдачи, возврата. Всюду лежат на земле ворохами радужные червонцы — кленовые листья. Осени возвышают душу щедрой своей, безоглядной, разгульной красой. И остужают надежды и упования холодной росой, утренним инеем.

Как-то осенью мне позвонил Венька Авдюшкин, я сразу узнал его голос. В Венькином голосе звучала одна сплошная радость, предвидение счастливых событий, которые происходят уже и будут происходить по неурядице расписанию.

— Здравствуйте, — сказал Венька, — а я вам звонил, вас нету дома. Наверно, в командировку ездили?

Я теперь капитаном плаваю, дак можно с нами сходить в грибной рейс. Мы по Неве идем и потом по Ладожскому каналу еще шестьдесят четыре километра. Всего сто тридцать шесть километров туда и сто тридцать шесть обратно. Грибов много. Наберете. Все по целой корзинке набирают. И так интересно по Неве проплыть, там Петрокрепость посмотрите, холм Славы, Орешек... Вправо канал пойдет, а влево выход в Ладожское озеро. Много чего можно увидеть, правда же? Интересно. Вы приходите к половине седьмого. Мы в семь пойдем, в девятнадцать ноль-ноль, а вы приходите к половине седьмого, чтобы я вас заранее увидал. Судно наше «Л-67». Мы уж три раза ходили в грибные рейсы — хорошо! Пойдемте!

— Так ты теперь капитаном? — спросил я Веньку, еще не решившись пускаться с ним в грибной рейс. Это в двадцать лет было легко решиться, а теперь уже сорок...

— Ага, — сказал Венька. — Так-то мы в ЦПКиО ходим, к набережной Декабристов, в Невский лесопарк... А сейчас за грибами... Народу бывает много. Весело! — Венькин голос был проникнут воодушевлением, любовным сговором с жизнью — той, что достигнута им, и будущей — лучшей. Только от времени голос осип, приглож, потускнел. Я взвешивал: «Если смогу, то обязательно, Веня... Я с удовольствием, если только смогу...» Венька уговаривал меня, торопился сообщить о своих успехах и достижениях.

— Я в Ивановском живу. Дом построили — видать, когда по Неве идешь. Третий дом от Невы. Двухкомнатная у меня квартира. Хорошо, правда же? Надо будет вам собраться ко мне в Ивановское съездить. У нас там хорошо, и электричка рядом, и Нева под боком... Вот завтра сходите в грибной рейс, а после договоримся ко мне в Ивановское...

— Спасибо, Веня, если только смогу...

Назавтра я встал с постели, предчувствуя радость. День шел, как все дни, обычным порядком, я забывал о Веньке и о грибном рейсе, но предвкушение радости не оставляло меня. Мне предстояла иная радость, чем та, какими тешит себя городской человек в обыденной жизни, — особая, чистая радость: речная, лесная, грибная. Она исходила от человека, с которым меня не связывало ничто, кроме братства. Я протянул ему руку

однажды, в давние годы, провел его по улицам города, он еще не умел, не научился по ним ходить. Теперь он протягивал мне руку, чтобы вывести меня из города, чтобы я погулял, повидал такого, чего одному мне не увидеть.

Я быстро собрал котомку, надел давно не надеванные сапоги и к половине седьмого прибыл на пристань. К ней только причалил речной трамвай. Навстречу мне по широкой деревянной лестнице поднимались люди с букетами желтых, багряных листьев, с корзинами грибов, с веселыми, хорошо нагулявшимися собаками, с просветленными лицами, с поглубевшими глазами.

Из диспетчерской вышел Венька Авдюшкин, в черном форменном пиджаке, с нашивками на рукавах. Назвать нашивки золотыми было бы преувеличением, но все равно нашивки выделяли Веньку в толпе, обозначали его причастность к вождению пароходов или хотя бы речных трамваев серии «Л».

— Здравствуй, Веня, сколько лет не виделись, сколько зим...

— Я вам звонил, вас не застанешь, все, верно, в командировках. Пойдемте, я вас провожу на судно...

Лицо у Веньки тоже померкло, как его голос. Волосы его торчали мысочком над лбом, лоб прорезали нерасходящиеся продольные морщины.

Венька привел меня в салон речного трамвая «Л-67». Там сидел диспетчер грибного рейса, с красной повязкой на рукаве. Он пожаловался, что поздно уже, слой грибов отошел. И рейсов много, в субботу был рейс, в воскресенье и вот теперь в понедельник — и все в одно место...

В салоне речного трамвая мало-помалу собирались грибники. Плохо они собирались. Всего-то пришло их четыре женатые пары и девочка Лена. Диспетчер грибного рейса сказал, что продано девяносто путевок, но, видимо, люди не верят в грибы. Разуверились. Поздно.

Капитан речного трамвая «Л-67» Венька Авдюшкин сознавал за собой вину в неуспехе этого рейса. Он старался, как мог, обнадежить меня и диспетчера, оправдаться перед нами, вселить в нас бодрость:

— Так-то люди бывают. Весело. Песни поют... Пойдем все равно. План у нас на пассажиро-километры дается. Километров все же туда сто тридцать шесть,

правда же? И обратно. Для плана это все равно хорошо. Пойдемте!

Речной трамвай пошел. Нева, чем дальше от пристани, становилась чернее. Берега обозначились россыпями огней. Под ногами толкся дизель...

Венька провел свое судно под Охтинским мостом, отдал штурвал дублеру и спустился ко мне в салон.

— Пошли, поглядите, как тут у нас... Вот здесь машинное отделение. — Венька сошел в машинное отделение, зажег там свет.

Я увидел трясущийся, маслянистый, хлюпающий клапанами дизель. Венька вылез из моторного отделения, повел меня в рубку. У руля стоял малый в берете, рядом с ним сидел на высоком, как в баре, стуле длинноволосый лохматый парень в полушубке. Сырая, багровая от городского зарева сутемь реки осязаемо, густо входила в открытое лобовое окно, отзывалась знобью в костях. Близко, явственно пахло нечистой, замешанной на мазуте, стоках большого города водой.

Венька вдруг врубил фару-прожектор. В луче обозначилась белая лодка с поднятым подвесным мотором. В лодке лежал человек. Лодка сама собой плыла по фарватеру населенной движущимися огнями, похожей на ночной проспект реки. Венька врубил сирену. Человек в лодке не шевельнулся. Лодка вышла из света, пропала. И почудилась мне трагедия, тайна в этой лодке, плывущей по воле судеб. Почему не проснулся ее хозяин, не внял сирене — сигналу тревоги? Быть может, и не проснуться ему? Капитан успокоил меня:

— Идешь когда по Неве, дак мно-ого их плывут... Рыбак нарыбачится, устанет, выпьет — и спит. Мотор подымет... С мотором, если уснешь, опасно, правда же? Так и плывут... Пойдемте ко мне в каюту, отдохнете.

В капитанской каюте, в крохотном закутке-боковушке лежала на столике пачка журналов «Наука и жизнь». Венька сказал, что подписался на «Науку и жизнь». Мы сели на капитанскую койку.

— Пока что дублер мой на руле, — сказал капитан. — И моторист Сережа на судоводительское подал. Я его тащу. Не помешает, правда же? Хороший парнишка. Сам я на морского механика подал. В училище. Сперва на буксирах ходил, теперь тут, потом уж дальше, верно? Перспективы есть. Летом мы экскурсии возим, белые ночи, музыка играет — хорошо!

Хорошо мне было в капитанской каюте, на речном трамвае «Л-67» плыть по ночной Неве за грибами.

— Как ты живешь-то, Веня? — спросил я у капитана. — Жена твоя как?

— Нормально, — сказал капитан. — Квартира у меня в Ивановском, все... С женой я развелся. Мать ее была против, чтобы она со мной жила. Ну, я говорю, если так, то я по-своему сделаю. Теперь ходит, обратно просится. Я ей говорю: «Нет, не на того попалась». Правда же?

Венька рассказывал о своем разводе. Слушать про это не хотелось, Венькина речь звучала косноязычнее, чем всегда, не в лад стуку дизеля, плеску воды под окошком каюты. Послышался словно бы скрежет в отлаженных шестернях Венькиной жизни. Но Венька не уловил этот шум, этот сбой. Одушевление не оставляло его, он пребывал в непрестанном экстазе, упивался успехом своей карьеры.

— Я около вас, где вы живете, бываю, — говорил Венька. — Там директор «Гастронома» знакомый мне. В грибной рейс с ним ходил, дак познакомились. Если че надо, беру у него.

— А чего тебе надо, Веня?

— Кофе растворимый или че другое... Хотел к вам зайти, дак вы все в командировках. Отдыхайте пока, — сказал Веня. — Как Ивановские пороги проходить будем, я вас позову. Там скорость течения девятнадцать километров в час, а ширина фарватера восемьдесят метров. Интересно, посмотрите, правда же? Двенадцать лет хожу, дак знаю. На баржах ходил, на буксирах, гонки леса таскали, по три тысячи кубов. Постепенно все понимать начинаешь, что к чему, правда же?

— Правда.

Венька ушел.

Спустя какое-то время сверху донесся его голос:

— Идемте в рубку. Ивановские пороги проходим.

Я поднялся в рубку. Капитан стоял у штурвала. Высоко над Невой в черном небе горел, как планета войны Марс, красный свет.

— Когда сверху судно идет, — сказал Венька, — не пускают снизу, красный свет зажигают, а когда свободно — зеленый. Фарватер узкий, дак... — Он включил рацию и сообщил диспетчеру о прибытии своего кораб-

ля, плывущего вверх по Неве. Диспетчер велел подождать. Венька раскрутил маленький штурвал и ловко, одним касанием пришвартовался к стоящей у берега барже.

Вскоре, словно утренняя звезда Аврора, загорелся в вышине путеводный зеленый свет. Капитан повел свой корабль под звезду. Я спустился в каюту. Уснул под близкое шурханье невской воды.

Проснулся от утренних хриплых голосов, от топанья ног по обшивке речного трамвая. Вышел наружу, увидел спящую воду Ладожского канала — без движения, звука и цвета; всюду нависла туманная морось. Ветер не дул ниоткуда, но клочья тумана неслись над каналом, как тени в Дантовой преисподней. Лес темнел на берегу, в лесу продолжалась ночь. Солнца не доставало, в бессолнечном мире все представлялось чуждым, хмурым, сырым. Речной трамвай вполз носом на песчаную отмель. По узкому склизкому трапу сходили наземь, на робких после долгого плавания ногах, грибки. Сбежала на берег девочка Лена, запричитала:

— Хочу увидеть змею! Хотя бы увидеть.

Явился Венька Авдюшкин. Он устал за ночную вахту. Под форменным пиджаком совсем не угадывалось Венькино тело, лицо еще больше смялось, подернулось пылью, морщины вычернились, будто парень кочегарил всю ночь. Но Венькин оптимизм не увял в ночном плаванье, не отсырел в мозглых предутренних сумерках. Венька напутствовал меня, благословлял на грибную охоту:

— Найде-ете! Всем хватит грибов. По полной корзине несут. Вот так пойдете по берегу с полкилометра — и в лес. Тут заблудиться нельзя. С одной стороны канал, и с другой тоже канал — старый. Тут про-осто! Если что, я сирену дам...

— А сам-то не пойдешь?

— Не-е, мне не надо. Че я с грибами делать буду?

Я прошел немного по берегу, свернул в лес. Лес оказался плохой, травянистый. Плох он был еще тем, что всюду валялись банки, коробки, газеты, всякая дрянь — следы грибных рейсов. И всюду натоптаны тропы. И поздно, октябрь — ну какие грибы в октябре? Солнце все не могло народиться, без солнца скучно в лесу. И вякал, не унимался транзистор.



Между тем я шел да шел меж сонных чахлых со-сен, березок, по траве, по топкому густо-зеленому мху, шел как придется, не взыскав грибов. Казалось, что я плыву по озерному плесу. Парной, настоящий на бе-резе и на багульнике воздух был сладок. Если долго идти по лесу, как бы ни был сумрачен, глух этот лес, он приведет в краснолесье, в веселую боровину и обя-зательно подарит гроздь брусники, белый гриб, а не белый, так красный. Я шел, почва делалась суше и тверже, на ней обозначились сухожилия, мускулы — корни больших деревьев. Солнце пронзило мокрую хвою, засеребрилась осенняя паутина, осыпало жемчу-гами траву. Стволы берез забелели, сосны янтарно за-теплились, елки зазеленели. И всюду рдели, краснели, пунцовели колонии мухоморов. Красноголовые воца-рились в лесу в октябре...

Но тут мне попался здоровый темноголовый гриб-боровик — захолонуло сердце, перехватило горло. Гла-за мои, нюх обострились, я пошел челноком, как сно-ровистый пес. Рассеянность, расслабленность исчез-ла — как не бывало. Я стал приметливый, быстрый, азартный. Нашел благородных грибов, сколько мне за-хотелось. Не то чтобы много, но хватит на суп и жаре-ху.

Чрезвычайно довольный собой, вышел на берег ка-нала, зажег костер, вскипятил мутноватой, нечистой воды, сыпанул в котелок горсть чаю, достал сахару, хлеба. Чай получился немислимо вкусный, а после чая еще вкусней — сигарета.

Солнце грело меня. В рябинах строчили дрозды. Над каналом в сплошной синеве летела белая чайка. Горел костер. И тишина подступала со всех сторон, ве-ликая тишь. Казалось, она поглотила речной трамвай с капитаном Венькой Авдюшкиным.

Вдруг завыла сирена. Я подхватился, собрал по-житки, оставил сорокам хлеба, сахару, колбасы. Реч-ной трамвай оказался рядом, за рябиновой гривой. Большой белый корабль стоял, сунувшись носом в бе-рег. Капитан встречал своих пассажиров у трапа. Тст-час все собрались. Корзины полнехоньки были грибов: горянки, серянки, лазнухи, свинухи, волнушки, солё-ники, мочёники — белых никто не нашел.

Моторист Сережа поднял трап на палубу. Речной трамвай сполз с берега, развернулся, пошел по каналу.

Венька сказал, что быстро идти нельзя: воды становится маловато в канале, винт уводит за собой, выпивает воду. И правда, вода побежала следом за нашим судном. Открылись основания берегов, забереги, голое желтенькое дно. Берега канала сложили сто пятьдесят лет назад из фашинника, ивовых прутьев, укрепили камнями, насыпали грунту. Ребрышки обнажились теперь, торчали прутья, будылья...

Речной трамвай шел меж не очень крутых, вровень с ходовой рубкой берегов. Дул встречный ветер, желтые листья берез трепетали, багровые гроздья рябины покачивались. Березы здесь низки и кривы, их кроны округлы, оглажены ладожским ветром. Стволы берез яркие, будто покрашены белилами, как яблони в ухоженном саду. Алыми сполохами являли себя осины. Справа невдалеке простиралась синяя, напряженная ветром Ладога.

Корабль плыл в расцветенном, праздничном мире. Он плыл медленно, быстро плыть ему запрещалось. У руля стоял Венька Авдюшкин. Миг беспричинного счастья длился, скорость времени сравнилась со скоростью нашего судна. Венька вел корабль посередке русла канала — по фарватеру...

— Хотите? Нате, — сказал капитан, приглашая меня к штурвалу. — Когда пустой канал, просто. Середины держаться — и все.

Я взялся за рожки руля и почувствовал силу, биенье мотора. Припомнилась мне большая река, и парус рвется из рук. Я держу его, правлю на стрежень. Лечу. В лицо брызги. В носу ладьи лоцман, Венька Авдюшкин. «И вечный бой! Покой нам только снится... сквозь кровь и пыль... летит, летит степная кобылица и мнет ковыль...»

Когда это было? Какая кровь? Какая пыль? Какая кобылица? Годы мои утекли, как вода, а это осталось. Сперва я поплавал на лодке под водительством Веньки. Теперь держусь за руль речного трамвая. Что будем потом? Какой корабль? Какая река? Или море?

Я вышел на воздух. Корабль по-прежнему плыл меж рябин и берез по тихой воде канала. Сладко спали его пассажиры. Исправно отстукивал дизель.

Пришла на палубу девочка Лена, и я спросил у нее:

— Леночка, зачем тебе нужно увидеть змею?

— Интересно,— сказала Лена.— Всего-то я один раз змею видела. В зоопарке. Гюрза называется, что ли... Всего одну змею.

— А почему ты не в школе? — спросил я у Лены.

— А, сегодня у нас день такой. Несерьезные все предметы. Пение.

— Разве тебе не хочется научиться петь?

— Там глупостям всяким учат. Какие-то два такта, три такта, четыре такта. Считать заставляют: раз-и, два-и... Я песню если услышу — и сразу запомню, без всякого счета. Вот я услышала песню «Смело, товарищи, в ногу» — и запомнила.— Лена спела мне песню «Смело, товарищи, в ногу».— Там что? — спросила она меня, заглядывая в капитанскую рубку.

— Там капитан.

— А можно туда?

— Можно.

Лена пошла в рубку. Капитан посадил ее на высокий стул.

— Справа Орешек будет,— показывал Венька.— Смотрите! Сейчас хорошо видать. Тут аккурат канал начинается, а вон там Нева. Сейчас проходить холм Славы будем. В бинокль увидите, че написано. Там памятник есть — красиво! Нате поглядите...

Венька Авдюшкин провел речной трамвай по Неве, под мостами, пришвартовался у пристани.

Мы попрощались с Венькой, пожали друг другу руки. Венька сказал:

— Завтра опять пойдем в грибной рейс. Грибы есть, че не сходить, правда же? Захотите, пойдемте. В этот раз народу мало было, а так много бывает. Весело!



Я нарушил сроки охоты. В сентябре убил глухаря. Он и песню свою не спел ни разу, скрипун-первогодок. Едва поднялся на крыло, большой, черноперый...

Сложил и вытянул длинный хвостиче, плавно прошел в вершинах и сел.

У меня не достало спокойствия уложить глухаря в мешок. Я припас — на случай трофея — авоську, так и до дому доехал, с глухарем на виду, на ремне. Мне было двадцать лет. Я не мог спрятать большую птицу, убитую мной.

В Ленинграде, на Московском вокзале, груболицый и твердый мужчина потребовал мой охотничий билет. Потом меня вызвали в общество, штрафа не взяли, только сказали презрительно: «Не охотник ты, кила».

А все началось со Степиных собак. Есть такой человек на Носке — Степа Кряквин.

Помянул о Носке, не могу, оторвусь от рассказа. Есть такое место, твердь земная — кряж, мыс отделяет Оять от Свири, торчком вдался в ровную низкую воду. Свирский обрыв — изжелта-белый песчаник. К Ояти — покатым берег, его обжили, избы стоят, березы посажены вдоль порядка, большие, лет по семьдесят каждой.

Степе Кряквину как раз в ту пору было полста. Детей он поднял — уехали в Ленинград учиться. Степа жену поменял.

Охоту совсем запустил. Псы отбились от лесу. Корму-то им всегда хватало в Степином доме.

Тогда еще лосось ловился в Свири и в Ояти. Форель. Судака Степа не ел, разве для навару клал в ко-

тел, чтобы картошка варилась не в голой воде — в бульоне. Потом сливал бульон на землю, вареного судака кидал псам. Картошка становилась медовой на цвет от судачьего навару. Степа круто ее солил и прикусывал лук.

Он был начальник рыболовецкой артели — Степан Игнатьевич Кряквин. Всю жизнь занимался рыбачеством: когда лосось приедался, налима печенка шла в уху; корюшку коптил в собственной дымокурне. Был Степа налит до краев здоровьем и силой.

Нюрка вначале стала мне как подружка, — ровесница ведь. Степы она дичилась, а со мной любила чай распивать с пирогами. Весной мы с ней подружились, я еще тогда гуся сшиб на пролете. А в сентябре приехал, шел пешком со станции Оять... Дошел наконец. Сел на Степино крылечко, думаю, пусть Нюрка выйдет ко мне. Подружка... Она сунулась к окошку, еще не знала кто, а как узнала, дверь прихлопнула и, слышу, ворчит: «Шляются тут оборванцы». Брючата я надел на охоту самые что ни есть никуда не годные.

Я было присмирел, оскорбился, но сказал себе: «Подожди, парень, ничего, подожди!..» И пересидел Нюркино хозяйское пренебреженье. Поел пирогов с лососинкой. В свое время.

Степа вернулся из губы с рыбалки поздно, пошел в баньку. Нюрка пошла его проводить с фонарем. Так сказала: «Провожу». Однако не возвратилась. Я их не дожидался, заснул.

Утром свистнул гончара Рекса, тот поглядел на меня медленно, сыто — здоровый черно-рыжий кобель. Счел нужным пойти со мной на охоту. Все-таки у человека ружье.

Дворняга Шанхай, тоже Степин пес, прыгал, повизгивал, очень хотелось ему вместе с нами. Все пытался уши поставить стоймя — правое еще подымалось, с левым было совсем дело плохо. Пришлось привязать пса веревкой к забору: не брать же дворнягу в лес.

Рекс потрусил рядом со мной, в лесу ткнулся носом в брусничник, порыскал, чихнул, потряс башкой и взглянул: вижу ли я его усердие. «Вперед, Рекс! — приказал я. — Искать!»

Рекс поплакал воды из-под кочки, задрал лапу на первую сосну леса и на вторую. Убежал подалее от меня, вроде как увлекся в доборе. Я уже было поверил,

но вдруг чвякнуло что-то тут же, рядом совсем. Гляжу, посреди ольхового подроста крадется пес, а сам на меня смотрит. Переглянулись — он потунился, боком, боком, заспешил прочь с глаз.

Скоро опять появился и уже не отбивался от моих ног. Было видно: не хочется псу шастать по лесу в одиночку. «Ищи! — рывкнул я. — Вперед!» Еще кое-что добавил.

На вересковой прогалине я выстрелил по тетерке. Не очень я рассчитывал попасть: слетела она далеко. Подумал: «Выстрел подействует на пса. На гончих это действует». Пальнул. Пес вздрогнул. Опять пошел от меня боком. Все припадал к земле, косился и хвост припрятал. Было видно: хочется припустить вовсю — и страшно. До самой опушки так маялся. Чуть скрылся от меня в ельнике, было слышно: галопом пес поскакал.

Степа сказал вечером:

— Так-то он ничего, ну, видишь сам, какая мне теперь охота? С ними ведь заниматься нужно... А так... Это все напрасно. Ты с Жучкой попробуй. Она птицу хорошо лаяла.

Я не понял, что мешает самому Степе ходить на охоту, но спрашивать не стал: ему пятьдесят, а мне двадцать. Значит, есть причина.

Жучка не пошла со мной в лес. На меня она не смотрела вовсе, коленая, чистобрюхая лаечка. Потянулась, крылечко шерсткой помела. Глаза зеленые, и ушки сторожко стоят. Себе на уме собачка.

Я ей совал в нос кусок пирога с форелью, сам пятился спиной к лесу. Жучка не шла и за пирогом. Я свистел, хлопал себя руками по худым штанинам, чмокал. Жучка все поворачивалась ко мне хвостом. Хорош был хвостик, тугая огнистая дужка.

«Ладно, — подумал я, — сейчас выстрелю — инстинкт проснется. Все же это не Рекс. Лайки все прирожденные охотники». Отошел на задворки, стрельнул в поле. Нюрка мелькнула в окошке:

— Ты что, по курам? Большой, а ума — что у корюшки.

Жучка не оглянулась на выстрел: кота наблюдала, как он идет по двору, хвост стоймя, самый кончик виляется при каждом шаге. По-охотничьи за котом следила, весь инстинкт, видно, на это потратила.

Тогда я решил действовать иначе. Первым делом привязал Шанхая к забору. Глаза у него были преданные, как это говорится — собачьи. Он кидался ко мне, веревка держала пса, передние лапы отрывались от земли. Пес сучил лапами, вытягивал шею и тявкал. Он хотел со мной в лес. Но мне было плевать на этого пса. Мне нужно было охотничать с лайкой. Пора мне было поохотничать всерьез. Я подхватил Жучку на руки и пошел с ней в лес.

Она была тяжелая собака. Я думал: «Ничего. Ничего. Сейчас мы дойдем. Я ее отпущу. Она почует птицу и начнет работать. Чутье не могло потеряться. Азарт и все такое. Сейчас она все поймет».

Сначала я шел по тропинке. Свернул на длинное болото. Тут я вспотел: в собаке было верных полпуда, а идти вязко.

За болотом началась ольховая заросль, березняк, ивовый прут все оплел, черемушник — ух! густо! Как я там лез со своей собакой? Прижал ее к ватнику, скомкал всю, будто она не живая собака, а скажем, лису я добыл и тащу напролом, ног не чую. Иначе было нельзя.

Собака визжала, рвалась, хвост ее лаечный распрямился. Но я удержал. До настоящего лесу не доберешься иначе, как через эту чащобу.

Я пустил Жучку, едва завидел первые сосны бора. Она не посмотрела на меня, завила хвостик в колечко и побежала домой.

Вечером Нюрка сказала мне:

— Пойдем завтра в бруснику. А то с охотой твоей больше сапогов стопчешь.

Нюрке не с кем было ходить в бруснику. Бабы ее сторонились. Лукинична, старая Степина жена, осталась в деревне, бруснику она брать горазда... О Нюрке плохо говорит. А бабы, конечно, ее сторону принимают.

— Завтра пойду за утками,— сказал я Нюрке.— Псы у вас зажрались. Их бы в хорошие руки.

— А! — сказала Нюрка.— Топить их некому, этих псов. Толку-то с них...

Деньки тогда стояли сыренькие, со студеным туманцем, и вдруг прорезался синий день. Бывают такие только в сентябре. По вереску паутина, капли остались с ночи, в каждой — синее, рыжее солнце. Лучики колко выстреливают из капель, дрожат. Брусничины за-

индевели в росе. Березки кое-где сомлели, слиняли. Ранняя, светлая ржа прошла по зеленому лесу. И все-то видно вокруг.

Я решил по старицам пройти. В каждой, поди, по выводку держится. Шанхай увязался со мной. Я не стал его сажать на веревку. Может, какого подранка в тресте отыщет.

Пес начал нюхать землю сразу за огородом. На меня не глядел, только рыскал и нюхал. Откуда в дворняге охотничье рвение? Может, заезжий крапчатый лаверрак встрял ему в родословную? Теперь вот расплачивайся за грех. Звериные запахи леса томят, а охоты все нету и нету. «Шанхай! — кричал я. — Назад! Ко мне!» Не было никакой нужды кричать эти слова. Утро выростало такое ясное, и так мне дышалось, что идти молча я не мог.

Шанхай будто понимал это. Он не слушал меня, уносился далеко, вынюхивал кочки, багульник, хвсю и мох. Он перепрыгивал через коряги. Он вывалил нежный шершавый язык. Шкура будто вся обтянулась на ребрах. Он был неистов, Шанхай. Выбегал ко мне, взглядывал быстро и виновато, будто хотел заверить меня: сейчас, сейчас разыщу, поверь мне, сейчас... И опять уносился.

Я позабыл про утиные выводки. Я был молодой охотник. Ни разу еще не было у меня своей собаки. Конечно, слышал, как вязко может ходить за зайцем гончар, как спаниель выловит подбитого саука в ноябрьской воде и в руки подаст. Никто мне не рассказывал ни разу, как стала ему собака добрым приятелем, ухом и глазом в лесу. Может быть, не случалось такого с моими знакомцами, а может, об этом не рассказывать.

В лесу, на охоте, я всегда видел только самые ближние елки. Весь бывал настороженный, все казалось — вот сейчас, именно в этих елках объявится заяц, или глухарь, или хотя заваливающий рябец. Кроме ближних елок, для меня ничего и не было в лесу. Лес раскрывался скупно — по дереву, по полянке, по просечке.

А теперь все вдруг стало иначе в лесу. Просторно. Я не осторожничал с елками. Их все обшарил Шанхай. В них не было зайцев и рябчиков. Я видел высокое сентябрьское небо и сосны. Сел на валежину, и Шан-



хай, прибежав, ткнулся мне в колени. Я сказал ему: «Ну что, брат?» Он дернул головой: дескать, сейчас. Он стоял возле меня, а сам все вздрагивал и косился глазом на лес: не весь еще обшарен.

...Глухарь слетел и шарахнул крыльями по сосновой хвое. Это я услышал вначале. И сразу залаял Шанхай. Я побежал на звук и скоро увидел птицу. Глухарь пролетел немного, уселся на сук и уже не казался таким огромным, как влет. Он крутил головой, прищелкивал клювом и глядел на Шанхая.

Первогодку был так интересен лающий зверь, что меня, человека, он не заметил.

Шанхай тянулся к птице, он встал на задние лапы, а передними царапал сосну. Он целил в птицу носом и тявкал. Но не так он был прост, этот пес. Он знал, что ему не достать глухаря, не свалить его лаем. Он тявкал, а сам взглядывал на меня: приглашая: «Ну же!» Где он этому научился? Может быть, еще и зверовая лайка попалась ему в родословную?

Я нарушил сроки охоты. Не мог я их не нарушить. Глухарь упал после выстрела. Шанхай его нюхал, лизал, будто ласкал, прикусывал самую малость. Он весь дрожал от трепетного восторга.

Потом я повесил птицу себе на ремень. Шанхай побежал и все тянулся к птице. Вдруг отставал, стоял недвижимый, словно что-то нужно ему сообразить. Задумчивым стал пес. Казалось, не может еще понять, что с ним случилось, какое счастье обрушилось на него и как теперь жить дальше. Иногда он прыгал, тихо повизгивал. Опять затихал. Пускался в поиск, но скоро возвращался обратно к птице.

Так мы ходили до ночи. По полянам родился туман. Совы кружили низко и шелестели. Опушки, болота, низинки, тропинки и бочаги стали все одинаковы. Я заблудился, конечно. В ночь уходил мой поезд. До станции Оять еще четырнадцать километров от Степы. Волгло стало и неприятно.

Пес убежал. Дворняга и есть дворняга. Так я подумал тогда о Шанхае.

Сам тоже все наддавал и не заметил, что бегу. Жутко мне стало в лесу. Весь он будто против меня, лес, живой, зыбится, дышит. Тьма жидкая вверху, а внизу густая, клочьями, клубами, кучами. Расселась повсюду. Плохо. И пес убежал.

Мне-то куда бежать? Все равно стало. Но шагом нельзя. Это лучше — бежать.

Вдруг — большая вода! Ага! Ух! Теперь-то не пропаду. Свирь. Нужно идти вниз по течению. Утром я шел вверх. А где верх? Где низ? Только видно, что небо светлее воды и вода возле неба чуть блестит. А может, это не Свирь? Как так не Свирь? Свирь.

Я давно уже позабыл о псе Шанхае. Снял шляпу. Она мне мала — побольше не нашлось в магазине, а нужно было шляпу надеть. Какой охотник без шляпы?

Забрел глубоко в воду и пустил шляпу. Надо же знать течение. Конечно, низ должен быть слева, а справа верх. Шляпа проплыла немного поперек Свири, потом повернула и пошла себе вправо, вверх по течению. Я достал ее, зачерпнул водицы, испил и слушал, как громко валяются капли с подбородка в реку. Теперь я уж вовсе не знал, что делать. Не хотелось мне идти вправо.

...Шанхай появился деловитый, будто по крайней надобности отлучился. Он ткнулся мне в ноги, отбежал и посмотрел, иду ли. Я сказал ему: «Шанхаюшка! Родненький мой песик...» Он еще отбежал, дождался. Я пошел за ним смело и запел песенку.

Степин дом оказался рядом. Все же влево мне нужно было идти. Чего моей шляпе вздумалось плыть вправо? Может, водоворот?

Дом был заперт, а в баньке светилось окошко. Я не стал в него стучаться. Сапоги стянул, пальцами пошевелил, перемотал портянки и быстро пошел на станцию Оять. Четырнадцать километров. Еще можно поспеть до поезда. Если очень торопиться.

Я шел по песчаной дороге на станцию и думал о том, как приеду опять на Носок. О Степе и Нюрке я не вспоминал. Далась же им эта банька! Ну пусть. Я думал только о Шанхае. Он должен ведь и зайца гонять. «Я приеду, и мы с ним пойдем... За Шоткусу слазаем... На Кандошское озерко...» Ах, как хорошо было думать о псе Шанхае. «Шанхаюшка, — думал я, — собачка...»

И вдруг понял, что он не остался у Степы, бежит со мной вместе. Тайком бежит. Все понимает.

— Пошел! — крикнул я. — Я т-тебе д-дам!

Пошел быстрее и шептал:

— Собака! Ах ты моя собака! Ну подожди, подожди. Я же приеду.— На всякий случай рычал в темноту: — А ну вер-р-нись! У-у-у!

Полдороги Шанхай тайлся, а потом догнал меня и побежал открыто рядом. Наверно, решил, что теперь прогнать его поздно, что Носок далеко позади и хватит терять охотничье время. Нужно лазить по лесу, искать глухаря и вешать его себе на ремень. Что может быть в мире важнее и прекраснее этого? Наверное, он подумал, бедняга, что я и есть единственный человек — Настоящий Охотник. Он бежал со мной по ночной дороге на станцию Оять и готов был бежать еще много ночей...

— А-а-а! Ты еще здесь, гад? А ну-ка давай отсюда! — Что я мог еще сказать Шанхаю?

Он не послушал меня. Он прибежал со мной к самому поезду. Мурманский поезд стоял здесь одну минуту. Я вскочил на подножку. И Шанхай тоже вскочил. Я взял его на руки. Он был тощий, гораздо легче, чем Жучка. Я стиснул пса и поцеловал его в холодный кирзовый нос. И бросил вниз, на платформу.

Поезд пошел. Шанхай сначала бежал вровень с моим тамбуром. Я глядел на него, и он подымал голову.

Потом он отстал, но было видно: все бежит собака. Потом к поезду подступил лес.

Кажется, я тогда заплакал, а может, нет. Не помню.

Приехал к Степе только весной. Шел по дороге к Носку и все улыбался: «Узнает Шанхай?»

— Как Шанхай? — Это первое, что я спросил у Нюрки.

— На свадьбе вон у Полины Радыничевой гуляли и застрелили. Жалко, конечно, все же как свой был. Хорошо, хоть его, а не Рекса, не Жучку. Они хотя породистые, а этот — что? Так только, один вид, что собака.



Я не знаю, что такое лепяга. Беру словарь Даля, читаю: «ЛЕПИТЬ. Ласточка лепит гнездо, пчелка соты. ЛЕПЫЙ. Вражье-то лепко, а божье-то крепко».

«Лепяги» нет в словаре. Я думаю, что это болотце, жидкое озерцо, запрудная лужа. Я услышал «лепягу» в юные годы, а вот не могу позабыть. Тогда, по юности, держался бывалым, несуетным человеком, не переспрашивал ни о чем.

Помню, отыскал в деревне Выселки тамошнего председателя сельсовета, охотника, спросил его без надежды, с нахальством отчаяния:

— Так где у вас тут глухари-то токуют?

Председатель, хмуроватый мужик, сел на бревна, послюнил сигарку слева направо, будто по губной гармошке прошелся. И справа налево. Затянулся, посмотрел внимательно на завертку и еще затянулся.

— Вот пойдешь,— сказал,— этой дорогой, край елани дойдешь, а там на правую руку бери. Увидишь — у машин езжено. Ну, что там? Верст пятнадцать есть. Сначала лежневкой пойдешь. Лес возили. А потом колеей дуй. Машины-то до Царских мхов ходили, а теперь, значит, нужно соображать. Да. Как будешь идти, сторожи на левой руке лепягу. Сравнялся с лепягой — тут тебе и свертка. Да. Ну что там? Шагов, может, двести, а то и тех нет до токовища. Там уж решай по ходу дела. Ты песню-то знаешь?

— Не знал бы, чего на ток ходить?

— Да... Там должны мошники пить. Туда мы нонче не ходили. Разве что к Рябушихе зять приехал, заостровский мужик. Ну, мы бы знали. Не должно.

Председатель сельсовета ушел с бревен, а я остался сидеть. Не спросил, что такое лепяга. Он охотник, я охотник — равные люди. Поровну должны знать.

Мне уже было время идти. Но я все не шел. Уходил-ся. Двое суток месил глину да галечник, мох да сыпкие к полдню, гремучие ночью снежки по низинам.

Не повезло мне в ту весну. Забрался в дальнюю даль, а друга-охотника не застал. Он подался на праздники в лес. Дождаться? Так ведь и у меня только праздник — свободное время.

Праздник. На дороге тихо. Жена моего друга, добрая женщина, посмотрела на меня так жалостно и горестно, когда я пошел один.

— Ну, куда вы пойдете? — сказала. — Коля думал, вы второго к нам. А вы тридцатого, так он бы, конечно, дождался. Он про вас вспоминал. Подождите его. Он, может, к завтраму вернется.

Мой друг Коля знал все токовища в округе. Я знал только один — за Выселками. Спидометр на Колином мотоцикле когда-то отсчитал до Выселок сорок два километра. Это от станции столько. Да еще от города до станции двести шестьдесят. От Выселок до тока — четыре.

А что было делать? Я пошел большаком. Гуси перелетывали дорогу. Они тянулись низко, словно знали, что праздник и люди спят после вчерашнего вечера. Гуси перестраивались на лету, и воздух шелестел в крыльях. Будто велосипедисты в большой гонке неслись по небесной шоссе. Солнце было ниже гусяного лета, освещенные подкрылья казались белыми. Я не стрелял по гусям, не поспевал, да и не хотелось мне стрелять.

Умытые прозябшие веточки на ближних березах казались черными. Капли на них светлели. В дальнем лесу росли те же деревья, что и подле дороги, но виделся этот лес другим — желтым. Чуть желтеньким. Такого цвета клейкая испарина у новорожденного тополевого листа. Да какой тут тополь? Береза, елка, ольха, осинка кругом. Вот они — зимние еще, только умылись. А вдалеке — уже видно — живут, соком набухли, листья готовы прыгнуть. Весна.

Первое мая.

Кто не ездил на праздники в лес?

Знаете, что на заре каждое озеро как большой алый флаг? Каждая лужица на дороге — флажок.

Слышали, как фиалка расталкивает старые листья: хватит меня пригреть!

Праздник!

Знаете, что такое лепяга?

Я тоже не знаю.

У меня есть жена. Она меня будет ждать все праздники напролет. Месяц, как я женился, но уже начал думать, что это слишком легко и, значит, несправедливо: целовать жену утром, в полдень, в потемках, садиться за стол и хлебать сваренный женой суп. Я ничего не говорил ей об этом, целовал, но про себя-то думал: «Нужно идти к ней трудными путями, по поясу в снегу. Нужно ее заслужить».

Снег уже почти весь сошел.

С большака свернул на проселок. В мешке сто патронов, все запыжены, закручены, калибровкой оглажены. В каждом тридцать граммов дроби, бездымного пороха «Сокол» — один и семь десятых. Капсюля — жевело. Топорик новенький куплен, двести граммов ветчинной колбасы, три пачки горохового концентрата, ну и еще кое-что по мелочи.

На тридцатом или на тридцать втором километре я первый раз подумал, что тридцать граммов дроби, помноженные на сто, — это все же вес.

К вечеру пришел в Выселки. Председатель сельсовета сразу же попался мне на улице, но я его тогда не спросил ни о чем, потому что знал, куда идти. До тока добраться. Тихо зажечь костер и ждать. «Только б дойти, только б дойти», — говорил я себе.

Наверное, странно было видеть председателю: идет парень по деревне, по ровной улице, а будто в гору, сапоги резиновые волочит, большие сапожные проушины колышатся на ходу, шею выпростал из ватника, ремешок ружейный стиснул в кулаке, лицом страдальчески хмур.

«Только б дойти».

Сорок два километра до Выселок. До тока еще четыре. Ток мне известный. В прошлом году меня Коля сводил.

Дошел.

Костер получился жидкий: во тьме как сыщешь дров? И шуметь нельзя.

В ночь ударил мороз. В три часа я уже крался вдоль гривы.

Был скрючен холодом, несчастен, шатался, руки норовил поглубже погрузить в рукава.

Ночной ледок треснул под сапогом. И сразу шумнул крыльями по ветвям глухарь. Слетел. Все кончилось этим. Только сны на меня наплывали и — толк в спину... И холод. И глухарки лопотали. Хоркал вальдшнеп. Тетерева гомонили кругом. Журавли... Я бродил по гриве и уже позабыл, для чего.

Потом ударило солнце, и я немного поспал. Суп гороховый не распечатал: не время. С полдня опять пустился слушать токовище. До сумерек ждал прилета. Ни один глухарь не повестил о себе шумом посадки. Бросовый ток. Распугали. Еще одну зорю терять? Но ведь завтра третье мая. Четвертого мне на работу. Я побранился немного вслух и быстро зашагал в Выселки — председателя искать. Он-то знает тока: охотник. Мне Коля сказал про него. Только откроет ли? «Другого выхода нет,— говорил я себе,— другого выхода нет».

Председатель открыл мне, сказал про лепягу.

...Я прошел километров пятнадцать лежневкой. Потом колеей. Тут ходили машины. На скатах цепи. В предельном усилии зудели моторы. Но у меня-то ведь нету цепей. Да что там машины. Я думал о моей любимой девушке. Нет. О жене. Очень рано я женился. Ну и что же? Я думал, что я не могу вернуться из этого леса, прийти к моей девушке, к моей жене... Это все равно. Я только месяц как женился. Мне нужно в снегу, по пояс. Я не могу вернуться без глухаря.

Колей были пропаханы в метр глубиной. Снега нет. Хлябь по колено. Что такое лепяга? Ничего. Ничего. Ничего. Все равно я его убью. Кого?

Так шел и скрипел зубами. Ночной человек. Подвижник. Не снег, так хлябь. Это еще труднее.

Скрипел, скрипел зубами и в грязь упал — раз упал, два упал. Хватит, неумоги такую охота. Свернул на левую руку возле первой воды. Может, это лепяга? Вода была густо-черной, чернее, чем ночь. Маслянисто мерцала. Как раз и просека открылась. Просвет.

Свернул.

Болотом почавкал, и сразу вжикнул под ногой снег. Чешуйчатая, крупного зерна снежная горбушка. Будто и не было никаких фиалок. И солнца вчерашнего, первоймайского, тут знать не знали.

Сел на валежину, подумал о ветчинной колбасе, но вяло. Не стал мешок развязывать. «...Двести-то шагов есть от поворотки? А... Хватит». Пошла, пошла снежная горбушка вправо, а просечный просвет навстречу ей, а сосны, а сосны — кругами пошли... Сон тюкнул в темя. И все.

Вдруг — холод. Ноги еще не успели остыть. Руки не нужно спасать в рукавах — а холод. Морозом стукнуло, кожу на затылке свело. И позвоночник смерзся, заостенел. Не понять, что случилось. Сна ни в одном глазу. Страшно.

Слух сработал потом, не сразу: кррах — пррум — хррыщ. Кто-то идет и хозяйски ломает лес, лед, тишь, тьму. Кто-то большой. Кто? Где я? Почему тут зима? Ведь весна. Первое мая.

Медведь? А если человек? Да, да, человек. А может быть, лось? Волки так не ходят. А вдруг человек? Да нет...

Я не знал, кого мне бояться — медведя или ночного человека.

Тяжелый шаг по лесу вдруг прекратился. И стало еще страшнее. Значит, меня заметил. Зверь? Человек? Что он там замышляет?

Вдруг: тюп-тюп-тюп по насту. Бежит! Сюда! Зверь! Волк! А может быть, заяц? Теперь все равно. Бах! Бах! Оба ствола разрядил. Прямо во тьму, в лес, в неведомо что, в ночного врага. Третьим номером, дробью. Затопал. Нашуметь бы побольше. Огня! Сучья ломал. Бересту... Вычиркивал по три спички зараз.

Костер разгорелся, потрещал, отогрел меня. И тут же его загасило дождем. Дождь возник прямо посреди недвижной и тихой ночи. Он плотно, мягко опустился, снег и пламя зашипели одинаково, костер погас, а снег еще долго звучал, и стало непонятно, где шаги зверя, а где этот текучий шелест таяния. Я стрелял вправо, влево, вперед и назад. Я вопил: «Эге-е-ей! Эге-е-ей! А ну-ка, ну дава-а-ай!»

К трем часам я перестал вопить и стрелять. Сказал себе слабым голосом: «Ну вот. Пора идти. Я не могу приехать без глухаря». Я попытался подумать о жене.



Поскрипел зубами. Но стронуться с места и вступить в большой лес не смог. Стоял еще долго. Наконец пошел. Изво всех сил топал по насту. Упреждал о себе.

Наконец остановился и затих. Лес еще спал. Далеко, далеко пел глухарь: тэк-тэк, тэк-тэк, тр-р-р-фш-ш-ш, тэк-тэк... Будто детскую трещотку кто покручивает. Далеко-далеко. Сердце кверху, кверху пошло. Уф-ф. Задохнулся. Жарко. Глухарь поет. Глухарик.

Леса не стало. Снег сошел. Тьму в клочья порвало. Страх... Какой еще страх? Глухарь поет.

Он прищелкнет костяным клювом, слушает, я стою. Он шипит, трясется в истоме, не чувствует меня — я скачу. По снегу. В трясину. По клюквенному болоту. От сосны к сосне. Петляю. Ружьишко в руках...

Он пел в реденьком болотном сосняке. Их много там пело. Глухарки квохтали. Может, уже загодя о птенцах помышляли. Внизу, на кочках, шла драка. Любовь.

Вместе со мной из леса вышел волк. Он пересек открытое болото, понуро, рысцой, мордой в мох. Трусил, и было видно, лапы вязнут.

Я поглядел на волка. Но он был мне сейчас не нужен, не интересен. Я сразу же и забыл про него. Я видел, слушал, вбирал в себя напряжение и счастье весеннего игрища птиц. Волк нашумел на болоте. Глухари замолчали и разлетелись.

Весь день я ни разу не подумал, какое сегодня число. Концентрат не варил. Колбасу не тронул. Не до того было. Думал только короткими фразами: «Все равно. Ладно. День пропущу. Мне положен отгул. Пусть. Убью. Не уеду, пока не убью. Должен. Надо».

Нагибался за брусничкой, но не чувствовал ее вкуса. Нужно было скорее прожить этот день и продолжить охоту, с того места начать, где она прервалась.

Я ходил по мшарам, а когда возвращался, видел вдоль больших, темных, уже затекших водой лунок от моих сапог еще другие, маленькие, мелкие лунки: волк провожал меня по лесу. Днем это было неважно.

«Логово тут, наверно, — думал я. — Волчица ходит за мной, стережет. Надо в Выселках председателю сказать. У меня ни картечи, ни пули...»

Очень длинный вышел день. «Н-нет, — говорил я себе. — Ну, н-нет». И скрипел зубами. И рубил новым

некрепким топориком палую, голую, закостеневшую осину. Знаете, как полыхает сухая осина? Знаете, что такое костер?

За полночь, в три часа, я уже стоял посреди токовища. С вечера слышал, где какой глухарь сделал посадку. Скоро все они начали щелкать. Я быстренько подошел к ближайшему. Прицелился в дрожащую кляксу посреди сосновых веток. Выстрелил. Клякса пуще забилась. Не упал глухарь. Полетел. Значит, промазал. И все. Не стало тока. И не будет. И ночевать больше нельзя. Зря сорок два километра до Выселок... Целый день шел... Двести шестьдесят до станции — тоже зря. И пятнадцать по лежневке... Еще по колее сколько... Волка не испугался! Все зря. Не могу.

«Не могу», — сказал я себе. И почувствовал ужас. Мне было двадцать два года. Но я не мог убить глухаря. Другие могли. Я стрелял. Но я не могу. «М-м-м-м. Ну что же, — говорил я, — ну зачем? Ну как? Надо все бросить. Все к черту! Не могу. М-м-м».

«Брошу, — сказал я. — Бросовый человек. Не дано. — Я не знал еще, что я брошу. Но в этих словах уже чудилось облегчение. — Брошу! Брошу, — твердил я, — все к черту брошу. Надо все начинать сначала. Жене скажу: «Прости. Не могу». И все. Уеду. К чертовой матери. На целину. Все сначала. Да».

Глухарь вдруг всполошил бледнеющее небо и сел близко. Сразу, не тратя время на осторожность, запел.

Я его убил. Вздогнула планета от падения птицы. Я поцеловал петуха в маленькую костяную головку. «Где же тебе, — сказал, — против меня».

Пошел не торопясь по болоту. На опушке еще один пел. Небо уже стало синее. Солнце. Я убил и этого тоже.

В каждом было килограммов по шесть. Патронов у меня осталось восемь десятков. Пару потратил на дело, другие по пустякам. Колбасу я достал из мешка, размахнулся и кинул: пусть волк хоть немножко поймет, с кем дело имел. Гороховый суп размял и оставил на кочке. Глухарки склюют. Самому-то мне одного хотелось — петь.

— Ну что ты, — сказал я всему лесу, — ну что ты тут стоишь?

Шел домой и песни пел, в основном, моей жене. Задыхался от пения, от своего могущества.

— Эх! — кричал я. — Эге-ге-ей! Эй вы-ы-ы! Как-нибудь проживе-е-ем! Э-э-э-э!

Председателю я сказал:

— Сходи там, от лепяги шагов сто пятьдесят, логово волчье.

— Ну? — сказал председатель. — Сто пятьдесят, говоришь?

— Может, сто семьдесят.

Веревки крест-накрест, за спиной два глухаря висели, клювами вместе, хвостища врозь.

— Нужно сходить, — сказал председатель. — А ты что, волчицу видел? А то, может, шатун?

— Волчицу.

На большаке меня догнал мотоцикл с коляской. Охотники ехали: Мизеров и Бородавкин. У них был один глухарь на двоих.

— Из Выселок, что ли? — спросили они меня как бы без интереса.

— Да нет. За лепягу сходил.

— За Вондегу, может быть? — переспросил Бородавкин.

— За лепягу.

— А-а-а.

Мизеров промолчал.

Друга Колю я опять не застал: теперь он в Заостровье поехал. Он шофер, всегда куда-нибудь едет.

Жена его сказала:

— Так ведь тяжело вам. Давайте я выпотрошу, опциплю, уложим в мешок...

— Спасибо. Нет, нет, ничего.

В городе я газеты читал. О демонстрации и о параде. Я читал, а мимо моих глухарей шли горожане. Они говорили: «Ах! Кто это такие?» Так говорили женщины. Мужчины молчали. Они завидовали. Некоторые хвалили меня: «Молодец!» Я читал о параде на Красной площади, на Дворцовой площади. О демонстрации в городе Киеве. В городе Ашхабаде.

Дома я кинул птиц на пол и тяжело опустился на стул. Моя жена стояла передо мной. Ей еще не исполнилось двадцать два. А мне исполнилось. Она говорила:

— Тебя покормить? А может, сначала поспишь? Или в баню? У нас еще от праздников выпить осталось. «Кара-Чанах». Хочешь я тебе дам? Ой какие! —

говорила она, глядя на птиц.— Ой! Лучше бы сам поскорее приезжал. Их нужно с брусникой приготовить. Да. Я читала.

Я все отворачивался от жены. Очень у нее была короткая ночная рубашка. Я все тянул время, еще хотел пожить в своих сапогах, со своими глухарями. Но уже чувствовал: недолго мне с ними осталось жить.

— Да вот,— сказал я,— пришлось сходить за лепягу.

— Ой,— сказала жена,— хоть приехал-то, снимай сапоги скорее.

## ЛЕБЕДИНАЯ ЖИЗНЬ



Они пролетели над Азией и Европой, над такими людными городами, как Ереван, Мелитополь и Ярославль, но их почти никто не увидел. Они летели без крика, без свиста крыльев, без гоготанья или курлыканья, вдвоем высоко над землей, в апрельское, зяблое время. Встающее солнце окрашивало им белые подкрылья.

Двое лебедей летели с теплой, сытной и безопасной зимовки в тростниковых плавнях под Ленкоранью на дальний, едва оттаявший после зимы, весь зыбкий и водянистый Север.

Лебеди летели отдельно от быстрых, кружливых, нахлестанных охотничьей дробью утиных звеньев. Попутные караваны гусей догоняли их на небесной дороге — одной для всех перелетных птиц, — но лебеди подымались выше и растаивали в небе, как дымки от реактивных самолетов.

Они летели вдвоем на Север. Так было в прошлом году и позапрошлом. Они уставали зимой от напичканной пухом и перьями стадной жизни на южной воде. В небе было им хорошо, как на пустынном студенном озере. Они переговаривались на лету ласково, тихо. Никто не слышал их разговоров.

Иногда в них стреляли снизу. Лебеди продолжали плыть по воздуху друг подле друга, не убыстряли движения крыльев, их лапы были вытянуты, как рули, они правили точно на Север. Дробь обсыпала больших, безучастных к опасности птиц. Она не могла пробить вощенные крылья, а только ерошила пух на подкрылках и падала наземь.

...Над Ленинградом лебеди пролетели спокойно. Над Ладогой их ударило ветром. Уставшие, лебеди собрались ночевать. Но ладожский берег, и камышовые чащи, и свирское устье дохнули на них жженым порохом и сбдали стрекотаньем моторных лодок и катеров. Лебеди снова медленно всплыли кверху, и можно стало расслышать их озабоченный разговор.

Охотники опускали ружья и любовались идущей над ними лебединой жизнью. Иные мечтали также о лебедином мясе, сладком на вкус, и о лебяжьем пухе — он мог пойти на подушки.

Лебеди еще пролетели над Свирью и камышами сколько могли, и опустились без шума на проблеснувшее водяное оконце, и замерли, насторожив шеи. Они чуть подгребали лапами и были словно плавающие кочки. Их маленькие головки чернели, как посаженные на длинные стебли бархотки камышей.

Полная гомона и суеты, вода затихла к ночи. Только просвистывали крыльями запоздалые стайки чирков, да блеял в темноте торопыга бекас, да слышно было, как трутся шуки в тресте боками — мечут икру, как баламутят воду хвостами, как рыщут возле тяжелых маток щурята-самцы.

Еще доносилось с песчаного кряжа фырчанье костра. Хрястал топор. Люди кидали в огонь сосновые лапы, и костер подымался, искрил и отблескивал в круглых, тревожных глазах лебедей.

Лебедушка тогда приплывала близко к лебедю и спрашивала его чуть слышно: «Крю, крю, ко?» Лебедь отвечал ей: «Гурлюк!»

Еще только-только рождался и глухо клокотал в лебяжьих шеях звук, как они уже понимали его значенье...

Но вдруг налетели гуси, скрипя тележными голосами, и опустились около лебедей, и заныряли, и залуцили в клювах добытые корешки.

Лебедь спросил у лебедки: «Гурл?» Она ответила: «Ульк».

Они уплыли прочь от гусей, в камыши.

Там они выгибали шеи, и опрокидывались в воду, и запускали клювы в еще не растаявший донный ил. Наверху оставались лебяжьи хвосты и белели пуховые панталоны.

Поужинав корешками, они приласкались друг к дружке, уплыли в береговой кочкарник и чутко заснули.

...Им слышен был разговор людей у костра. Голоса доносились жестко, как будто ломали сучья. И лебедушка подымала шею и раскрывала свой грозный глазок. Лебедь чуть колыхался, чтобы ближе прижаться к подруге и сообщить ей свое бесстрашие. Он гурлыкал ей на ухо.

Лебеди проснулись, когда потянул первый ветер и голомался намерзший под утро ледок. Их разбудил тоненький звон ледышек, бившихся о камыши. Осколки прозрачного льда звенели, как самые верхние ноты в рояле, и тенькали выше известных в музыке нот.

Лебеди взлетели над туманом и протянули шеи на Север.

Север посыпал их снегом, и лебедь сказал: «Лурглу». И лебедушка тотчас ответила: «Клурк». Они подставляли снегу спины и крылья, ерошили перышки и опускали лапы, чтобы тише лететь и помыться в снегу. Они стосковались на южной зимовке по белой, холодной снежности. Их перья начали вянуть от теплых дождей. Им нужен был Север.

Чем дальше на Север летели лебеди, тем реже виделся им внизу бегущий поезд или фабричный дым. Никто на земле не стрелял из ружей. Не попадались навстречу и самолеты. Зато озера раскрылись повсюду сколько хватало глаз.

Озера были синего цвета под чистым небом. Под низким солнцем озера плавилась, как благородный металл. Озера белели под белыми облаками. Они были тусклы, свинцовы, когда на них наносило тучу.

Все небо и солнце словно разбились на тысячу разноцветных осколков. Осколки пали в озера. Озера зазывно рдели, как фонари на большом посадочном поле аэропорта. Лебеди снизились над озерами и загурлыкали без причины и без вопроса. Они долетели до лучшей на свете страны бессонного солнца.

Но они не садились на белые, синие, красные и золотые озера, а все летели, приветствуя Север коротким, гортанным кличем. Им нужно было озеро Алла-Ярви. Так называлось озеро у людей. Лебеди жили на нем три лета и подняли в воздух три выводка лебедят...

Как все другие озера, Алла-Ярви краснело под солнцем и потухало в ненастный день. В нем были песчаные мели, и черные водяные ямы, и камышовые чащи, и сосны вцепились корнями в его берега. Оно было не шире, не глубже и не богаче — такое, как все озера на Севере. Но лебеди прямо летели на Алла-Ярви.

Из миллиона озер их ждало Алла-Ярви. Одни шилохвостые чайки селились на этом озере и лопотали все лето, гонялись по воздуху, как стрекозы. Чужие лебеди все пролетали мимо: у каждой лебяжьей пары был найден и облюбован для жизни свой собственный дом-оконце на стылой равнине.

Лебеди сели рядом на озеро Алла-Ярви и долго плыли с разгона, от них разошлись по воде два длинных уса. Усы дотянулись до берега и там запутались в траве.

Лебеди остановились на середине озера. Им некуда было теперь улетать, уплывать. Начиналось их время пожить... «Клуф-клю», — сказала лебедушка. «Глиргу», — ответил лебедь.

Они поныряли немного, потом оперлись хвостами о воду, привстали и помахали крыльями, чтобы просохнуть и отряхнуть застрявшую в перьях дорожную пыль. Над ними носились, и верещали, и наостряли в тонкое шильце хвосты развеселые чайки. И спелое солнце приблизилось к озеру, но не коснулось воды — насмотрелось на себя и прыгнуло кверху. На Севере лето не бывает ночей.

...Лебеди тихо плавали рядышком малыми кругами по озеру. Иногда они вольно трубили. Вода разносила их голоса, как радиолы.

Но вдруг от берега оторвался еще один неизвестный лебедь и выплыл на чистое место. Его белоперую спину прилетевшие лебеди увидели сразу, как сели на озеро, но приняли за ошметок прибрежного льда. Одинокий лебедь далеко назад выгнул шею, плыл медленно и не прямо, был грустен и слаб — это заметили лебеди.

Лебедушка прижалась к своему лебедю плечом, и оба они по-змеячьи напружили шеи. Казалось, сейчас зашипят на лебедя-одиночку. Они прилетели за тысячи километров на Север, чтобы остаться вдвоем на единственном в мире, не знавшем чужого пера, их собственном озере Алла-Ярви. Они не умели еще приспособить свою любовь и семейную жизнь к постороннему оку...



Одинокий лебедь сказал им: «Лырг-ли»... Но они забили крыльями по воде и побежали, сердито крича. Лебедь был ненавистен им, потому что нарушил закон великой северной пустынности.

Озеро Алла-Ярви не годилось для их поллюбовной семейной жизни.

Был пасмурный день, и озера виднелись сверху, как шкуры серых убитых оленей. Безжизненными, слепыми могли показаться озера, но в каждом уже плескалась лебязья пара, как будто раскрылся белый цветок. Озерные лебеди все махали крыльями и счастливо трубили пролетным своим собратьям.

Лебединая пара опустилась на пустынную, сплошь серую воду.

...Озеро это было известно людям под именем Кур-Яур. Его так прозвали в давние времена пришельцы-оленоводы. Кур-Яур на их языке означало: озеро Кур — мужчина. Они называли другое озеро: Алла-Ярви. И все понимали, что озеро Алла — женщина.

Озеро-женщина Алла-Ярви было округло, озерный мужчина Кур-Яур был длинен, имел горловину, в которой шумел говорун-водопад.

Лебеди медленно, долго летали над длинным озером и слушали с недоверием, как говорит в нем вода. Им были видны большие следы чело­вечьих сапог на забереге. Они сомневались, кружили. Сверху им было видно не только озеро, но и море. Оно покрывало весь горизонт. Дорога над Северным морем неизвестна была лебедям. Они полетали еще и сели на озеро Кур-Яур, подальше от водопада, в заводь, укрытую сосновым леском на мысу.

Из леска стеганул по воде выстрел; и шея у лебедя сломилась, он опал. Лебедушка улетела.

Из леса выбежал юноша в макинтоше, в очках, с бородой, с ружьем и походным молотком. Он еще стрелял по бившемуся на воде лебедю. Быстро скинул с себя одежду, остался в очках и поплыл. Лебедь греб лапами, уходил от убившего его юноши. Парень птицу настиг, и взял за крыло зубами, и волок за собой по воде. Потом он прыгал на берегу, и целовал убитого лебедя, и прижимал его к своей не загоревшей на Севере белой груди, и говорил ему:

— Ты уж меня прости. Я очень люблю тебя. Но мне

всегда не везет на охоте. Я очень хочу возвратиться в лагерь с добычей и накормить всех ребят диким мясом. Мне просто необходимо было тебя убить...

Юноша обратился также и к озеру Кур-Яур. «Ты настоящий мужчина, Яур,— сказал он ему.— Ты не какая-нибудь там Ярвочка. Ты мне помог. Спасибо тебе, старина!»

В лесу у ручья поставлены были две палатки. Кастрюля повешена над костром. Девушка в непромокаемой куртке и светлой косынке смотрела, как подымается над кастрюлей пар.

Юноша с бородой пришел и кинул убитого лебедя близко к обутым в ботинки ногам этой девушки-поварихи.

— Ой, зачем ты его убил? — сказала девушка.— Я думала, они не бывают дикие, только плавают в Летнем саду. Не надо было его убивать.

— Ничего,— сказал лысоватый мужчина лет сорока.— Так-то он белый, а сварись — и красенький станет. Вареная вся скотина на один цвет. А этот еще и послаще...

— Только не будем говорить, что это лебедь,— попросил юноша в очках.— Сварим и скажем, что гусь, а перья утопим.

Они ощипали лебедя возле ручья, пух весь собрал и припрятал лысый — жене на подушку, а перья уплыли вниз по течению.

Вышел из леса еще один человек, самый старший. Он первым делом помылся в ручье и поднял одно непупльвшее перышко. Он принес его в лагерь и всем показал.

— Лебедь сронил перо,— сказал самый старший.

— К старости, что ли, у них перья-то вылезают,— заметил лысый,— или от сырости? Вот и я, как сезон по болотам пошляюсь, так плешь хоть на два квадратных сантиметра да увеличится.

Девушка разложила на мху деревянные ложки и алюминиевые тарелки.

— У нас сегодня на ужин гусь,— сказал молодой охотник, немного подрагивая от гордости и боязни.

Девушка достала из кастрюли, подвешенной на тагане, большую, упревшую, лакомую дичину и стлонила облитое розовым мясом крыло.

— Ты мне не клади, не надо...— сказал самый старший.— Я подходил к лагерю, слышу, над Кур-Яуром лебедь трубит. Печальнее музыки я не знаю на свете, чем крики лебеда, когда он осиротеет.

Девушка огорчилась чуть не до слез, поднялась над кастрюлей, да так и осталась стоять, держа поварешку в руке...

— И я тогда тоже не буду есть это мясо,— сказала она.

— Нам больше останется.— Лысый подмигнул юноше в очках. Юноша улыбнулся.

— Ну что! — воскликнул он.— Ну, конечно, это не гусь. Ну, я убил лебеда. Они же здесь все равно расплодятся за лето. Ведь, кроме нас, ни души и не будет здесь. Никогда ни один человек тут не поселится. Только лоси и лебеди. И щуки. Ну, подумаешь, одним лебедем меньше...

Пожилой человек будто не услышал молодого охотника. Он поел лапши и попил чаю. Припомнил случай из собственной жизни и рассказал...

— В сорок третьем году я воевал под Синявинном...— так начал рассказ пожилой человек.— После тяжелых боев наш полк вывели в Тихвин на переформировку. Я написал моей жене Надежде Терентьевне, чтобы она приехала ко мне. Она работала врачом в эвакогоспитале в Костроме. Мы с ней поженились в сорок первом году. В мае. В сорок третьем ей было двадцать пять лет. Она с огромным трудом достала пропуск в прифронтовую зону и села в поезд. На станции Неболчи их состав попал под бомбежку. Ее убило осколком в грудь. Я узнал об этом через двенадцать часов, помчался и успел только похоронить. Она поехала ко мне в черном шелковом платье. И большая черная коса у нее была уложена вокруг головы...

Никто не останавливал пожилого человека, он говорил, умолкал, и все дожидались, что скажет он дальше. И присмирели от жуткой серьезности его рассказа...

— Вскоре после войны я работал в партии, на Таймыре,— продолжал пожилой человек.— Перебывались мы тогда на подножном корму. Лебедей старались, конечно, не трогать. Но в крайнем случае питались и лебедятиной. А крайний этот случай выпадал нам чуть ли не каждый день... Ну вот, и я тоже стукнул лебедку,

а лебедь, ее супруг, остался на озере и плакал по ней всю неделю, пока мы стояли поблизости лагерем... Ребята хотели его подстрелить, но я попросил не трогать. Не попросил даже, а приказал, — я был начальником партии.

Мы прошли по Таймыру с запада на восток, а потом возвратились параллельным маршрутом. И вышло так, что лагерь поставили около того озера, где лебедь один остался. А уже зима нас поджимала. Ветры страшные на Таймыре... Вот ночью я лежу в палатке и слышу: вроде как лебедь гурлычет. Нет, думаю, ветер... А сна уже нет. И опять будто лебедь...

Утром пошел на озеро. В нем только промоина осталась около горла, пережат там был, быстрина. А так все во льду и под снегом... Сначала лебедя я не заметил. Близко к нему подошел. Он только тогда сполохнулся. Крыльями похлопал, но не полетел. Поднимать я его не стал...

В общем, лебедей я с тех пор стрелять зарекся. И никому не могу простить выстрела по лебедю. Желится мне так больше и не пришлось...

Пока самый старший рассказывал это, лысоватый мужчина съел без малого половину лебединой туши.

Юный охотник в начале рассказа мяса не брал, а только нервно проглатывал скользкий лапшовник. Но потом он отломил небольшую дольку от лебединого бока... И уже удержаться не мог.

Девушка как-то само собой, незаметно, тоже взяла мяса.

— Есть один такой детский стишок, — сказал бородатый юноша, — не помню, кто его сочинил, какой-то известный поэт... Там про рыб говорится — как жалко рыб, что они не плавают в речке, а мертвые в магазине лежат... «Конечно, это грустно. Но до чего же вкусно!» — такая строчка есть в стишке. Очень хороший стишок! — Борода у юноши вся была в лебедином жиру. Улыбался он молодю и блаженно.

Солнце за лето устало висеть и светить и начало опускаться на ночь в озерную воду.

Озера сделались тусклы без солнца и без лебяжьего белого цвета. Скоро Север покрыл снегом, и вся птичья жизнь потерялась в сплошной белесой зиме.

## О ЧЕМ СВИСТНУЛ СКВОРЕЦ

Весной у меня было плохое настроение. Что тому причиной — я не стану рассказывать. Человеку нельзя зависеть от тех или других причин. Человек должен знать свою цель и каждый день хоть что-нибудь, хоть немного делать такого, чтобы самому к цели приближаться или цель приближать к себе. Тогда у него не может быть плохого настроения.

И еще важно не разделять свое чувство на несколько частей. Если уж полюбил, допустим, одну девушку, то нельзя отвлекаться никуда. Может вдруг захотеться, чтобы у девушки, которую ты полюбил, оказались такие качества, которых у нее нет, которые есть у других, тоже знакомых девушек. Лучше это желание сразу позабыть.

Вот я полюбил одну девушку очень сильно еще в восьмом классе. А другая девушка, тоже из нашего класса, знает наизусть шестую главу «Евгения Онегина». Она прочитала ее нам вслух, когда мы ездили большой компанией кататься на лыжах в Ушково. У нас был ключ от дачи — Витька Фоломов взял, у его родителей там дача. Мы всадили ключ в скважину, повернули, да так, что он сломался.

Уставшие все такие были, промокшие. Хотели в окошке стекло вынуть, замазку отколупали, но постеснялись в последний момент. Нехорошо все-таки: Витькины родители дом построили, а мы испортим. Я хоть тоже замазку колупал, но первым сказал, что не надо.

В общем, залезли в баньку, битком: двое на тазу уместились, четверо ноги свесили в котел, кто на полке, кто на ведрах... Печку истопили, съели, что взято было, сидим — благодать. И вдруг она нам шестую главу... Кое-кто хихикать начал, а потом все утихомирились, серьезные стали и задумчивые. Как она прочитала эти строчки:

Вот пистолеты уж блеснули,  
Гремит о шомпол молоток.  
В граненый ствол уходят пули,  
И щелкнул в первый раз курок...

Если бы в классе или со сцены на вечере, так ничего особенного нет, а здесь сугроб на дыбы встал чуть не во все окошко, мы сидим, ноги поджали, и будто никаких родителей у нас нет, а так — вольные люди, ватага...

Никогда бы раньше мне и в голову не пришло, что можно столько стихов наизусть знать. Я даже подумал, может быть в первый раз, о смерти: а что, если вдруг? И еще о храбрости. Как-то странно все повернулось, необычайно. И хорошо.

С той девушкой, которую я полюбил в восьмом классе, мы потом не раз ездили на лыжах. У нее крепление свалилось — она дулась на меня, что я плохо приладил. А мне хотелось, чтобы она прочла наизусть шестую главу «Евгения Онегина». Но она ничего не знала наизусть, я думал о той девушке, которая знает, и мне было вовсе не стыдно, что я так плохо привинтил крепления.

А настроение у меня все равно портилось, потому что от моего единственного чувства, от моей большой любви словно отломали кусочек, и теперь это не целая любовь.

Надо хозяином быть своему настроению. Иначе никак.

Если я, допустим, живу в каком-нибудь месте, нужно это место полюбить. А если еще другие места понравятся, надо все взвесить и сделать выбор. Чтобы не разламывать свою любовь на куски.

Я вот люблю жить в деревне. Где-нибудь на берегу реки. Одно лето мне повезло на Свири пожить у знакомого моему отцу человека. В этой реке еще водится настоящая рыба форель. Я бы купил себе байдарку и плавал бы от Ладожского озера до Онежского. У меня были бы всегда крепкие мускулы на руках и на плече-

вом поясе. А ноги бы я мог развивать велосипедом или пробегал бы каждый день три тысячи шагов. Работать бы я устроился в леспромхоз, или в колхозе бы выучился на тракториста, или егерем...

Я живу пока что в городе на Подковыровой улице, но как только кончу школу и смогу заработать денег, я сразу же заведу сберкнижку и, как скопится триста рублей, начну потихонечку строить дом на реке Свири.

Можно бы купить готовый дом, но я так не хочу. Я сам буду строить. Конечно, под руководством настоящих плотников, но сам.

Каждый человек должен построить дом, воспитать ребенка и посадить дерево. Это есть такая индийская мудрость. Одно дерево я уже посадил около дачи Витьки Фоломова в Ушкове. Я не знаю точно, что это за дерево. Мне хотелось посадить рябину, но уже осень была и все до листика облетело с деревьев, а по стволу или по веткам рябину не отличишь от ольхи. Я выбрал одно маленькое деревцо, потому что под ним на земле валялся высохший весть, как рыбий скелетик, рябиновый лист. Могло его откуда угодно с настоящей рябины занести, а это вовсе и не рябина...

Но больше ничего подходящего я не нашел, выкопал деревцо, а вернее, прутик вместе с мохом и брусничником, быстренько его притащил к даче и там посадил. Никто, даже Витька, не знает об этом. Листья еще не выкинулись, и я не знаю — прижилось дерево, не прижилось? Мне больше негде его было посадить. Я поехал в Ушково под вечер, никто меня не видал.

Думаю, прижилось. Только хорошо бы — рябина, а не ольха. Правда, полить я не смог, потому что ведра не было, но дня через два пошел длинный октябрьский дождь.

Так что дерево одно посажено.

А когда я построю дом, кто знает, как сложатся дела, может быть, жить мне на Свири не придется, но все равно будет дом. Одним домом больше на земле. Жилья для людей прибавится.

Но все же настроение у меня никак не могло наладиться в марте, хотя я и приехал на каникулы к Витьке Фоломову на дачу. Витька тоже собирался жить на даче, мы много разговаривали с ним о том, как будем систематически тренироваться на лыжах, каждый день проходить по десять километров, а потом как высту-

пим на районных соревнованиях и возьмем призовые места,— кто еще так тренировался, как мы? Договорились мы съехать со Лба — там есть такая отвесная горка, с нее только один человек за зиму съехал, по следу видать, да и тот внизу растянулся.

Еще мы собрались как следует заняться музыкой, потому что у Витькиных родителей на даче есть пианино. Витька знает ноты, я, правда, не знаю, но он бы мне показал, и мы бы вполне могли за неделю выучить песню «Хотят ли русские войны?». Мы купили песенник, где есть и слова и ноты.

Хотели мы к тому же и деньжат заработать. Это вполне можно было сделать, потому что как раз лед заготавливали на заливе. Работа тяжелая, мужская. А ведь все мужчины или на производстве, или по учреждениям. Тунеядцы не станут пятипудовые ледяные чушки из залива выковыривать. А мы тут как тут.

Деньги, заработанные на заготовке льда, я собирался израсходовать не на себя, а для подарков. Первым делом мне обязательно нужно купить фиников моей бабушке. Ей уже восемьдесят шесть лет, а я ни разу ее ничем не побаловал. Сколько раз она меня выручала. «Родненький,— скажет,— на тебе рубль, больше-то у меня самой нету, а ты ведь теперь у нас уже совсем взрослый...»

Витька Фоломов приехал со мной к себе на дачу, мы с ним начали жить, как намечали. Со Лба, правда, решили съехать в самом конце каникул. Намазали лыжи пятым номером мази, эта мазь для мороза, а уже и марту конец. Первый номер нужен. Нет первого номера. Не взяли.

Десяти километров не прошли при таком плохом скольжении, вернулись на дачу, а там холодно. На улице солнце, но ведь сколько времени ему надо греть, чтобы стены и крышу разморозить.

— Ты плиту затопляй,— сказал мне Витька,— а я поеду в город, куплю там первого номера и, может быть, у стариков проигрыватель уведу, а пластинки у Нельки есть, завтра все приедем и устроим пляс.

Но никто не приехал, и я жил один все каникулы. Самое трудное для меня было вставание с постели. Под одеялом я мог надышать себе сколько угодно тепла, лишь бы голову не высовывать. Но разрушить это тепло и ступить босыми ногами из блаженства прямо в



муку и ад ледяного пола мне никак было не решиться. Я чувствовал в себе тихую покорность и все лежал, цепенел и слушал часы. Мое время уходило от меня, а вместе с ним и моя цель, все дальше, все дальше, и мне казалось, что я — вот, уже умер. Если не физической смертью, то моральной.

К двенадцати часам пополудни мне так становилось плохо лежать на кровати, что хуже быть не могло, и я опускал ноги на пол. Оставаться в неподвижности с босыми ногами на полу я не мог ни секунды, начинал действовать, одеваться и бранить себя наихудшими словами, то есть я оживал. Я клялся себе, что завтра встану в семь тридцать. Я бегал на лыжах, обтирал тело снегом, топил плиту и в третьем часу уже мог припевать песенку «Хотят ли русские войны?».

Но все же настроение у меня не могло установиться.

На книжной полке я взял у родителей Витьки Фоломова книгу «А. С. Пушкин» и решил выучить не только шестую главу, а всего «Евгения Онегина» наизусть. Я читал, читал, но запомнить ничего не мог, потому что за окном была весна, а в даче — как в погребе.

Я оставлял Пушкина на столе и выходил наружу, на солнышко. Я шел по насту, жмурил глаза и подставлял солнцу ладошки и выпрастывал шею из воротника, чтобы больше открыть для солнца моего голого тела.

Но оставаться на солнце подолгу я не мог. Бабке на финики, ясно было, уже не заработать. Со Лба все не хотелось ехать. Неизвестно, что с тем человеком, который съехал со Лба. На откосе его лыжный след есть, а внизу оборвался. Пешком он, что ли, ушел, на лыжи обиделся, или же его унесли санитары?

В плохом своем, неуверенном настроении я взялся делать скворечник. Пусть хоть одним скворечником будет больше, хоть для скворцов жилья прибавится.

Пилу-двухручку и зазубренный интеллигентский топор — родители у Витьки интеллигенты, и у меня тоже интеллигенты — я отыскал в баньке. Две доски отодрал от террасы, окошко там забили с осени от воров, а я в воров вообще не хочу верить, и потом на дворе весна, скоро лето. Гвозди повытаскивал клещами из кухонной стены. Стена без гвоздей глаже, опрятнее на вид.

Скворечник сладился легко и ловко, я стучал да

стучал обушком по черенку кухонного ножа, как по стамеске. Получалась дверца — лазейка в птичье жилье. Выстругал палочку-насест, напилел ее на гвоздь пониже дверцы...

Очень мне понравился мой скворечник, и я даже забыл про финики, и про бабу, и про то, что я не построил дом и не воспитал человека.

Но все равно, все равно я чувствовал свою вину, свою неправильную жизнь, свои поздние вставания с кровати, которых теперь ничем не наверстать. Да мало ли что еще? Я поддался своему плохому настроению и покрыл скворечник крышей козырьком вниз.

Все скворечники, которые я повидал, — козырьками кверху, как парни — душа нараспашку. Но такие парни известны больше по кинофильму «Большая жизнь», а теперь надвигают козырьки на брови.

Плохое у меня было настроение, хоть я его поправил немного работой над скворечником. Но все же поддался себе, стены стесал поверху так, что крыша легла полого, наклонно к передней стенке. И оттого выражение лица сделалось у скворечника насупленное и скрытное, только замка не хватает, будто почтовый ящик висит на двери.

«Хоть один мрачный скворец да найдется», — убеждал я себя и горько усмеялся при этом. Не мог себя пересилить. Повесил скворечник на тополе и уехал к себе на Подковырову улицу.

А когда — я так подумал — пора быть скворцам, потому что все встречные девушки на улице и в трамваях стали красивее в полтора раза, чем были зимой, я поехал в Ушково. Витькины родители уже раздели терраску, она поблескивала после зимы непрозрачно и черно, как новые боты. Заходить на усадьбу я не стал, мне было все видно из-за сосенки.

Скворцы быстренько налетели. Трое скворцов. Они искали себе жилища почему-то втроем. Один сел на покатую крышу моего скворечника, другой остался на палочке-насесте, а третий сунул клюв в лаз и сам туда прыгнул. Он долгое время не появлялся, а двое, что остались снаружи, все вертели головками, похаживали, совали клювы в щелки и как бы делились между собой мнением о скворечнике. Тот скворец, что обследовал внутренность дома, наконец показал из дверцы белый клюв, и двое его сотрудников по приемочной

бригаде замерли, стали ждать, что он скажет. Он поднял клюв к небу и поглядел. Но увидеть небо не смог, потому что его заслонил козырек крыши. Тогда он поглядел на землю и сразу выпорхнул из скворечника.

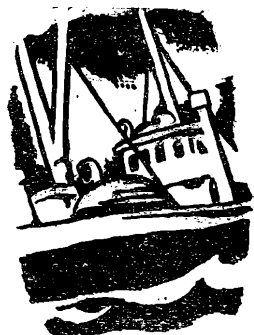
Я дождался скворцовского суда над своей работой, очень сильно переживал и чувствовал страх и тоску, — ведь скворцам здесь жить, белоклювым, гладкобоким птицам. Они хотят хорошо жить, чтобы чуть глянул на волю — тут тебе и небо. А неба-то не видать...

— Ну поживите, — шептал я. — Конечно, я не так сделал. Ну простите меня. Только не улетайте... — Я не подумал ни о каком мрачном скворце. Не может быть он мрачным.

Главный скворец посидел, посидел, да и свистнул. Длинно свистнул, презрительно, как человек. Дескать, пошли, ребята. Тут несерьезное дело. Только время потратили.

И унеслись три скворца. Как не бывало. А я остался. И скворечник на тополе. Птицам нужен был дом для быстрой, певчей, пернатой жизни. Мой скворечник им не сгодился.

# ОНЕЖСКИЕ ЗАПИСИ



## СОЛНЦЕ И МЕСЯЦ

Солнце поднялось над Онежским озером, над Кижским архипелагом. Наступило короткое время комариного сна. Комары уснули, и примолкли чайки. Утро еще не настало, только кончилась ночь. Смена караула в природе. Еще не пришел разводящий. Незыблема вода, безоблачно небо, и молод месяц на небе, недвижны кусты и листья. Воздух сладок, душист, все мягко, ласково — господи, жизнь прекрасна...

Я сижу против солнца, против нежаркого тихого солнца, на палубе парохода в Кижях. Могу посмотреть на солнце, прямо солнцу в глаза. Могу посмотреть на месяц — он очень молод, тонок, бледен. Восходит солнце. Взойдет до ему одному известной черты, и месяц ступается перед солнцем.

## МОЛОКО С ПЕНКОЙ

Надо было переехать с острова Кижы на соседний остров. Там взойти по тропинке к избе, остановиться на крыльце и заглядеться на панораму кижских чудес света: справа Преображенская церковь о двадцати двух головах, в левом краю окоема церковка поменьше, но тоже красавица — ее привезли в Кижский музей деревянного зодчества и поставили поодаль, так, чтоб не тесно было стоять, красоваться...

Хозяин избы — художник. Художнику надобно быть хозяином, а не гостем, то есть можно погостевать, но если век свой прогостюешь — и не успеть, не смочь стать художником.

В избе художника пахло тем же, чем пахнет в избе крестьянина-середняка Елизарова, куда водят кижских туристов,— теплом вековой жизни среди деревянных стен (надышали тепла). Пахло дымом березовых и ольховых дровишек, киснувшим тестом в квашне, рыбниками, самоварной медью, ухой, овчиной, сеном, парным молоком с пенкой.

Было в избе просторно и безопасно — от всех невзгод.

Лет, может быть, триста или четыреста тому назад сюда пришли новгородцы, пращурь моих предков, и тут осели, чтоб жить. И запахи этой родственной, родовой моей жизни дошли до меня...

Я сидел на широкой лавке, тесанной топором, глядел в окно, обращенное к заре, к церквам, к озерному плесу, и попивал из глиняной крынки молоко с пенкой.

Вначале хозяин сыскал в сенях, в резиновом сапоге, бутылку шампанского. После шампанского молоко пить негоже. Никто и не пил. Мне досталась целая крынка. И ничего. Молоко помирилось с шампанским. Тут подоспел чаек.

Хозяин показывал нам владенья: граверный станок в углу, лодочные моторы. Хозяйство его возникло из потребностей искусства: побольше увидеть, как следует поработать. Каждое утро он погружает очи — с крыльца избы — в окрестные веся, в лазурные воды Онего, насыщает зрение красотою кижских церквей и становится к граверному станку.

Чтобы резать по дереву и линолеуму, тискать гравюры и сфорты, нужно иметь не только талант, но еще и силенку. Есть и силенка,— нашего хозяина в свое время знали в Ленинграде как подающего надежды гимнаста.

Мы постояли на крыльце, поубивали незлобивых, непроворных (может быть, отъевшихся на туристах) комаров, повосхищались, почмокали губами и поплыли в лодке на восходящее солнце; рядом с солнцем восстала из розовых вод наша красавица, наше чудо — Преображенская церковь.

Ее построил художник — одним топором. Он учился художеству у Онего — ваянию, живописи, музыке, зодчеству. Онего — Главный Художник. Мастер. Можно и нынче пойти к нему в подмастерья.

Наш хозяин, художник, кижский житель, в академиях не бывал. Что он умеет, тому научился вст здесь, в Заонежье, в Кижях.

Что он умеет? Да вот, зайдите в Петрозаводске в книжный магазин, купите один из альбомов кижских, снежских гравюр. Художника зовут Алексей Авдышев.

В том же магазине возьмите сборник стихов Алексея Авдышева. Он художник и поэт. Настолько поэт, чтобы быть не просто художником, каких тысячи, а единственным представителем Кижского архипелага в мире искусств.

### СЕРЕБРИСТЫЕ ТОНА

Профессор сел на стул и вытянул ноги. Движение это не составило для него какого-нибудь труда, ноги сами собой распрямились, уперлись пятками в пол. Они были сухи, как рейки. Позвоночник профессора в верхней части чуть изогнулся. Плечи выступили вперед, грудь запала. Живота у профессора не было. Череп был гол.

Фигура профессора наводила на мысль об экономии материала, обычно расходуемого на телесную оболочку. Материала отпущено было в обрез. Или же профессор — трудами жизни — отсек в телесной своей оболочке все лишнее, как ваятель в куске породы; осталось главное — образ. Можно было также отнести бесплотность, сухость профессора за счет рода его деятельности: содержание ищет гармонии с формой.

Профессор похож был на мощи. Однако взор его, преломленный стеклами очков, отличался язвительной остротой. Глубоко запрятанный маленький рот с блеклыми тонкими губами и подбородком торчком играли важную роль на лице. Мысли профессора в том виде, как он их произносил, имели оттенок парадоксальности.

— Жизнь есть гниение, — сказал профессор. — Увы, это так... — Влеснули стекла его очков. — Всякая жизнь конечно именно в силу того, что биологические процессы каверзны, в них участвуют гнилостные микроорганизмы... Этот общий закон распространяется и на реликтовые памятники древнего зодчества... — Профессор кивнул в сторону окна, за которым можно было увидеть Преображенский собор и Покровскую церковь. —

Стены Преображенского собора точат десятки видов различных грибков и жучков. Собор стоит уже двести семьдесят лет... Он построен вскоре после побед, одержанных Петром над шведами. Да, он стоит... Но хронические процессы разрушения начались с первого дня его существования. Посетителей Кижского заповедника восхищают серебристые и зеленоватые тона стен и кровли. Но это плесень, для специалистов верный признак распада... Если задаться целью сохранить собор для наших внуков, нужно срочно вмешаться в процессы распада, приостановить их, мумифицировать все детали постройки...

Профессор выделил, подчеркнул это слово — «мумифицировать».

— Работы такого масштаба пока что неизвестны в мировой практике. На подготовку эксперимента нашей лаборатории дали три года. Нам пришлось отказаться от банчных проб. Мы вышли на полигон, опробуем многокомпонентные химические реактивы на крупных моделях... Сложность заключается в том, что на разные виды грибков и жучков химикалии воздействуют неодинаково. Нам нужны такие составы, чтобы полностью приостановить гниение и при этом сделать древесину огнеупорной... Церковь в Вытегре о двадцати головах, которую строила, по-видимому, та же артель, что и Преображенский собор, сгорела за три дня...

Профессор сказал о сгоревшей в Вытегре церкви, ничуть при том не нажав на педаль. Он зарегистрировал факт, только факт, как надлежит человеку науки. Никакой эмоциональной окраски, упаси бог от пафоса! Голос его напоминал цвирикание запечного сверчка.

— ...Нас могут спросить: а нужно ли трогать Преображенский собор? Ведь выстоял же он двести семьдесят лет... Значит, что-то ему помогает стоять... Дело здесь заключается в следующем: бóльшая часть года на Кижском архипелаге зима с низкими, до сорока градусов, температурами. Морозы приостанавливают гниение. Вообще древесина на севере гниет в два раза медленнее, чем на юге. Зато здешняя сырость хороша для грибков... Собор давно бы уже истлел, поливаемый дождями, но в солнечную ветреную погоду — а ветры на Онежском озере дуют постоянно — он иссушается с необычайной интенсивностью. И опять-таки происходит естественная консервация... Собор стоит, однако ресур-

сы его жизнеспособности почти все исчерпаны. Он накренился в сторону юго-востока. Крен уже достигает десяти градусов...

В лекции профессора преобладали пессимистические акценты — покуда речь шла о том, что было «до нас», до того, как возникла спасительная идея мумификации. Профессор выстроил лекцию подобно фотографическому процессу — от негатива к позитиву. Начав с темных сторон бытия, с подвалов, где обитают тлетворные грибки и жучки, постепенно пришел к проекту увековечения.

— ...Сегодня у нас имеются пропиточные составы, способные мумифицировать древесину и в то же время делать ее огнестойкой. Отработана технология: мы поднимаем резервуары с химическим раствором на верхнюю точку объекта, все детали строения обертываем особой бумагой... Химикалии поступают в обертку и постепенно впитываются в древесину. Емкость резервуара-питателя должна быть такова, чтобы насытить раствором все детали строения, чтобы вниз, в собиратели, стекало как можно меньше жидкости. На Покровскую церковь уже израсходовано сорок тонн раствора. Это дает полную гарантию сохранности по крайней мере на двадцать пять лет. Наша фирма гарантирует...

Профессор в первый раз улыбнулся, но, странное дело, улыбка его выражала не общую, всем знакомую радость жизни — она таила в себе некий двойственный смысл. Так бы мог улыбнуться, ну, скажем, мастер протезного дела, изготовивший очень хорошую деревянную ногу взамен живой: «Фирма гарантирует...»

Захотелось спросить у профессора, что станется с Покровской церковью через двадцать пять лет, по истечении гарантийного срока? Грибков и жучков в ней, допустим, не будет. Не будет и серебристых, зеленоватых тоное в окраске ее стен и маковок... Я совсем уже было собрался задать профессору этот вопрос, но меня остановила внезапно явившаяся мысль, что и профессора-то через двадцать пять лет не будет.

Профессор мало-помалу увлекся, идея мумификации представлялась ему универсально-благодетельной не только для церквей Кижского музея древнего деревянного зодчества, но и в глобальном масштабе.

— Наши препараты — широкого спектра действия... Помните «дерево бедных» в Ясной Поляне? Его



разбило молнией, это — уродливое дерево. Софья Андреевна хотела посадить вместо него другое, красивое дерево. Но уродливое дерево продолжало жить, расти. Теперь оно усохло и могло пропасть... Наша лаборатория мумифицировала «дерево бедных»... Мы спасли сосну Леннрота в Калевале... Если бы в свое время законсервировать шатровую ель Пушкина в Михайловском, она бы не погибла. Под угрозой дубы Кити в Ясной Поляне, липы в аллее Керн... Нужно принимать экстренные меры к спасению деревянных реликтов на севере: Архангельск, Вологда, Новгород, Псков, Ярославль, Кострома... Разрушение исторических ценностей — это наша оплошность. Хронические процессы распада можно остановить благодаря современному уровню науки. Предпринятые нами исследования и уже начатые работы дают полную уверенность в том, что музей Кижы будет спасен.

На этой оптимистической, даже патетической ноте профессор закончил лекцию. Пригласил желающих пожаловать на полигон, удостовериться в услышанном. Одни пошли за профессором, другие потекли к Преображенскому собору, к Покровской церкви — насытить зрение их красотой, пока еще живую и смертной, как все на этой земле.

## КОЛОКОЛЬЧИКИ И РОМАШКИ

Уха началась ни с чего — с ерша. Закинули удочку, ерш поймался и подал мысль об ухе. Я не видал, как он поймался, гулял по прибрежным увалам. Такие ромашки росли на увалах, такие колокольчики!

Вошел в деревню, пустую, уснувшую, в закатном свете прочел объявление на столбе: «Продажа и покупка рыбы с рук равняется преступлению». Рыба здесь не продается, не покупается. Здесь надо рыбу ловить...

Берег сделался выше, суше, жестче; прошитый, оплетенный корнями сосен и елей, отвесно обрывался в озеро. Оконные стекла в избах потаенно блестели эмалевым, черным глянцем. Люди уснули, и воды уснули — засветло.

Я посидел над уснувшими водами, на мостках, и снова пошел — никуда, ни за чем. Куда идти-то? Разве

к себе самому — погулять и прийти в себя после плавания на пароходе. Поднялся на увал, спустился в луговину. Нарвал ромашек и колокольчиков.

Озеро для чего-то, в который уж раз, вдавалось в сушу, обозначило заводь-губу. Ни единое судно за тысячу лет не отстоялось от ветра в этой губе. Губа, как серьга, с водяным, драгоценным блеском врезана в ромашковые луга. Зачарованная деревня загляделась на себя в лоно вод, уснула. Чуть займется заря, зардеют ее незрячие черные окна, и в каждой избе затопят русскую печь.

Далеко видно. Белая ночь. Если бы долго идти, до утра, то утро бы началось вон там, на зеленом мысу, вон в той деревеньке...

Вернулся к причалу с пустыми руками (не считая ромашек и колокольчиков), но чувствовал себя так, словно принес корзину грибов или щуку. Думал, что донесу мою ношу, не видимую никому, до каюты и лягу с нею в постель, и мне приснятся ромашки и колокольчики...

У причала варилась уха. С ерша началась и вбирала в себя приношенья: хариусов, сигов. В уху заплывли и судаки, откуда — неважно. Уха варилась у самой воды, у края богатого рыбой озера, в ведре, на костре, в десятке метров от белого парохода.

Двое варили уху, другие стояли, как стража, вокруг. Вскрикивали чайки, иногда вскрикивали от полноты чувств уховары.

Говорил капитан, все слушали капитана. Разговор шел о рыбе, о рыбных блюдах. Капитан утверждал, что самое вкусное в рыбе — пузырь. «Если изжарить его с луком и маслом, это просто прелесть». Кое-кто сомневался насчет пузыря: пузырь — ничто, внутри его пусто. Капитан стоял на своем: «Самый вкус — в пузыре, в оболочке».

Варилась уха, разговор то и дело касался ухи.

— Когда уху варишь, — учил капитан, — надо рыбу взять за плавник. Или за хвост. Плавник оторвется — значит, уха готова.

Взяли рыбу за плавник. Он оторвался. Все шагнули ближе к ухе.

— Нужно вылить в уху сто граммов водки, — сказал капитан. — Сто граммов на ведро. Это придаст ухе особенный привкус.

Вылили водку в уху.

Принесли с парохода тарелки и ложки. Выловили рыбу из ведра, вывалили на блюдо. Нарезали репчатого луку. Уху сварили с луком, и еще каждый брал пястку мелко резанного луку и сыпал в уху.

Сели на бревна, на камни. Чествовали ловцов, ухваров, капитана, механика, корабельную повариху (она сервировала застолье на досках и камнях). Ели белую рыбу, облизывали пальчики, хлебали горячий навар. Клали ложки лишь для того, чтобы убить комара.

Трещал плавник в костре, редели сумерки белой ночи. Чайки торопили едоков тонкими криками. С ухую справились неожиданно скоро, и стало решительно нечего делать. Даже спать показалось грешно.

Вот разве что половить рыбу — для следующей ухи.

## НЕЖНОСТЬ

— Ты грести умеешь? — спросил механик, чернявый, жилистый, нос с горбинкой, смуглая кожа — не только от солнца и ветра, еще от горячего дыхания дизелей, от железного пекла. Иронические складки у краев подвижного рта, острый кадык, большая фуражка.

— Умею.

— А силенки хватит?

— Найдется немножко.

— У творческих работников вообще силы мало. У них вся сила уходит на это самое... На нашем пароходе артисты плавают. Мы знаем... — Механик улыбается с потаенным значением, пристально, остро смотрит на меня.

— Не торопитесь. Гребите нежно, — советует капитан.

У капитана русые кудри, седые пряди, голубые глаза. Капитан высок, худощав. Он родом из Беломорска. Жил в Ленинграде. Работал на перегонах, ходил на самоходках и лихтерах.

— Гребите нежнее...

Надо вспомнить, что значит нежность.

Север. Белая ночь. Предутренний ветер. Мелкая волна.

Нежность — женского рода. И лодка женского рода. Но, будучи склепана из листов металла, она утратила женственность...

— Гребите нежнее, — просит меня капитан.

Грубое дело — гребля на алюминиевой лодке при свежем ветре — требует нежного исполнения. Тогда поймается рыба.

Чтобы вспомнить, что значит нежность, надо вначале забыть о себе. Гладить веслами воду и чувствовать ее женственность.

Плеснула рыба. Поймался хариус или сиг. Нужно хариуса (или сига) подвести к борту лодки, мгновенно выдернуть — он забьется, попрыгает и умрет.

Поймали рыбу, передохнули.

Механик достал из кармана тюбик с таблетками:

— Валидольчику не желаете?

— Спасибо. У меня есть свой.

— Нитроглицерину, папаверину... У меня давление, елки зеленые. Мне рыбачить нельзя, я азартный... — Механик лукаво ухмыляется: какой он ушлый, всех обвел вокруг пальца, даже самого себя.

— А вот я, — сказал капитан, — за всю жизнь ни одной таблетки не проглотил... Гребите нежнее. Вон там у косы сизи хорошо хватают.

## БЕССОННИЦА

В каюте механика, в чреве парохода, по соседству с кают-компанией, на столе ромашки и колокольчики. Механик сидит, чуть скрытый букетом цветов, напротив него капитан. Они приходят друг к другу после вахты и после рыбалки — главные люди на пароходе: один командует наверху, другой внизу. Механик все улыбался — темнели глубокие борозды морщин у него на щеках, жемчужно сверкали зубы.

— Я пришел на пароход, — рассказывал механик (для меня рассказывал — капитан это знает), — посмотрел, елки зеленые!.. Дизеля до ручки доведены. У механика работка — не бей лежачего. Пароход речной; ветер четыре балла — его уже в озеро не выпустят. Ветра у нас хватает, особенно осенью. Привыкли жить как на дебаркадере: лишь бы помпа работала — воду

отлить. Я поглядел на это дело, думаю — нет. Говорю капитану: «Пока машину не сделаю, чтобы она была тип-топ, никуда не пойдем».

— Мы с Михалычем вместе на перегонах ходили, — сказал капитан. — В одной торговой точке здоровьеправляем... Без него бы я этого парохода не принял. Машина — сердце корабля.

— Я, елки зеленые, высшего мореходного не кончал, — все более разгорался Михалыч, — я практик. Это на торгашах — мореходку закончил, приходит с дипломом, в галстук, в белой рубашке... Стармех, «дед», а сам боится ручки запачкать. Мы, помню, самоходку перегоняли из Ленинграда в Игарку, в Ленинграде стояли в порту... Помнишь, Константиныч?

— Помню, — сказал капитан.

— ...Рядом с нами торгаш. Им надо в рейс, а машина у них не заводится. Тык, пык, и не знают, что делать. Ихний капитан в матюгальник шумит, нам слышно. Нашего капитана просит: «Пошлите к нам вашего «деда». У нас салага. Машину не может запустить».

— Морской закон, — сказал капитан.

— Ну я что же, пожалуйста. Они за мной бот прислали. Я главный дизель осмотрел. Ихний стармех — как полагается — в галстук, не то что наш брат с роду чумазый... Он у меня спрашивает с презрением в голосе: «Ты кто такой?» — «А никто, — говорю, — моторист. Ты, — говорю ему, — если хочешь в море выйти, контакты на генераторе под соедини вот так и так...» Он сделал, как я показал, — и все в ажуре... После он меня благодарил, коньяк ставил. Я говорю: «Нет, спасибо, на вахте не употребляю». — Механик даже зажмурился от приятных воспоминаний.

— После рыбалки можно, — сказал капитан. — Чтобы ноги не мерзли. А так ни-ни.

— У меня машина всегда тип-топ, — сказал механик. — В любое время дня и ночи. Я могу по неделе не спать. У меня вообще бессонница, елки зеленые. Или машину регулируешь, или рыбу ловишь, больше делать нечего по ночам.

— Мы с Михалычем рыбаки, — сказал капитан. — Каждую ямку на озере знаем. Без рыбы мы не живем. Нет смысла.

## ПОПЛЫЛИ

Причал Кузаранда. «Ранда», или, вернее, «ранта», — по-фински «берег». Ночью съели уху. Теперь ее доедают чайки. Поели, подрались (чайки подрались), уселись на бревна, глядят на отплывающий пароход.

Вчера с полдня поднялся ветер, ночью утихло. Озеро стало гладким. По гладкой воде поплыл пароход, заскользил без стуку и грюку. Справа по борту катилось умытое, новое солнце.

На зеленом берегу спят серые избы.

Спят острова.

Может быть, спят даже рыбы, не пойманные нынешней ночью. Пойманные рыбы тоже спят — вечным сном.

Не спит капитан. Он выведет пароход в открытое озеро, тогда на вахту заступит штурман.

В открытом озере сладко спится, даже и капитану.

Всех разбудит звонок: подъем, чай, булка с маслом. В двенадцать — обед: суп, каша с мясом, компот. В четыре — полдник, опять-таки с булкой и с маслом. На ужин суп, макароны, чай.

День жизни на пароходе, согласно раскладке «колпита», стоит рубль двадцать. В эту стоимость входят не только чай, сахар, булка и масло, но также восходы, закаты, скольжение по лазурной воде, заонежские панорамы с церквами, гранитные мысы, сосны на скалах, березы на островах...

Вбираешь онежскую красоту, поглощаешь, дышишь ею, обмираешь от красоты. Но красотой единой сыт не будешь — обоняние ловит несомые с камбуза запахи. Корабельный кок-повариха на вахте. Необманно пахнет щами и кашей.

## ГВОЗДИКИ, АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Озеро вдруг побежало. Вспенилось, взмылилось от бега, и вся его жизнь состояла в беге — без начала и без конца, без старта и финиша. Пароход бежал вместе с озером. Белый пароход на потемневшем, взволнованном, взмыленном озере.

Мой внутренний будильник, заведенный на все время плавания по Онего, разбудил меня, чтоб я мог пови-

даться с Онего наедине. Вышел на палубу, посмотрел и вернулся в каюту. Не спал двое суток. Сон в ветреную погоду оказался сильнее меня. Я уснул.

Днем пароход прислонился к деревянному боку причала. Озеро улеглось. Солнце Севера опустилось на доски причала, на песчаные улицы, на мостки тротуаров. Жаркое солнце, но умеренное в своей жаре, милое солнце Севера.

Мы приплыли к восточному берегу озера, в устье реки Водлы. Причал назывался Шала, и было в этой Шале пустынно. Шала купалась в северном солнце. Ее лесопилка, может быть, резала сосны на доски, сахарно поблескивали кристаллы сосновой плоти — доски, бруссы, оранжево дыбились горы опилок.

В реке Водле плавали плоски солнца. Мальчишки удили рыбу с причала. Собаки мучились от жары в своих густошерстных северных шубах.

Я слышал, что в Шале бывают в продаже овчинные шубы и полушубки. Зимой здесь шуба нужна не только собаке, но даже и человеку. Собаке шуба дается природой, о человеке заботится ОРС...

Поселок Шала сомлел на жару, он не знал, что поделать с такою массой тепла; никто не умел искупаться, прилечь на песок. Даже никто не умел раздеться, то есть одеться настолько, чтобы быть замеченным солнцем. Солнцу некого было отметить загаром.

Однако солнце сияло, и тот, кому захотелось уйти из поселка, перешагнуть его свалки, подняться к макушке гранитного лба, тот мог увидеть, почувствовать: солнце сияло не безответно; камень сделался теплым, и даже мхи зацвели. Гранитные лбы задернуло пестротканым ковром — анютины глазки, гвоздики...

Под пологом елей, берез и осин родился красный гриб, зарумянились гроздья рябины. Начинался июль. Еще предстояло поспеть голубике, морошке, малине, чернике, бруснике, клюкве, рыжикам и груздям.

## **ВСТРЯСКА**

Капитан промерял циркулем расстояние от причала в Коной-губе до ближайшей прибрежной деревни, брошенной, безымянной. Вышло два километра посуху, а по воде, вокруг мыса, поболе. Одни изъявили желание

плыть, другие — померять ногами здешние километры. Была деревня, была и дорога к причалу в Коной-губе...

Помешать исполнению плана, казалось, ничто не могло. Однако в дороге случилась заминка: дорога уперлась в болото. Когда-то, должно быть, через болото была настелена гать. Теперь же болото решительно воцарилось над гатью и над дорогой. Болото девственно зеленело своими мхами, хвощами, осокой, росянкой, не тронутое ни ногой, ни копытом, ни тем более колесом.

Женщины (их было двое) разулись и сунулись было в болото, мужчины (их было трое) остерегли: «А вдруг в болоте гадюки?»

Стали искать дорожку в обход болота. Нашли колею, зимник на лесосеку, и главное, что обнадеживало, — человеческие следы. Двое прошли недавно, в резиновых сапогах. Доверились этому следу и шли по нему часа два, на ходу вспоминая о двух километрах, намеренных циркулем.

Как далеко зашли те двое, куда, для чего?

Запахло дымом, расступились заросли...

Вышли на луговину. Здесь косили траву, тлел костер. Спросили у косарей, как пройти в деревеньку, в то место, где раньше была деревенька.

— А вы откуда? Куда? Кто такие?

— Мы с парохода... Гуляем...

Косари показали дорогу. Кричали вдогонку:

— Лучше вон становитесь траву косить. Сено трясти...

Деревенька стояла на низком, затравевшем, заросшем крапивой берегу заводи. Изб всего было шесть или семь. Но в каждой из них могло поместиться большое семейство. (Вспомним, что в доме заонежского крестьянина-середняка Елизарова, ныне привезенном из деревни Васильево в Кижский музей деревянного зодчества, проживала семья из двенадцати человек.) Высокие широкогрудые избы стояли поодаль одна от другой, и все лицом к озеру. Лица их были источены, крыши просели. Печать отвержения, одичалости лежала на этом бывшем поселении людей.

Однако сказать, что тут не было признаков жизни, нельзя. Прямо в бывшей деревне, на бывших ее проулках, паслось стадо коров, предводительствуемое быком.



Бык набычился, поглядел на пришельцев — что-то не понравилось ему: в женских одеждах наличествовали красные тона. Бык наставил рога, подобно антенне локатора, в сторону раздражителя и заревел, как труба завода. Заревел он уже на ходу, рев означал: иду на вы.

Бык представлял собою крупный, отъевшийся на вольных травах, исполненный грубой бычьей силы и чувства неограниченного самовластья экземпляр. Быть может, быка раздражили не столько красные тряпки, сколько сам факт вторжения в пределы его державы.

Женщины, да и мужчины тоже, подались к урезу воды. И если бы бык продолжал атаку, оставалось одно: прыгать в воду. Будь ты хоть молодцом из молодцов, с ивовым прутиком в руках много не навоюешь со здоровым бугаем. Но едва ли бугай решится на водную процедуру...

Я даже засмеялся, осознав в себе преимущество перед быком.

— Чего вы боитесь? — крикнул я женщинам. — Он не полезет в воду. Он сам боится воды.

Тут показалась из-за мыса моторка, подлетела к берегу и стала, умолкла. Все смотрели на лодку, на капитана, механика. О быке позабыли. Бык понял, что кончилось его время, и стушевался.

— А где же наши?

— Мы их высадили вот тут у этого камня, — отвечал капитан, — часа три назад.

— Где же они?

Капитан и механик пожали плечами.

Бык рассеял их по лесу? Эту версию отмели: не те ребята, сами кого угодно рассеют. Может быть, они ушли по дороге? Но там болоте... Ладно, не малые дети, найдутся.

Стали варить уху. Сижков и хариусов наловили капитан с механиком. Чего не хватало для ухи, за тем они быстро сгоняли на пароход.

— Ну что, не вернулись?

— Нет, не вернулись. Да вы не волнуйтесь, — успокаивал капитан. Запасом глубокого, отстоявшегося спокойствия он напоминал губу Онежского озера.

Ну ладно. Уху варили артелью. Уха удалась. Съели уху и вернулись на борт парохода.

Первое, что увидали, — развешенные на палубе, должно быть, только что выстиранные брюки и пиджаки. Ага, они провалились в болото...

Мой сосед по каюте, склонившись к толстой тетради, что-то быстро-быстро писал. Его костюм в это время, я видел, сушился на палубе.

Когда я вошел в каюту, сосед перестал писать и сказал:

— Ты знаешь, я провалился в болото и вспомнил фильм «А зори здесь тихие». Помнишь, как они там бредут по болоту? Я понял, что это не просто так, для эффекта... Это очень серьезно. Очень серьезно. Я первый раз в жизни побывал в настоящем болоте. И это, в общем, так здорово!

— Кто же вас гнал-то в трясины?

— Ну, мы не думали, что это такая трясины. Там все же была дорога...

— А мы сварили уху и съели.

— Можно вам позавидовать. Но... вы съели уху, а я зато написал рассказ. Почти написал, совсем немножко осталось. Болотный рассказ...

Человек провалился в болото по уши... Мог озлиться на это болото. Нет... Постирал свой костюм, поглядел на Онего-батюшку, Онего погладил его по бедовой головушке мягким березовым ветерком... Человек не то чтоб утешился, он почувствовал крылья — творить, как мастер Нестор, посягнувший построить церковь на острове. Преображенскую церковь в Кижях...

Онего-батюшка помог человеку. До того он ласковый, мудрый, утешный.

— Ну вот видишь, — сказал я товарищу, — в городе ты высасывал бы сюжет из пальца, а здесь... Чтобы рассказ написать, нужна встряска. Пусть это даже болото...

— Да, ты прав, — согласился мой товарищ. — Но ведь болото может и засосать. В нем, знаешь, нет дна. Я в этом сам убедился.

— И в прозе тоже нет дна. Если решился — ломись напролом, бреди, ныряй, плыви, тори дорогу. И если кто поможет тебе, то разве Онего-батюшка. Больше никто.

Эту последнюю фразу я вслух не сказал, я после ее придумал.

## ОБЛАКА

Без пятнадцати пять. Пароход стоит у причала Коной-губы. Кроме обглоданной стенки причала, здесь и нет ничего. Похолодало. Плывут над водой туманы. Солнце взошло прямо в лиловое облако. В облаке проступили алые ребрышки, жилы: пожар занялся. Загорелся межпланетный корабль. И распался, сожженный солнцем. Солнце поднялось выше, от облака остались клочья, похожие на рыб. Будто на небе развешаны рыбы туши — юкола.

Поросшие березняком, ольхою, лозой острова здесь особенно зелены. Кусты и ветви деревьев недвижны. От стужи коснеет рука. Может быть, лето поворотило на осень?

Озеро сморщилось, зарябило. Ветер тянет с востока. Несильный ветер — не может поднять волну. Он только трогает, пробует воду. На топляке сидят пять чаек — ровно на пятерых хватило насеста. Вехи торчат из воды.

Зеленая заводь, белые гребни березовых стволов.

Пароход уходит от солнца, как от маячного огня. К солнцу направлены рыла рыб — облаков. Рыбы напали на солнце. У солнца единственный выход — кверху, к зениту, недосыгаемому для рыб. Солнце восходит и раскаляется мало-помалу. Облака отстают, опадают.

Озеро сделалось синим.

## РАДУГА

Вечер, умытый дождем. На небе игрище цвета, феерия красок. От солнца остался на западе огненный змей — раскаленная лента металла на вальцах прокатного стана.

Радуга уперлась ногами (если у радуги могут быть ноги) в берега широкой бухты-губы. Она восстала над бухтой, возникла из ничего, из бесплотного, никому не видимого цвета, скрытого в атмосфере. Радуга встала над бухтой напряженной аркой, без малейшего изъяна, разрыва в конструкции. Триумфальная арка. Ворота удачи. Я так сказал капитану: «Радуга предвещает удачу». Капитан усмехнулся: «Будет удача». Удача

предрешена зеленой, как свет ракеты в ночи, лиловой, алой, розовой радугой. Онего — море удачи. Кажется, стоит дать полный ход, пересечь основание арки — черту фортуны, и там, за этой чертой...

Пароход задрожал, забурлил винтом, зашлепал по ряби. Радуга отступила. Ноги ее погрузились в пучину вод. Капитан принял левее, не захотел искушать фортуны — «удача будет». Радуга стала погасать. От нее остались блекло-алые мазки, лепестки... Пароход шел по черному, масляно взблескивающему озеру к насыщенному сильным сине-зеленым светом востоку. В небе доигрывали сполохи зари. Внизу у бортов разгуливали волны.

К рассвету стало покачивать. Запахло штормом. Но шторм не успел разыграться: кончилось озеро. Пароход вошел в устье реки и покатил по гладкой воде мимо ольховых кустов и корявых берез, мимо полениц дров и серых дровяных избушек.

Маленький пароход, в прошлом сейнер.

В Петрозаводске я пересел с большого белого парохода на маленький, выкрашенный серо-свинцовым суриком. На белом пароходе можно было послушать (или самому прочесть) лекцию, побывать на концерте, в кино — для этого он и мотался по озеру, чтобы обслуживать проходящие суда искусством и агитпропом.

На сером пароходе можно увидеть, как за кормой тащится трал. В него попадает корюшка. Не только корюшка — разная рыба, но в этом месте, у восточного побережья, трал зацепил стаю корюшки. Отчасти ее изжарят на сковородке, отчасти убьют формалином, измерят и взвесят. На сером пароходе рыба — не столько насущная пища, сколько предмет науки. В пищу идут отходы научного материала.

Плыву по Онего на пароходе науки.

## УДАЧА

Смотрю на воду — утреннюю, вечернюю, тихую, резвую. Как сказано в песне: «Вода, вода. Кругом вода». Точнее, короче не скажешь о том, что видишь с палубы парохода.

Одно дело — палуба белого парубка, другое — палуба серого корабля науки. Палуба здесь красного цвета. Под капитанской рубкой установлена лебедка для спуска и подъема трала. На барабаны намотаны ваера. Сам трал, со стеклянными кухтылями и помещительным кутцом, сушится на левом борту. На палубе — бочки для засолки рыбы, ящики для сдачи улова на базу, на носу — брашпиль... Капитан кричит: «Отдать якорь!» Брашпиль приходит в действие, крутится якорная лебедка, грохочет цепь.

Под мачтой на бочке сидит помощник механика Толя, в одних трусах, загорает. На предплечье у него написано: «Бороться, искать, найти и не сдаваться». Начитанный человек.

Навстречу прошел левым бортом трехпалубный теплоход «Ф. Панферов». Толя спросил:

— Кто такой Панферов?

Начитанный Толя Панферова не читал.

На ноге у Толи, на голени, написана жалоба — будто не самого Толи жалоба, а Толиных ног, мускулистых, толстых ног рыбака, чтобы крепко стоять на палубе в качку: «Вы устали ступать по свету».

Жалоба — авансом. Ну что же, у Толиных ног есть время и отработать аванс.

На палубе корабля науки полным-полно людей: команда, люди науки, студенты-практиканты. Все заняты делом: шкерят сига, окуней, щук, лещей, налимов, гребут лопатами ряпушку. Ученые, их помощники (помощницы), студенты вооружены весами, безменами, пинцетами, пробирками.

Рыбаков (и ученых тоже) постигла удача: сильный, стремительный, пятнистый тигр-лосось попался в трал. Обычно лосось уходил из трала. Этот попался (радуга обещала удачу)! Голову и хвост лосося — в уху, тело лосося — на просолку, к Дню рыбака, кишки лосося — чайкам, жабры, желудок, молоки, чешуя оприходованы наукой. В институтских лабораториях определяют, откуда он родом, куда держал путь, каков его возраст, нагул, чем он питался, покуда не угодил в рассол.

На корабле науки рыбацкая удача — это не просто удача, а еще и новый шаг в изучении рыбных богатств Онежского озера.

## ТЕМА

Третьи сутки стоим на якоре в Ивинском водохранилище. До Онежского озера вверх по Свири километров тридцать. А вниз по Свири... Сесть на проходящий белый трехпалубный теплоход — и через двое суток дома, на Озерной пристани в Ленинграде. Можно запечатать в бутылку письмо самому себе, кинуть в Свирь и спустя какой-нибудь месячишко вдруг выловить где-нибудь в устье Зимней канавки. Если, конечно, попутный ладожский ветер пригонит бутылку в исток Невы... Если плавучую ценность не выловит и не сдаст в магазин — за двенадцать копеек — любитель-ловец в Подпорожье, Свирице или Рыбацком...

Третьи сутки от зари до зари ученые работают на «разрезе», провешенном поперек Ивинского водохранилища — рукотворного озера. В пятидесятые годы Свирь перегородили плотиной, построили Верхне-Свирскую ГЭС, подпертая река разлилась большой кляксой по низким лесам, луговинам, болотам. У водохранилища нет берегов (я не хочу сказать, что оно безбрежно), его окаймляют понурые вереницы умерших берез без листьев, по колено в воде; у воды нет уреза, здесь некуда, не к чему причалить.

Каждое утро Виктор Иванович Попченко, научный руководитель Онежской экспедиции, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией в Институте рыбного хозяйства, садится в лодку, берет с собой кого-нибудь из помощников, Юру или Валю, и — пошел на «разрез». Не сам пошел — Виктора Ивановича тащит на буксире Георгий Александрович, рыбак из Вознесенья; его взяли на борт корабля науки в качестве лоцмана, вместе с моторной лодкой.

Лодка потарахтела, пустила маленькую волну, и все скрылось в солнечном мареве. Виктор Иванович будет черпать из Ивинской лужи донный ил, всякую муть и грязь, кишащую разнообразной жизнью, разливать ее по своим пробиркам и склянкам. Потом, возвратясь на борт парохода, он будет сидеть на палубе, склоняясь над столом, с пинцетом в руках, извлекать из той же грязи и мути червячков и рачков...

Виктор Иванович родом из Белоруссии, из Гомеля. Служил на Севере в авиации радистом. Демобилизовавшись, заехал в Петрозаводск, просто так поглядеть. И себя показать. «Иду, — говорит, — по Петрозаводску, гля-

жу — университет. Дай, думаю, попытаю счастья. Сдал экзамены — приняли. Поступил на биофак. Занялся лимнологией. Это наука о пресноводных водоемах. Нужно все знать о водоеме, как о человеке...»

Самый лучший, самый красивый водоем в стране — Онежское озеро — вот он, рукой подать, от университета десять минут спортивного шага...

Скажут: но почему же лучший? Лучше Байкала озера нет... После университета Виктор Иванович работал на Байкале, изучал водную токсикологию, влияние сточных вод целлюлозного комбината на байкальскую фауну. Мог бы променять Онега на Байкал: там хватало дела гидробиологу. Нет, не променял. Работал на биостанции в Кончезере, диссертацию посвятил онежским червям («мои любимые черви»). Ковыряясь в донном иле Онега, Виктор Иванович отыскивал восемнадцать новых видов червей и этим гордится.

...Покуда Виктор Иванович ловит в мутной водице Ивинской лужи червей и рачков, Георгий Александрович дремлет в лодке, как большая птица. Рыбаку не привыкать. Полжизни его прошло в лодке (четыре года Георгий Александрович воевал, у него нет ноги). Если сесть к нему в лодку, он расскажет истории из утиной, из рыбьей жизни или из жизни зверей...

— Вот интересно наблюдать за утками, как они тренируют своих птенцов. На каждый случай у них свои особенные сигналы. Утята плавают стадом, весь выводок; утка им что-то крикнет — и они врассыпную. Потом она им подаст другой сигнал — они опять сплываются вместе. Ныряют... Я в лодке сижу в камышах, они меня не видят. Интересно наблюдать. Значит, есть у них свой язык... А вот возьмите медведей. Я помню, до войны, бывало, только и слышишь: там медведь телку задрал, там в деревню явился, там в клюкве на баб страху нагнал... А теперь медведи стали совсем другие. Ни одного случая не было за последние годы, чтобы медведь напакостил: на стадо напал, хоть кого-нибудь тронул. Очень скромно они себя ведут, сознательно. Чем это объяснить?

— Может быть, и медведей не стало?

— Ну что вы! Медведей в нашей округе полно: и на этой стороне, в Ленинградской области, и на той, в Карелии...

Что случилось с медведями — кто же их знает? Теперь

всюду радио, динамики на столбах. Может быть, медведи слушают радио? Научились нашему языку?..

После дня дрейфа по Ивинской луже Георгий Александрович ставит сети. Трал здесь не забросишь: мелко, дно устелено корягами, топляками. И в сети рыба не попадает: вода отравлена продуктами гниения, ни лещу, ни судаку, ни сигу, ни тем более лососю здесь не светит. Это не Онежское озеро. Это — Ивинская лужа.

Ихтиолог Виталий Петрович Веденеев скучает без рыбы. В Онежском озере ему и его помощникам хватало работы на целые сутки, благо и ночью светло. Задача ихтиолога — определить запасы, пути миграции рыбных стад, степень нагула, распределение пород в акватории. На основании этих данных будут составлены прогнозы, установлены нормы лова, даны рекомендации рыбакам. Задача у Виталия Петровича иная, чем у Виктора Ивановича. Однако задачи эти близки, подчинены одной теме. Она вобрала в себя весь комплекс исторически сложившихся взаимосвязей человека с Онежским озером, экологических и хозяйственных. Здесь и судьбы озерной фауны, и будущее рыболовства на Онего, и качество онежской воды, и водоснабжение городов, и судоходство, и прибрежная растительность, и, в конечном счете, климат Карелии...

Решить эту тему, чтобы не остались внакладе поколения ныне живущих людей и будущие поколения, можно только сообща, с учетом всего комплекса природных и исторических взаимосвязей человека и озера. При этом нужно прежде всего иметь в виду оптимальный, не изменяющийся тысячелетиями уровень Онежского озера.

...По вечерам мы собираемся в кубрике за столом. Виктор Иванович Попченко набрасывает на странице блокнота чертежик.

— Значит, так: это — Онежское озеро. Здесь Вознесенье. Это — Свирь. Ивинский разлив. Здесь мы стоим... Здесь Вологодская область. Вытегра... В Онего есть реликтовая фауна, очень чувствительная к малейшим изменениям химизма воды, особенно мизиды — ракообразные, они встречаются во многих морях мира, а в пресной воде очень редко, в том числе и в онежской. У нас живет редкостная рыба — бычок-рогатка. И потом черви. Мои любимые черви... Антропогенное вмешательство в природу чревато...



В наших беседах принимают участие капитан и механик — главные люди на пароходе. Кто главнее? Ну конечно, капитан. Однако... капитана, случись нужда, заменит на мостике любой член команды, все знают основы судовождения. Машину же запустить некому (кроме Толи, второго механика). Механик знает себе цену. Ему лет сорок, голубые глаза, подчеркнутые копотью, мягкие льняные волосы. Михаил Алексеевич. Миша. Голос у него зычный, будто это не голос, а глас народный. Механик намолчится у себя в машинном трюме, вылезет на палубу и вещает — говор его исконный, онежский. И все его слушают, делают так, как скажет механик. Случится аврал: рыбу шкерить — механик первый ее пластает, чешуя летит, как искры от сварки. Случится застолье — он первый оратор. Человек он увлекающийся, попросил у меня что-нибудь почитать — я дал ему толстую книгу, роман Пикуля «Моонзунд». Он просидел над романом — я видел: мой кубрик напротив кубрика механика — от вахты до вахты, четырнадцать часов. Не ел, не пил, не спал, прочел роман запоем.

Механик выслушивает доводы, аргументы, постулаты начальника экспедиции. В груди его зарождается некий звук, будто заводят дизель. Сейчас он что-нибудь скажет, и в кубрике станет тесно от зычного его гласа. Вот механик встал, звук прокатывается у него по горлу, рокочет:

— Ничего у тебя не выйдет!

— Почему не выйдет? Выйдет, — вежливо возражает Виктор Иванович. — Мы рекомендаций не даем. Мы только соберем данные — там посмотрят, прикинут...

— Из Онежского озера воду можно в аккумуляторы заливать!

— Я знаю. Я все же гидробиолог.

— Эта вода знаешь куда течет? — Механик создан природой для митингов. В кубрике тесно, тесно ему, его пафосу.

— Знаю, конечно.

Механик не слушает возражений. Он не говорит, он вещает:

— Она течет в Ленинград!

Сказал — как отрезал. В кубрике сделалось тихо, все призадумались, вспомнили: и правда, онежская вода течет в Ленинград.

## СОДЕРЖАНИЕ

Эта книга . . . . .	3
Запонь . . . . .	27
Реки большие, речки маленькие . . . . .	135
День-деньской . . . . .	143
Вырубка . . . . .	226
Излука . . . . .	231
Островенский вермут . . . . .	278
Венька Авдюшкин . . . . .	293
Шанхай . . . . .	313
Лепяга . . . . .	321
Лебединая жизнь . . . . .	330
О чем свистнул скворец . . . . .	338
Онежские записи . . . . .	345

Глеб Александрович Горышин

**«ЗАПОНЬ»**

Редактор С. В. Молева. Художник Э. П. Соловьева. Художественный редактор О. И. Маслаков. Технический редактор Л. П. Никитина. Корректор Л. В. Берендюкова

ИБ № 991

Сдано в набор 18.06.79. Подписано к печати 13.11.79. М-11188. Формат 84 × 108<sup>1/32</sup>. Бум. тип. № 2. Гарн. школьная. Печать высокая. Усл. печ. л. 19,32 + вкл. Уч.-изд. л. 19,21 + 0,03 = 19,24. Тираж 65 000 экз. Заказ № 4122. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий», Москва, Краснопролетарская, 16  
Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.  
Зак. № 172